

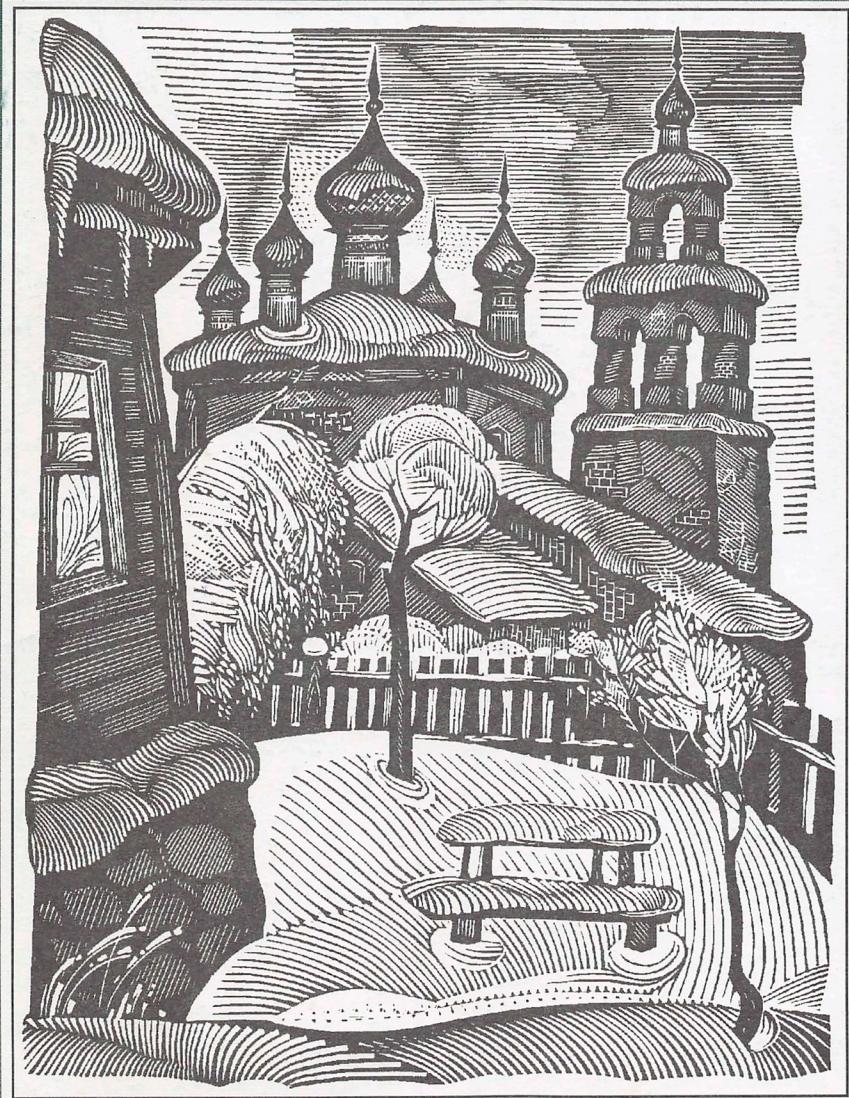
ISSN 1435-7712

Preis 11,- DM

1(8)2000

Родная Речь

LITERARISCHE
ZEITSCHRIFT
«RODNAJA RETSCH»



**ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ
ГЕРМАНИИ**

*Родная
РЕЧЬ*

**LITERARISCHE
ZEITSCHRIFT**

**«РОДНАЯ
РЕЧЬ»**

Главный редактор: Владимир МАРЬИН

Заместитель главного редактора:

Ольга БЕШЕНКОВСКАЯ

Редколлегия: Вальдемар ВЕБЕР,

Михаил ГОРОДИНСКИЙ,

Даниил ЧКОНИЯ

Набор: Элла БЕСПАЛОВА

Компьютерная вёрстка: Диана БЕЛИЛОВСКАЯ

Корректор: Нина ТАФТ

Chefredakteur: Vladimir MARJIN

Stell. Chefredakteur: Olga BESCHENKOVSKAJA

Redaktion: Waldemar WEBER,

Michael GORODINSKI,

Daniil TCHKONIA

Satz: Ella BESPALOWA

Layout: Diana BELILOWSKI

Korrektur: Nina TAFT

Verlag «Infoblatt Kontakt GmbH», Postfach 3406, 30034 Hannover.

**Druck: KEMA, Stettin, Polen. Erstauflage 2000 Ex. Erscheinungsweise vierteljährlich.
Unverlangt zugesandte Manuskripte werden weder rezensiert noch zurückgeschickt.**

Родная

1 (8) 2000 РЕЧЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ГЕРМАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Людмила Рохлина. НАКАНУНЕ ДУЭЛИ...	3
Вадим Перельмутер. «НАМ ЦЕЛЫЙ МИР ЧУЖБИНА...»	12

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Эдуард Альбрандт. НЕБЛИЗКИЙ СВЕТ, ДАЛЕКИЙ ПУТЬ... Стихи	22
Галина Фрикель. СМЕРТЬ НА ДВОИХ, или ЗАКЛЯТЬЕ ОТТО ВЕРВОЛЬФА. Попытка рыцарского романа	25
Рафаэль Шик. КАК ДАВНО Я НА РОДИНЕ НЕ БЫЛ... Стихи	39
Валерий Кукин. ОДНАЖДЫ В ОГПУ, или СЛУЖУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ. Повесть	42
Иоганн Бэр. ДАТЫ ВСЕГДА ПРИГВОЖДАЮТ К СУДЬБЕ... Стихи	99
Нина Рудницкая. СОСЕД. Рассказ	101
Вячеслав Сукачев. УРОКИ ЖИЗНИ. Рассказ	105

ГРАФИКА

Книжные знаки художника Евгения ТИХАНОВИЧА	20
Книжные знаки художника Валентина ВАСИЛЬЕВА	114
Книжные знаки художника Германа РАТНЕРА.....	166

БОС – БИБЛИОТЕЧКА ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ

Наталья ФРОЙНД	111
Даниил ЧКОНИЯ	111
Александр УМАНСКИЙ	112
Клара КИЕВМАН	112
Геннадий ПОКРЫВАЙЛО	113
Мария ЛИТВИНА.....	113

СЛОВО СЛАВИСТА

Светлана Майнаева. ПЛАЧ ПО СЛАВИСТИКЕ	116
---	-----

КАБИНЕТ МЕМУАРОВ

Эрвин Наги. ПИЦУНДА, МОСКВА, ДАЛЕЕ – ВЕЗДЕ.....	121
Револьд Банчуков. ТРОПОЙ ПАСТЕРНАКА	129
Григорий Крошин. «ВЛАСТИ-МОРДАСТИ».....	137

НОВЫЕ... РУССКИЕ СКАЗКИ

Марина Роземанн. РАССКАЗКИ	157
----------------------------------	-----

ВСЯКАЯ ВСЯЧИНА

Ольга Кочеткова. СЕРЕБРЯНЫЙ СТАКАНЧИК.....	168
Юрий Переверзев. ПАРОДИИ	172

Литературный календарь



Людмила РОХЛИНА
Франкфурт-на-Майне

НАКАНУНЕ ДУЭЛИ...

Есть даты, которые неизменно объединяют миллионы людей в радости или печали. Таков трагический день гибели А.С.Пушкина. Каждый раз в день его смерти 10 февраля* мы возвращаемся на Черную речку, в квартиру на Мойке – к последним минутам жизни поэта. И еще столетия будет тревожить нас загадка его гибели – не загадка фактов, а загадка их логики, приведшей к фатальному исходу.

Не говорите мне: он умер – он живет!
Пусть жертвенник разбит, – огонь еще пылает.
Пусть роза сорвана, – она еще цветет.
Пусть арфа сломана, – аккорд еще рыдает!..

Эти слова Надсона, не относящиеся к Пушкину, я бы поставила эпиграфом ко всей жизни Пушкина. А что нам известно о жизни Пушкина? Любители уверяют, что знают все, пушкинисты сетуют, что многое неизвестно.

Литературы о жизни Пушкина много, чрезвычайно много. До 90-х годов основным трудом была, конечно, книга Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина». Тень Щеголева долго лежала на жизни поэта. Щеголев – человек эмоциональный, если не смог дописать всю биографию Пушкина, то мог совершенно искренне ее додумать.

Так что же произошло в конце жизни Пушкина? По Щеголеву, в центре была семейная драма и главной виновницей ее была Наталья Николаевна. Эту версию поддерживали и А.А.Ахматова, и М.И.Цветаева.

На чем Щеголев основывал свои убеждения? Пожалуй, на эмоциях. Конечно, были документы об ухаживаниях Дантеса, были светские сплетни, но Щеголев хотел сделать ее виноватой. И сделал.

Стон вопрос: кто же виноват в семейной драме Пушкина? Наталья Николаевна, царь, Данте? Или, может быть, фатум?

Итак, по щеголевской версии – Н.Н. Но прошли годы, и эта версия отпала. Все поняли: дело сложнее. В отношении царя стало ясно: никаких указаний в смысле убийства поэта он давать не мог. Другое дело, что Пушкину тяжело жилось под опекой и цензурой царя, но дуэль для Его Величества – непорядок. Он был противником дуэ-

* По старому стилю 29 января 1837 г.

лей. Конечно, Николай I хотел приручить Пушкина. Такой поэт – и на личной службе у царя! Это чего-то стоило!..

Что касается Н.Н., то со временем произошел другой перегиб: началась ее идеализация. А кто бы знал Н.Н., если бы она не была женой Пушкина? Обычная женщина. Только необычайно красива, очень сдержанна. В 19 лет попала в высшее общество. Д.Ф.Фикельмон* писала, что перед ней часами можно было стоять, не сводя с нее глаз. Один из современников, увидевших Н.Н. на балу, вспоминал: «...Внимание всех привлекала госпожа Пушкина и своим нарядом, и своей наружностью: волосы ее гладко были причесаны, косы низко лежали на шее: камея, настоящая камея». Субъективно на ней вины не было, но то, что фатальный конфликт связан с нею, – это несомненно. То есть, по человеческому счету она не виновата, она без вины виновата по божескому счету. Вот так получилось. То, что можно определить как рок, как судьбу, то есть что дано нам сверху. Как это ни невероятно, но судьба была, было предчувствие у Пушкина – предчувствие беды. Это – предположение, но под ним довольно прочное, на мой взгляд, основание. Иначе – как объяснить схожесть судеб? Ленский – поэт, душа, которая состоялась *зимой, в январе*. Не так ли будет и у Пушкина?

А как понять «...но не хочу, о други, умирать, я жить хочу...»**?

После смерти Дельвига*** «... и мнится, очередь за мной, зовет меня мой Дельвиг милый...»****

И почему так много тревоги осенью 1830 г., накануне свадьбы? Пишет стихотворение «Бесы». Пушкин хорошо знает народные поверья, знает, что бесы – предвестники беды. Неужели это предчувствие? Вспомните «Маленькие трагедии». Во всех четырех трагедиях – тема смерти. «Каменный гость» – особое произведение, не печаставшееся при жизни поэта. Впечатление, что Пушкин «вложил» в него самого себя.

Главный герой Дон Гуан не дорожит жизнью. Он одинок, весел, беспечен. Встречи, увлечения, дуэли (убивает мужа Доны Анны) заполняют его дни. Но вот Дон Гуан встречает Дону Анну. Он преображается. Возникает большое чувство. Теперь жизнь приобретает смысл. Его слова, обращенные к Доне Анне, полны любовью.

«... Лишь не гоните прочь
Того, кому ваш вид одна отрада...»
«Когда б я был безумец, я б хотел
В живых остаться, я б имел надежду
Любовью нежной тронуть ваше сердце»...

На вопрос Доны Анны – «И любите давно уж вы меня?» – Дон Гуан отвечает:

«... Но с той поры лишь только знаю цену
Мгновенной жизни, только с той поры
И понял я, что значит счастье».

Дон Гуан гибнет накануне своего счастья. Зачем эта гибель? Что здесь? Загадка или логика загадок?

Тот же мотив смерти накануне счастья звучит и в повести «Выстрел» («Повести Бел-

*Д.Ф.Фикельмон – внучка М.И.Кутузова, жена австрийского посланника графа Шарля-Луи Фикельмона.

** «Элегия», 1830 г.

*** А.А.Дельвиг (1798-1831) – близкий лицейский товарищ Пушкина, поэт.

**** «Чем чаще празднует лицей...», 1831 г.

кина», 1830 г.). Сильвио отказывается от выстрела, видя перед собой безмятежного графа, спокойно, под дулом пистолета, выбирающего черешни из фуражки. «Его равнодушие взбесило меня, — вспоминал Сильвио. — Что пользы лишить его жизни, когда ею вовсе не дорожит». Но вот Сильвио узнает, что граф женится на любимой женщине. «Злобная мысль мелькнула в уме моем. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!» Теперь граф счастлив, жизнь приобрела ценность. Зачем умирать, если есть любовь и счастье, если есть, для кого жить?!

«Можно заключить, — пишет А.А.Ахматова, — что Пушкин считал гибель только тогда страшной, когда есть счастье». А проблема счастья очень волновала Пушкина. «В вопросе счастья я атеист; я не верю в него», — пишет он П.А.Осиповой. «Черт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан». — Пушкин Плетневу*. И — как результат в 1834 г: «... На свете счастья нет, но есть покой и воля»**.

Итак, к преддрамическим дням мы подошли уже с «теоретическим» багажом. Что дальше? Многими, и в частности Щеголевым, считается, что вся драматическая история семьи Пушкиных связана с Дантесом. Глубочайшее заблуждение.

Непосредственно сама драма начинается с января 1834 г. Пушкин 1 января 1834 г. записывает в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкера. Двору хотелось, чтобы Н.Н. танцевала в Аничкове». Он получает поздравление даже от Великого князя Михаила Павловича. «Благодарю Вас, Ваше Высочество, до сих пор надо мной все смеялись. Вы первый меня поздравили». Причисление поэта ко двору — источник последующих неприятностей. Например, выговор 16 апреля 1834 г. за отсутствие на одной из придворных церемоний. По собственному выражению поэта, ему «мыли голову». А в июне 1834 г. было вскрыто письмо Пушкина к жене и положено на стол царю. И царя, и Бенкендорфа возмутили строки: «Все эти праздники, — пишет Пушкин, — просяжу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди, и мне, вероятно, его не видать. Видел я трех царей***: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку, второй меня не жаловал, третий хоть и упек меня в камер-пажи, но променять его на четвертого не желаю; от добра добра не ищут. Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порfirородным своим тезкой, с моим тезкой я не ладил. Не дай бог ему пойти по моим следам: писать стихи да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешебет».

Пушкин узнает о перехвате письма и записывает: «Несколько дней тому получил я от Жуковского записочку из Царского Села. Он уведомляет меня, что какое-то письмо мое ходит по городу и что государь об нем говорил».

Пушкин был потрясен. Царь — человек чести — читает частные письма! Это было невероятно. Ведь воспитание человека-дворянина основывалось, прежде всего, на воспитании чести.

Узнав о таком поступке царя, Пушкин пишет Н.Н.: «Мысль, что нас кто-нибудь с тобой подслушивает, приводит меня в бешенство. Без политической свободы жить очень можно, без семейственной неприкосновенности невозможно, каторга не в пример лучше», то есть никому не позволено лезть в душу. Это кодекс чести по высшему счету. А Пушкин во всем жил по высшему счету.

После такого поступка царя поэт пытается подать в отставку. Жуковский отгово-

* П.А.Плетнев (1792-1865) — поэт, критик, профессор российской словесности, друг Пушкина. С 1840 г. — ректор Петербургского университета.

** «Пора, мой друг, пора...» — стихотворение при жизни поэта не печаталось.

*** Павел I, Александр I, Николай I.

рил. Потом всю жизнь жалел. В тот момент Жуковский не понял или, скорее, не придал должного значения тому, что прочтение письма было для Пушкина страшнее, чем убийство. Потому что для Пушкина там, где начинается надзор за душой и насилие над личностью, меркнет свет и кончается жизнь.

Вот почему поэзия конца 1834–1836 гг. и мрачна, и печальна. («Мирская власть», «Когда за городом задумчив я брожу», «Отцы-пустынники и жены непорочны...»)

Еще нет Дантеса в жизни Пушкиных, нет никакой ревности. Есть только обида, уронившая его достоинство – «Рабом не буду не только у царя земного, но и у царя небесного».

Таков был общий фон острейшего конфликта поэта с властями и конце 1834 г.

Потом, правда, наступила тишина. Но жить тяжело. Стесняясь семью в средствах Пушкин не может. А семья увеличивается. В 1835 г. уже трое детей плюс две своячницы. Долги растут. Карты в жизни Пушкина играли немалую роль. Очень надеялся на «Пугачева», но «Пугачев» не пользовался спросом у читателей.

Как же разворачивались события дальше? Читая документы этих лет и даже преддверийных дней, не видишь одного – ревности со стороны Пушкина, а ведь ему приписывали именно это и сплетни распространяли именно по этому поводу.

Чем же объяснить отсутствие ревности? Слишком серьезной и глубокой любовью к женщине? В ней, Мадонне, было его спасение, а не гибель. А, может быть, в том, что слишком простодушна, не лукава, открыта во всем и, главное, перед ним, мужем. Но он и хотел такую. Он выбрал ту, которая была «чистейшей прелести чистейший образец». Слово «чистый» для Пушкина имеет прямой смысл. И он стал ее конфидентом, ее доверенным лицом. Она ему все рассказывала и, может быть, тем самым, не понимая, губила Пушкина. Ревности не было. И, умирая, он скажет: «Жена моя – ангел, она ни в чем не виновата». А как он умел ревновать?! Был такой момент, когда Пушкин под палящим солнцем с непокрытой головой несколько верст бежал за каретой Воронцовой, чувствуя, что теряет ее...

Дело не только в Наталье Николаевне, а в общем положении вещей, в отношении властей к нему. Само камер-юнкерство ставило его в неловкое положение. И сам Пушкин понимал, сколь смешон он в своем камер-юнкерском мундирчике в глазах света. Ведь ему 36. И это камер-юнкерство, насмешки, надзор за самым сокровенным – за свободой души (об официальном надзоре он не знал), травля Н.Н. (уже после приезда Дантеса) не давали ему покоя.

Ну почему так получилось? Ответа не было. И, к нашему огорчению, до сих пор нет. Четкого, конкретного. А, может быть, ответ есть? И это ответ сегодняшнего дня.

Гений – не таков, как все. Вот почему он неприемлем. Гений не умеет себя беречь и всегда, или почти всегда, лишен инстинкта самосохранения.

В этот период у Пушкина намечается три дуэли. Вызовы с его стороны. Своей жизнью он хотел защитить и свою честь, и честь своей семьи. Николай I молчал. Он тоже унижал его, может быть, невольно. Он мог бы отправить его в деревню, мог дать ему камергера. Но царь молчал, усугубляя непочтение к поэту, как к человеку. Надо понять униженность Пушкина, его одиночество. Отношения с Николаем I становились все более прохладными.

В этот момент и критика ополчилась против поэта. Пушкина, можно сказать, добивали. Была ли в этом его вина? Безусловно. Его выпады против светской черни вызывали недовольство. В 1835 г. Пушкин опубликовал стихотворение «На смерть Лукулла». Это сатира на С.С.Уварова*, который был наследником богача графа Шереметева. Когда Шереметев заболел, Уваров поспешил принять меры к охране имущества, надеясь вскоре им завладеть. Однако Шереметев выздоровел. Ну, кто же простит такое?

* С.С.Уваров – министр, председатель Главного управления цензуры.

По поводу этого стихотворения Пушкину пришлось давать объяснения.

Д.Ф.Фикельмон просит, почти заклинает Пушкина: «Уезжайте. Скорее. Хоть не-надолго. Дайте двору от вас отдохнуть. Хотя бы от внешности вашей, от вида, от звука голоса, от усмешки. Вы раздражаете каждым своим словом, даже нечаянным. Вы враг себе, вы свой злойший враг».

И почти детская, беззащитная реплика в ответ, словно вырвалась сама собой: «Куда же мне деться? Я сам себе не рад».

Он становился малопонятен. Он перерастал не только окружающих, он перерастал самого себя. Тынянов писал, что эволюция Пушкина была не только творческая, но и личностная, она была катастрофической по быстроте и силе. Это был человек мощнейшего развития. По словам В.А.Жуковского, в 18 лет он мыслил как тридцатилетний. Нам трудно это представить. Он пережил несколько трансформаций: в прозу, в журналистику, в историю и, наконец, в мудрость Божию, мудрость Всевышнего.

Для окружающих это было непонятно. Это раздражало. Мы не умеем с гениями жить. И сейчас, и тогда. Мы можем ставить им памятники, обожествлять, молиться, можем даже любить их, но жить с ними мы не умеем.

Создалась ситуация, невыгодная для Пушкина. Невыгодная еще и потому, что поэт в это время оказался один. Брат был на Кавказе. Хоть и шалопай, но Пушкин его очень любил. Соболевский за границей, Нашокин в Москве. Сестра Ольга, любимая, все понимающая, – в Варшаве, Пущин в Сибири. Оставался Жуковский, который, что мог, делал. Приостановил дуэль в ноябре. Были еще друзья-лицеисты. Их было мало – всего 11. И не так близки. Действительно, «знакомых тьма, а друга нет». У Лермонтова: «Один, как прежде...»

Осенью 1836 г. ситуация осложнилась. Данте начал усиленно ухаживать за Натальей Николаевной. 21 ноября Пушкин писал Бенкендорфу, что «... само по себе ухаживание молодого человека не есть преступление и что он спокоен за жену». Но дело приобрело гнусный оскорбительный поворот. В свете начались разговоры, что госпожа Пушкина отвергла Данте. Человек, не знавший поражений у женщин, по-своему остроумен, богат, красив, строен, изящен, оказался в роли отвергнутого. С этим далеко не каждый может примириться. Возник слух, что он собирается жениться. В обществе заволновались, на ком? Семнадцатилетняя княжна Барятинская записывала в дневнике: «... Данте хочет жениться с досады. Я поблагодарю его, если он осмелится сделать мне это предложение». В него многие были влюблены.

20 октября

Очевидно, в эти дни Данте было отказано от дома Пушкиных. Очевидно, в эти же дни барон Геккерн на каком-то вечере говорит Н.Н., что его сын умирает от любви к ней (с 19 октября Данте числился больным по Кавалергардскому полку).

С.Абрамович предполагала, что 2 ноября (а не в 20-х числах января) Наталья Николаевна получает приглашение от Идалии Полетики.

Из рассказа В.Ф.Вяземской: «Мадам Полетика пригласила Пушкину к себе, а сама уехала. Она осталась с глазу на глаз с Данте. Тот вынул пистолет и грозил застрелиться, если она не отдаст ему себя. Пушкина не знала, куда ей деваться от его настоящий. По счастью, дочь хозяеки, ничего не подозревавшая, явилась в комнату и гостья бросилась к ней». Позднее Вяземская вспоминала также, что Пушкина привела к ней от Полетики вся в попыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Данте.

Наталья Николаевна боялась, что будет скомпрометирована. В эти дни она услышала от кого-то из Геккернов (скорее всего, отца) угрозы в свой адрес. Александр Карамзин писал: «Старик Геккерн... стал грозить местью, а два дня спустя появились анонимные письма». Вот, оказывается, как можно отомстить женщине...

П.А.Вяземский, узнав об этой интриге, писал: «Адские козни, адские сети были устроены против Пушкина и жены его. Супружеские счастье и согласие Пушкиных было целью покушений развратнейших и коварнейших двух людей, готовых на все, чтобы опозорить Пушкину».

4 ноября 1836 г.

Знакомые Пушкина и сам Пушкин получают анонимные письма. (Можно предполагать, что свидание было подстроено). О чём письмо? О том, что господина А.С.Пушкина единогласно избрали заместителем великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом Ордена. Случилось то, что было для Пушкина нестерпимее всего. Была брошена тень на его честь и на добroе имя его жены. Поруганная честь. Для Пушкина – это катастрофа.

По словам Вяземского, состоялось объяснение между супругами. Н.Н. раскрыла мужу все поведение молодого и старого Геккернов. Пушкин был тронут ее доверием и встревожен опасностью, которая ей угрожала.

4 ноября

Вечером Пушкин посыпает вызов на имя Дантеса.

5 ноября

К Пушкиным приезжает барон Геккерн. Он объясняет, что *по ошибке* распечатал письмо и просит отсрочки на 24 часа. Пушкин соглашается.

По истечении 24 часов Геккерн приезжает снова и просит отсрочки еще на две недели. Для посланника дуэль с Пушкиным была подлинной катастрофой. Она грозила крахом его дипломатической карьеры. Выход был найден: Дантеса надо было женить, но репутация его была отнюдь не из лучших. Не каждая семья согласилась бы отдать свою дочь за Дантеса. Много слухов было об отношениях старого и молодого Геккернов. Отказа не могло быть точно со стороны Екатерины Николаевны Гончаровой. Она была достаточно хороша собой, фрейлина, правда, с очень небольшим приданым, но она безумно любила Дантеса, и Геккерны знали, здесь отказа не будет.

Ведя переговоры с Жуковским, посланник пытается объяснить, что Данте斯 влюблен в мадемузель Екатерину Гончарову, поэтому его часто видели около госпожи Пушкиной. Переговоры продолжались около десяти дней. Наконец, Пушкин согласился и признал свой вызов недействительным. Но Геккерн взял слово с Пушкина, что о вызове никто не узнает. Одно мгновенье Пушкин торжествовал: он заставил Дантеса испугаться и сыграть роль труса. А Геккерны распустили слухи, что Дантес женится, чтобы спасти честь госпожи Пушкиной, говорили о его самопожертвовании. Как всегда, сплетни поверили больше. Пушкин опять проиграл.

Вскоре состоялся разговор Пушкина с Николаем I. Царь успокоил поэта, сказав, что репутация его жены вне подозрений и, судя по сведениям, взял с Пушкина слово, что тот драться не будет. Еще раз возникла иллюзия справедливости царя. Но это, действительно, была иллюзия.

15 декабря

Пушкин встречается с А.И.Тургеневым*. Это очень важно. Они много говорили всегда, однако, семейных дел не касались. Пушкин показал «Памятник», написанный в августе, но еще не опубликованный. Это – Пушкинский Реквием. Ощущение, что он написал его после своей смерти. Обратите внимание на последнюю строфу. Обычно в последних строках подводятся итоги, концентрируется главная мысль. У Пушкина: «Веленью Божию, о, Муза, будь послушна...» Последний призыв к Всевышнему, призыв умирающего. Через 44 дня его не станет.

Конец декабря – начало января 1837 г. – самые тяжелые дни для Пушкина. Долги растут. «Современник» не раскупается.

10 января 1837 г.

Свадьба Е.Н.Гончаровой и Дантеса. Н.Н. присутствует на венчании, на свадьбу она, по желанию мужа, не остается. Геккеры делают попытку к примирению. Пушкин отказывает. Положение его стало еще более мучительным. «На него тяжело было смотреть», – писал А.Карамзин. Теперь Пушкин по рукам и ногам связан родственными связями. Дантес продолжает вести себя по-прежнему по отношению к Наталье Николаевне.

Из письма Софии Карамзиной брату: «В воскресенье у Катрин (Мещерской)** было большое собрание: Пушкины, Геккеры, которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра. Натали опускает глаза и краснеет под жарким и долгим взглядом своего зятя, – это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности, Катрин направляет на обоих свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей роли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует жену из принципа, то свояченицу по чувству». За версту веет сплетнями...

Можно с уверенностью сказать, что связи Пушкина с Александриной не могло быть, иначе Александрина не стала бы в 1839 г. фрейлиной. К тому же Наталья Николаевна наверняка узнала бы о «домашнем» романе.

После смерти мужа Наталья Николаевна с детьми уезжает на Полотняный завод. Она берет с собой только Александрину!

В январе С.Н.Карамзина вновь пишет брату: «На другой день снова начались кривляния ярости и поэтического гнева; мрачный, как ночь, нахмуренный, как Юпитер во гневе, Пушкин прерывал свое угрюмое, стеснительное молчание лишь короткими, ироническими словами и демоническим смехом. Ах, смею тебя уверить – это было ужасно смешно».

Письма С.Карамзиной (своебразная летопись того времени) производят ужасное впечатление. В них нет ни понимания, ни сочувствия. Из этих писем и воспоминаний знакомых поэта мы узнаем, что даже в дружеском кругу мучительная для Пушкина ситуация стала предметом язвительных шуток. Все, о чем рассказывает Софья Николаевна, пересыпано «крупной солью светской злости». Еще 24 января никто из друзей поэта (а Карамзины, Вяземские считали себя друзьями его) не отдает себе отчета в том, что происходит на их глазах. Они продолжают злословить...

* А.И.Тургенев (1784-1845) – общественный деятель, литератор, археограф, близкий знакомый Пушкина.

** Е.М.Мещерская (1806-1867) – дочь историка Н.М.Карамзина.

В.Соллогуб*: «Он страшился светской молвы, страшился сделаться еще более смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причиной его смерти, а не Дантес».

А.Карамзин: «Без сомнения, Пушкин должен был страдать, когда при нем я дружески жал руку Дантесу, значит, я тоже помогал разрывать его благородное сердце, которое так страдало, когда он видел, что враг его встал совсем чистым из грязи, куда он его бросил».

Так будут говорить те же люди, в том же кругу, когда Пушкина уже не станет. Удивительно, но факт. Положение Пушкина, его загнанность понял человек, который не был лично знаком с поэтом, который даже находился в этот момент далеко от Петербурга, — Лермонтов. Помните?

Погиб поэт — невольник чести,
Пал, оклеветанный моловой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой.
Не вынесла душа поэта позора мелочных обид...»

Н.Эйдельман считал, что стихотворение Лермонтова — разгадка происшедшего. Художественное произведение становится документом. Лермонтов попал в самую точку. Чуть-чуть отступаем вправо и попадаем в трясину Дантеса, Геккера, всех домашних дел. Чуть-чуть влево — и Пушкин чуть ли не заговорщик против царя, какой-то политический деятель (по советскому литературоведению). Это неверно. Это — фон. Нельзя вставать на линию только семейной драмы или только политики. Здесь — все. Но главное — честь. В этом, можно сказать, генеральная линия, что и заметил Лермонтов.

Мы многое не знаем. Мы пытаемся восстановить общую схему преддуэльных событий, но некоторые существенные моменты преддуэльной истории все же остаются непроясненными. Что же было той каплей, которая переполнила чашу терпения? Что привело к дуэли? С.Абрамович считает, что это был бал у Воронцовых-Дашковых 23 января 1837 г. В.Соллогуб: «Взрыв был неминуем, и произошел он, несомненно, от площадного каламбура Дантеса на балу по отношению к Наталье Николаевне».

Из письма литератора Любимова М.Погодину «... Кажись бы дело и кончено, но на бале у Воронцовых он, то есть тот же сукин сын, явившись уже с супругою, не устыдился возобновить при всех в явное поругание над Пушкиным свои ухаживания за его женой».

Положение оказалось таким серьезным, что царь даже написал брату Михаилу Павловичу: «Давно надо ожидать, что дуэлью кончится их неловкое положение». Царь оказался прав.

25 января

Пушкин пишет письмо барону Геккерну: «Я не могу позволить, чтобы ваш сын, после своего мерзкого поведения, смел разговаривать с моей женой и, еще менее, чтобы отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал несчастную любовь, когда он просто трус и подлец». Самого же Геккера сравнивает с бесстыжей старухой-сводницей.

Вечер у Вяземских. Вера Федоровна вспоминает: «Смотря на Дантеса, Пушкин сказал: «Что меня забавляет, это то, что этот господин веселится, не предчувствуя, что ожидает его по возвращении домой». «Что же именно? — спросила Вера Федоровна. — Вы ему написали?» — «Его отцу», — ответил Пушкин. Вера Федоровна: «Мы надеялись, что все уже кончено». Пушкин: «Разве вы принимали меня за труса? Я вам уже сказал, что мое мщение заставит заговорить свет».

Из письма П.А.Вяземского великому князю Михаилу Павловичу: «Д'Аршиак*

* В.А.Соллогуб (1813-1882) — писатель, знакомый Александра и Андрея Карамзиных.

** Д'Аршиак (1811-1847) — атташе франц. посольства, секундант Дантеса.

принес ответ. Пушкин, его не читал, но принял вызов, который был ему сделан, от имени сына». Это был вызов от Жоржа Геккерна.

В разговоре о предстоящей дуэли, назначеннной на 27 января, Данзас* заметил, что Пушкин должен был бы стреляться с бароном Геккерном (отцом), так как оскорбительное письмо было направлено ему, а не Дантесу. На это Пушкин отвечал, что Геккерн, по официальному его положению, драться не может. Видимо, Пушкину было все равно, кто из Геккернов выйдет к барьеру.

26 января

Из письма А.И.Тургенева от 28 января: «...Третьего дня (26 января) провел с ним часть утра: видел его веселого, полного жизни, без малейших признаков задумчивости: мы долго разговаривали о многом, и он шутил и смеялся».

В шестом часу вечера Пушкин выходит из дома. В это время в столовой накрывали стол к обеду, очевидно, Пушкин чувствовал, что не в силах выдерживать свою роль за семейным столом, идет к Вревским**. С Зизи ему было легче. Она уже все знала, и с нею он мог быть откровенным.

В 12-м часу ночи отправляется на бал к графине М.Г.Разумовской, надеясь найти там секунданта. Для Пушкина это оказалось трудным делом. Он избегал огласки. Д'-Аршиак настоятельно требовал назвать секунданта, чтобы обговорить условия дуэли.

Из воспоминаний С.М. Карамзиной: «Во вторник вечером на балу у графини Разумовской я видела Пушкина в последний раз; он был спокоен, смеялся, разговаривал, шутил, он несколько раз судорожно сжал мне руку, но я не обратила на это внимания».

Поражает его самообладание.

Пушкин возвращается домой в первом часу ночи.

Наступило 27 января...

Оскорблению, нанесенному ему, Геккерну, лично, посланник — как лицо дипломатическое — немогоставить без ответа. Неминуемым следствием должен быть вызов. Пушкин в этом письме преследовал еще одну цель: во что бы то ни стало разоблачить легенду о благородстве и самоожертвовании Дантеса. Общество должно узнать правду о Геккерне. Получив письмо, Геккерн бросился к графу Строганову — родственнику Натальи Николаевны. Ответ прозвучал однозначно: «После подобной обиды дуэль должна быть единственным исходом».

Грозу предчувствовали многие: Вяземские, Виельгорские. Воронцова-Дашкова своим юным сердцем чувствовала, что беда близко. И все чего-то медлили. Или ждали решения судьбы?

Да, беда была уже совсем близко. Пушкин обращается к Медженису — секретарю английского посольства — с просьбой быть свидетелем в деле чести. Медженис ошеломлен. Пушкин неслучайно обратился к дипломатическому лицу. Он стремился дискредитировать барона Геккерна. Теперь он хотел, чтобы низкие и бесчестные поступки Геккерна получили широкую огласку в дипломатических кругах.

Медженис отказывается. Пушкин добивался поединка не потому, что хотел покончить счеты с жизнью, а для того, чтобы кровью смыть нанесенные ему оскорблении.

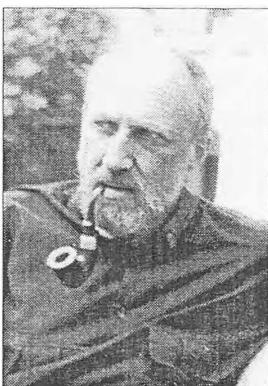
А.С.Хомяков***: «Причины-то порядочной для дуэли не было. Его Петербург замучил всячими мерзостями».

* К.К.Данзас (1801-1870) — лицейский товарищ Пушкина, его секундант в дуэли с Дантесом.

** Е.Н.Вревская (Зизи) (1809-1883), урожденная Вульф, дочь П.А.Осиповой.

***А.С.Хомяков (1804-1860) — писатель, критик, знакомый Пушкина.

Литературный календарь



Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

Мюнхен

Н А М Ц Е Л Ь Й М И Р Ч У Ж Б И Н А...»

ПУШКИНСКИЕ ТОРЖЕСТВА 1937 ГОДА
В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬИ

*Вам нужен прах отчизны грубый,
А я где бы ни был — шепчут мне
Арапские святые губы
О небывающей стороне.*

Ходасевич

В середине 1934 года в парижской квартире профессора-историка и редактора крупнейшей эмигрантской газеты «Последние новости» Павла Николаевича Милюкова состоялось совещание, на котором, кроме хозяина, присутствовали трое: бывший министр Временного правительства, известный деятель кадетской партии Михаил Михайлович Федоров, юрист и журналист, председатель Парижского союза писателей и журналистов Владимир Феофилактович Зеелер и прима-танцовщик и балетмейстер Парижской Оперы Сергей Михайлович Лифарь. Этому совещанию суждено было открыть, вероятно, самые яркие страницы в истории Русского Зарубежья, стать своего рода прологом к его «звездному часу».

Говорили о Пушкине. О том, как организовать — не больше и не меньше — всемирное чествование Пушкина, отметить столетие со дня его гибели. И каким образом вовлечь в это всю эмиграцию, рассеянную, разметанную на четыре стороны света. И, разумеется, не только эмиграцию.

Несколько месяцев спустя, двадцать первого ноября, Русский Национальный комитет под председательством Антона Владимировича Карташева принял постановление, призывающее русскую эмиграцию к объединению вокруг имени Пушкина как символа русской культуры: «Пока Париж является мировым центром наибольшего скопления русских квалифицированных интеллектуальных сил, — говорилось в постановлении, — естественно, что общее руководство делом пушкинского юбилея должен взять на себя особый «Пушкинский комитет» из наших знаменитых писателей, академиков, ученых-пушкинистов, журналистов и других представительных лиц именно в Париже. Повсюду на местах должны составляться местные комитеты для сотрудничества с центром».

Формирование Парижского комитета происходило негладко. Собственно, споров не вызвал лишь состав руководства: возглавил его бывший посол Временного правительства во Франции В.А.Маклаков, заместителями стали нобелевский лауреат Бунин, Милюков и Федоров, генеральным секретарем — литературовед Г.Л.Лозинский, младший брат оставшегося в СССР и прославившегося переводами Данте и Шекспира.

ра М.Л.Лозинского. Дальше начались разногласия, хотя до серьезных конфликтов все же не дошло, «идея консолидации» постепенно, можно сказать, «овладела массами». Комитет был создан довольно быстро, причем ни одно из эмигрантских течений не чувствовало себя ни обойденным, ни обиженным. Сказалось, судя по всему, то, что занимались этим преимущественно опытные общественно-политические деятели, «политики со стажем», мастера тактики и компромисса.

Тогда же Маклаков разослал письма известным французским писателям, ученым, журналистам, политическим деятелям, приглашая их войти в состав комитета и тем самым «придать особый блеск предстоящему чествованию, привлекая к нему самые авторитетные и выдающиеся круги всего мира, но в особенности Франции». Конечно, одного письма, пусть даже столь откровенно лестного, было бы мало.

Именно благодаря эмиграции сделались фигурами первой величины в мировой культуре Иван Бунин и Сергей Рахманинов, Александр Бенуа, Игорь Стравинский, Сергей Лифарь и некоторые другие. Дело тут не в славе, она неленива, она и из России добралась бы в конце концов до краев отдаленных, но в том авторитете в культурном мире, в журналистском тиражировании их слов и поступков, в воздействии на общее мнение, в обширных личных связях с людьми влиятельными, способными серьезно помочь при осуществлении задуманного. Добавлю, что не так уж много времени прошло, чтобы забылись, ушли в небытие прежние отношения российских политиков-эмигрантов с солидными западными политическими деятелями.

Все это было пущено в ход. И список членов комитета пополнился именами Франсуа Мориака, Поля Валери, министра колоний Мариуса Мутэ, ректора Лионской академии и переводчика пушкинских стихов Анри Лиронделя, славистов Жюля Легра и Эмиля Омана, популярнейшего журналиста, редактора газеты «Тан» Андрэ Пьера и двумя десятками других, ничего не говорящих сегодняшнему русскому читателю, но отлично известных тогдашней образованной французской публике. Понятно, что их участие в организационной деятельности комитета тем и ограничилось. Однако внимание к событию они привлекли всеобщее.

Вернемся на минуту к цитате из постановления. С первого же взгляда в намечаемой структуре подготовки к юбилею обращает на себя внимание нечто вроде «призрака партийного строительства», словно бы планируется создание временной (или постоянной?) «пушкинской партии», широко разветвленной и хорошо координированной. Но, в конце концов, каждый действует так, как ему привычней и сподручней. Важен результат.

А результат получился, без преувеличения, ошеломляющим. К началу торжеств численность местных Пушкинских комитетов достигла ста шестидесяти шести. Празднества прошли в двухстах тридцати одном городе сорока двух стран во всех пяти частях света. Три четверти их было, естественно, в Европе: сто семьдесят городов, двадцать четыре страны. Далее – по убывающей: Америка – двадцать восемь городов (шесть государств), Азия – четырнадцать (восемь), Африка – пять (три), Австралия – четыре города.

Вдуматься: все это проделано, в сущности, группой частных лиц, за которыми не было ни государства, ни ЮНЕСКО, ни капитала, никого и ничего. Кроме Пушкина. Другого такого случая мировая история не знает.

Поначалу, разумеется, был расчет на поддержку некоторых успевших перевести деньги за границу и потому более чем состоятельных русских промышленников, банкиров да и просто потомственно богатых людей. Ничуть не оправдавшийся. Как сказал Лифарь, «они, конечно, любили Пушкина, но свои деньги – еще сильнее». Не-

хватка денег отчасти компенсировалась большим запасом времени, давшим широкие возможности для маневров и ведения разнообразных переговоров, для поисков выходов из еще не возникших, только намечающихся сложных ситуаций.

Средства добывались понемногу и с трудом. Приходилось экономить и выгадывать, на чем только возможно. По каждой статье расходов велся скрупулезный — до франка — учет. Сохранившиеся документы свидетельствуют о сотнях конкретных дел, из которых впоследствии сложилась *мозаика событий*. Эмоции — положительные и отрицательные — можно додумывать и воображать.

Почти за год до юбилея, семнадцатого марта 1936 года, состоялась «генеральная репетиция». Пушкинский вечер в парижском зале Плейель. Том самом, где намечались главные юбилейные события. Гвоздем программы стало выступление Поля Вальери. Он откровенно признался публике, что до встречи с Лифарем толком и не знал, кто такой Пушкин, только теперь впервые прочитал его, задумался о нем: «Творчество Пушкина вызвало необыкновенный творческий расцвет всех искусств в России: литературы, живописи, скульптуры, театра, балета... Произошло событие необыкновенное: в течение одного века на дальней восточной окраине Европы создалась литература небывалого блеска и глубины, подчинившая своему влиянию литературу мировую. Факт беспримерный в истории человечества».

Этот вечер послужил как бы знаком того, что почти вся предварительная работа завершена и подготовка к юбилею вступает в решающую fazu. Листая сегодня тогдашнюю эмигрантскую периодику, видишь, что не проходило и недели, чтобы в них не появлялись те или иные «пушкинские» материалы. Их становится все больше, события нарастают, чувствуется, что дело движется к кульминации. Статьи о Пушкине, рецензии на книги, вышедшие в Зарубежье и в СССР, реклама фильмов «Путешествие в Арзрум» и «Дубровский», письма в Париж из Польши, Англии, Риги, Белграда, Харбина — о подготовке к юбилею, обсуждение проекта памятника Пушкину работы Акопа Гурджана, пожелания, чтобы он был установлен там, где гуще всего живут русские, в Отей или Пасси, мнения о том, где быть улице Пушкина в Париже.

Однинадцатого февраля в Шанхае состоялось открытие памятника Пушкину. Ленточку разрезала дочь французского генерального консула, который тоже при сем присутствовал. Памятник освятил архиепископ Иоанн. Военный французский оркестр и штатский русский хор исполнили «Коль славен наш Господь».

В тот же день в Женевском университете началось трехдневное чествование Пушкина. После докладов и обсуждений два стихотворения — «Памятник» и «Пророк» были прочитаны на десяти языках.

Четырьмя днями раньше открылось торжественное заседание в Брюссельском Дворце Академий.

После Пушкинской конференции в Лондоне решено издать сборник статей о русском поэте под эгидой Английской Академии наук.

В Италии торжества организует блестящий славист и неутомимый пропагандист русской литературы, переводчик «Евгения Онегина», профессор Этторе Ло Гатто.

В шведском университетском городке Лунде Пушкина чествуют студенты во главе со своим русским преподавателем.

Восемнадцатого февраля в Париже Пушкинский фестиваль устроили чернокожие жители французской столицы — «по случаю сотой годовщины смерти того, с кем они насчитывают однокровных черных предков». В заключение этого вечера выступила Марина Цветаева — прочитала в своих французских переводах четыре стихотворения: «Няне», «Для берегов отчизны дальней», «Пророк», «К морю».

Все это и еще многое, о чем можно узнать из хроники и воспоминаний, — фон, на котором эффектнее выглядит то, что, в соответствии с замыслом Пушкинского комитета, оказалось в центре всеобщего внимания.

Утром восьмого февраля появилась однодневная газета «Пушкин». Тридцать один автор. Среди них — французы Э.Оман и Ж.Легра, поляк В.Ледницкий, Бунин, Алданов, Берберова, Адамович...

Позже — юбилейный вечер в зале Плейель. Как ни удивительно, но все воспоминания о нем весьма монотонны. Торжественная обстановка. Речи, пожалуй, чуть более пафосные, чем нужно, чтобы вызвать живой отклик. Заметно, что все волнуются — и публика, и ораторы. Не обходится без мелких неувязок, они не раздражают — лиха беда начало. Самое интересное — впереди. Через три дня.

Одиннадцатое февраля. Пушкинский концерт — все в том же, но на сей раз переполненном сверх всяких представлений зале Плейель. «Все флаги в гости»... «Конь и трепетная лань» в одной упряжке... «Стихи и проза, лед и пламень»... Выбор цитат у героя торжества не беден. В первом ряду, бок о бок, маститый «думец» В.А.Маклаков и тщетно пытавшийся восстановить в России монархию А.И.Деникин, один из творцов Февраля П.Н.Милюков и председатель Военного союза генерал Е.К.Миллер. Над ними, в ложе, белеет клобук одинокий митрополита Евлогия. Читая об этом вечере, я, пожалуй, впервые пожалел, что нынешняя видеотехника так безнадежно опоздала появиться на свет — и мы никогда не увидим и не услышим ни Алексея Ремизова, декламирующего «Сказку о рыбаке и рыбке» под музыку Николая Черепнина, ни в первый и последний раз исполненного Лифарем специально для этого случая поставленного им танца Витязя из «Руслана и Людмилы».

Спустя неделю — второе собрание памяти Пушкина, теперь в зале Йена. Речи Маклакова, Шмелева, Мережковского, Карташева, Омана.

Двадцать восьмое февраля. Торжественное заседание в Православном богословском университете. Доклады С.Булгакова, В.Ильина, К.Мочульского, А.Карташева.

Такою предстает картина первому взгляду — бесконфликтной, почти благостной многофигурной композицией, в центре которой — портрет Пушкина.

Кабы не происходившее по обе стороны от нее, до и после, примерно на равном удалении — двадцать шестого января и шестнадцатого марта, кабы не странности в этом опережении событий и отставании от них, возможно, и не возникло бы любопытства к подтексту, к тому, что обычно остается за кадром.

Говорю об оглушительном чествовании Пушкина в Сорбонне и об открытии сотворенной Лифарем выставки «Пушкин и его эпоха».

Итак, по порядку. Пролог. Вечер вторника, двадцать шестое января. Большой амфитеатр Сорбонны переполнен; рассчитанный на две с половиной тысячи человек, он вместил более трех. У дверей — внушительный наряд полиции: на случай, если толпящиеся на тротуарах перед университетом сотни студентов-безбилетников, а все приглашения — именные, попробуют прорваться в зал. На сцене — оркестр и хор театра «Комеди Франзез». Под портретом Пушкина. В первых рядах — министр народного просвещения Жан Зей, председатель палаты депутатов Эдуард Эррио, Поль Клодель, Жорж Диамель, Поль Валери, Андрэ Моруа, дирижер Парижской Оперы Жак Руше, академики, университетские профессора. За две минуты до начала появляется советский посол В.П.Потемкин. Во фраке. С женой. Оркестр исполняет марш Черномора из «Руслана и Людмилы». Министр читает благодарственное письмо из Москвы. Затем говорит о Пушкине — знатоке русского языка, мастере ритма, романтике. И, обращаясь к сидящему перед ним послу, завершает речь: «Господин посланник, мы

счастливы отметить, что понимаем и ценим Пушкина, великого поэта вашей страны».

Затем перед публикой предстает Поль Валери. Его речь — почти слово в слово та же, какая звучала в марте тридцать шестого в зале Плейель. Почти — потому что теперь в ней ни слова о Лифаре, от которого он впервые услышал о Пушкине. (Позже он объяснит своему русскому другу, что на него оказали давление, вынудили — «по соображениям политическим» — убрать из речи упоминание об эмигранте. И вздохнет: «Вот так, Лифарь, мы теряем свободу»... А на вопрос: «Почему же вы, мэтр, согласились?» — отмолчится.)

Звучит марш из «Сказки о царе Салтане». И слово предоставляется профессору Андрэ Мазону. Он размышляет о влиянии французской литературы на юного Пушкина и о том, какую прибыль принес годы спустя этот вклад, о том, что воздействие русской послепушкинской литературы на французскую есть, в сущности, влияние великого русского поэта, преломленное в творчестве Гоголя и Достоевского, Толстого и Чехова. Потому что Пушкин «основал русскую литературу, как Петр Великий основал Петербург и империю».

Снова — музыка. И опять — выступления. Артисты читают стихи Пушкина во французских переводах. Музыка...

Торжества завершаются в первом часу ночи.

Семь недель спустя. Шестнадцатое марта. Эпилог. Зал Плейель. Точнее — не зал, а большое фойе. Вернисаж. Вдоль лестницы — гвардия в парадной форме. Присутствуют министры, дипломаты, академики, литераторы, художники, музыканты, «свет», десятки журналистов, целое созвездие русских балерин, митрополит Евлогий с духовенством. Выставку открывает Николай Александрович Пушкин, внук поэта. В самый разгар празднества из Елисейского дворца звонит президент Франции — извиняется перед Лифарем за то, что не смог приехать (он появится на следующий день в сопровождении Поля Валери).

В «Золотой книге» выставки — весь цвет Русского Зарубежья, а также имена потомков Пушкина, Дениса Давыдова, Дельвига, Пущина, Плетнева, Анны Керн, Воронцова (кстати, за несколько дней до вернисажа на устроенном Лифарем приеме произошло, как он выразился, «символическое примирение» потомков Пушкина с потомками Дантеса).

Впрочем, стоит обратить внимание не на тех, кто там был, а на тех, кого там не было. На советского посла Потемкина. Во фраке. С женой. Он сделал все, чтобы выставка не открылась. В том, что она все-таки состоялась, его вины нет.

Выставка была задумана Лифарем еще на том, самом первом совещании у Мильюкова. И готовилась на протяжении двух с половиной лет. Кроме уникальной Пушкинской коллекции С.П.Дягилева, унаследованной, а вернее — выкупленной у французского правительства Лифарем, ее составили экспонаты, прибывшие со всех концов Европы. На призыв Лифаря откликнулись более ста коллекционеров, крупные библиотеки, люди, которые унесли с собою при исходе из России семейные реликвии и теперь доверяли их ему — ради Пушкина. К осени тридцать шестого стало ясно: экспозиция складывается большая — и замечательная. И Лифарь договорился с директром Национальной библиотеки, что выставка пройдет в ее залах.

Но в начале тридцать седьмого Лифаря пригласил министр народного просвещения, уже известный нам Жан Зэй. Начал издалека: о делах, о том, что хочет посодействовать великому артисту в получении ордена Почетного Легиона, как бы вскользь упомянул, что наслышан о его коллекции и выставочных заботах. Лифарь мигом заподозрил неладное. И спросил — не встречался ли господин министр на днях с совет-

ским послом. Ну, да, разумеется, встречался, и вот какое дело: господин Потемкин хочет возглавить эту выставку, открыть ее от имени советского правительства. Это — «большая политика», не считаться с ней нельзя. Лифарь наотрез отказался, выслушал сперва уговоры, потом угрозы. И ушел, понимая, что Национальная библиотека для него отныне закрыта. Однако все оказалось еще хуже, чем ему думалось. Попытки договориться с частными галереями ничего не дали: едва их владельцы узнавали о разговоре с министром, следовал вежливый отказ. Скориться с правительством никому не хотелось.

Так прошел январь, миновал февраль. И только в первых числах марта его осенило: он быстро договорился с дирекцией зала Плейель об аренде большого фойе, не раскрывая — какую выставку намерен устроить, сразу оплатил весь срок, шестого подписал контракт, тут же назначил день вернисажа: шестнадцатое. И сообщил о том в газетах, русских и французских. Добровольные помощники во главе с Александром Бенуа трудились день и ночь. Афиша, выполненная по рисунку Жана Кокто, появилась на рекламных тумбах за двадцать четыре часа до вернисажа. Монтаж экспозиции был завершен буквально перед появлением первых гостей.

Парижская выставка открылась ровно через месяц — день в день — после московской. И экспозиция в фойе зала Плейель выдержала конкуренцию с семнадцатью залами Исторического музея: ее общественный резонанс намного превзошел в Европе отзвуки московской, к слову, превосходной, несмотря на неослабное партийное руководство и неумолчное таращенье пропагандистской машины.

Так что, в сущности, произошло в январе в Сорbonne (куда, заметим, не был приглашен ни один из эмигрантов, даже всемирно знаменитых) и в марте в зале Плейель? Говоря попросту, выяснилось, что большевики опоздали, что Сталин и его свита недооценили эмиграцию. Парижский порученец советского вождя попытался перехватить инициативу. Отсюда — странная дата, так сказать, «превентивного» Сорбоннского чествования: следовало во что бы то ни стало опередить соперника, для чего были использованы все возможности дипломатического давления. То же с выставкой: простейшая альтернатива — взять ее под свое «покровительство» или не дать ей возникнуть. Расчет был на то, что в тогдашней политической ситуации французское правительство скориться со Сталиным не захочет, тем более — из-за каких-то там эмигрантов. Наполовину он оправдался. Но только наполовину.

Советское правительство неизменно делало вид, что эмиграции как бы и не существует. И не спускало с нее глаз. Можно лишь подивиться тому, как оно проморгало, далеко не сразу сообразило: что, собственно, затеялось в Париже в тридцать четвертом году, и вскоре достигло отдаленнейших уголков русского рассеяния, обозначилось контуром готового всплыть материка, новой Атлантиды, Русского Зарубежья?

Впрочем, и сегодня, шестьдесят с лишним лет спустя, разобраться в этом непросто. В самом деле, с чего бы это вдруг, да заблаговременно, когда «круглая дата» едва брезжила в туманном далеке, бывшие политики, в «бывших» себя не числившие, воспылали такою любовью к Пушкину, что главным своим делом — на три года вперед — определили «всемирное чествование» Его памяти? Подчеркиваю — *политики*, потому что подчеркнутым было их участие во всех, так сказать, юбилейных мероприятиях, не без некоторой даже навязчивости они неизменно присутствовали на авансцене, создавая впечатления, если не большинства, то главенства, ведь никогда, ни до, ни после, вокруг имени Пушкина не группировалось разом столько фигур, к художественному творчеству отношения не имеющих, самою представительной солидностью своею противоречащих пушкинским легкости и артистизму. Почему ничего похожего не происходило де-

сятью годами раньше, в двадцать четвертом, когда век с четвертью со дня рождения поэта отмечали далеко не так шумно и организованно, нимало не пытаясь придать культурному событию смысл всемирно исторический. Что случилось за эти десять лет?

В двух словах – наступило отрезвление. В двадцать четвертом почти вся эмиграция еще «сидела на чемоданах», была свято уверена в том, что православный русский народ лишь временно одурманен большевистской пропагандой и запуган «красным террором», но внутренне не принимает новой власти, вот-вот опамятуется и страхнет ее с себя, как наваждение. И тогда придет пора возвращаться. И все будет хорошо.

К середине тридцатых стало понятно, что надеяться на это не приходится. Пушкинский год совпадал с двадцатилетием Октября, которое большевики готовились отметить с небывалым размахом. Противопоставить этому эмиграции было практически нечего. Политические ее лозунги и установки давно утратили привлекательность новизны, но не противоречивость. Настаивать на них означало еще больше разобщать и без того далекое от единства общественное мнение. Требовалось решение неожиданное, шаг парадоксальный – именно своей очевидной *аполитичностью*. И в этой ситуации пришедшая на ум мысль о Пушкине была поистине счастливой. Ничего лучшего – не вообразить.

Те, кто «сбрасывали Пушкина с парохода современности», остались в Советской России. Эмиграции были памятны другие пароходы – на которых в двадцать втором были отправлены большевиками, за ненадобностью, в Европу философы, писатели, богословы, историки, публицисты. Пушкинская строка «нам целый мир чужбина» стала для нее не цитатой, но самоощущением. И вопрос о том, остался ли Пушкин по ту сторону краснозвездной границы или обосновался в эмиграции, звучал вовсе не метафорически и не академически.

Пушкин – тот единственный эмигрант, который способен унести с собою всю страну, а не только «свои пенаты».

Объединение «вокруг имени Пушкина» естественно вело к резкому идейному столкновению с большевизмом, а всемирность чествования привлекала к этому столкновению – в качестве арбитра – мировое общественное мнение, уже как будто смирившееся с существованием СССР как единственного наследника Российской империи.

Это была попытка, говоря по существу, антисоветской консолидации Русского Зарубежья «под знаменем Пушкина», новейший спор славян между собою о том, с кем сегодня Пушкин (а где Пушкин – там и Россия).

Но все проблемы, которые эмиграции представлялись *внешними* (как само изгнанничество – следствием несчастливого стечения обстоятельств), были *внутренними*. Все свое она унесла с собой. И едва ли случайно, что сквозь все написанное в Зарубежье про Пушкина обозначился пресловутый «уваровский» треугольник: Православие–Самодержавие–Народность.

Пушкин искушает говорить не о нем – о себе. И если понимать эмигрантскую жизнь именно как жизнь, с множеством тонов и красок, гармонировать не желающих, с ностальгической лирикой и будничным скрежетом железа по стеклу, тогда в этом чтении можно различить то, что – по касательной – отделяется от предмета разговора: идеиную непримиримость, даже нетерпимость, сведение «межпартийных» счетов, редактирование истории.

Но никакие злоумышленники не могут склонить историю на свою сторону, у нее нет злого умысла, и, при всей своей *вариативности*, она не может ничего с нами сделать такого, чего в нас нет, не заложено, не готово прорости. Эта река времен может течь только туда, где хотя бы намечено русло.

В столкновении, в схватке за Пушкина — и за Россию — эмиграция добилась морального перевеса. Но сама не преобразилась.

Большевики уступили не только потому, что опоздали, поздно включились в борьбу и не сумели, как ни пытались, наверстать упущенное. Но, думается мне, еще и потому, что сам язык, которому вовсе не безразлично отношение к нему, не хочет сочетания имени Пушкина со свистяще-рыкающей аббревиатурой. Да и заглавная роль «наследника Пушкина», как именовала советская печать Сталина, исполнителю не удалась, у него было другое амплуа.

Однако во внутрисоветской жизни пушкинские торжества были, что называется, употреблены в дело. Они стали крупномасштабной репетицией праздника двадцатилетнего пребывания большевиков у власти, а заодно послужили проверкой сплоченности и управляемости «народных масс» перед началом Большого Террора.

Вероятно, в тридцать седьмом году был единственный в своем роде, уникальный шанс: размах пушкинских торжеств вел к тому, чтобы Пушкин стал, наконец, явлением всемирным, на равных вошел в общество Данте и Гете, Баха и Шекспира, Леонардо и Моцарта. Оставалось лишь выдержать это напряженное усилие всего несколько лет, помочь зерну прорасти, количеству перейти в качество. В качестве переводов пушкинских сочинений на все европейские языки, в качестве изучения их в университетах и чтения по домам. Думалось, ничто не сможет этому помешать. Но когда говорят пушки, музы молчат. История поскучила. Два с половиной года спустя началась мировая война — и человечеству надолго стало не до поэзии.

Другой такой шанс, увы, маловероятен. Слишком многое должно совпасть, повториться. Однако история не знает ни сослагательного наклонения, ни повторений.

Остались статьи, мемуары, ветхие газетные страницы хроники — бумажный обелиск на месте последнего и решительного противостояния Русского Зарубежья и Советского Союза. Быть может, самый необычный из многочисленных памятников Пушкину.

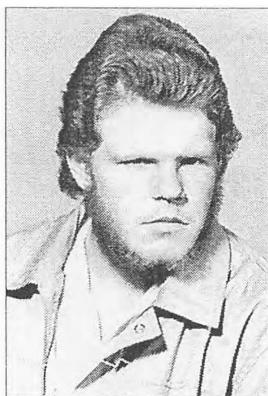
Графика



Книжные знаки
художника
Евгения
ТИХАНОВИЧА
Минск







Эдуард АЛЬБРАНДТ
Хильден

НЕБЛИЗКИЙ СВЕТ, ДАЛЕКИЙ ПУТЬ...

В краях, где я теперь, ночами снится мне
Мой дом, где я рожден, где ивы над рекою.
И все, что вижу я, мне видеть лишь во сне,
Прикрыв глаза от слез намокшего рукою.

Не чувствую, что я судьбою побежден,
Приветствуя восход, земное наше чудо,
Мне солнце шлет привет из дома, где рожден,
Оно всегда в свой час приходит к нам оттуда.

Беднее я не стал и духом я не пал,
Здесь можно жить вполне, но там я был моложе.
Я там на здесь сменял, сбылось, о чем мечтал,
Чего еще желать? И все-таки, и все же!..

Мне памяти ветра в проем окна сквозят,
Мне маетно, хотя подушки так упруги.
Меня во сне зовут далекие друзья,
Приходят навестить давнишние подруги.

Ирония судьбы, а может, это месть?
Заранее бы знать, так стоило ли рваться?
Жить в прошлом — это там, а в настоящем — здесь.
И тело и душа в двух разных ипостасях.

Я вынесу свой крест, свой путь, что Богом дан,
Хотя назад никто не закрывал дорогу,
Мир юности моей не втиснешь в чемодан,
Он в сердце у меня, а в сердце места много.

Порой оно болит, я столько в нем унес,
Наполнен каждый сон былою красотой.
Опять моя рука мокра в ночи от слез,
Душа моя жива и жить на свете стоит.

* * *

То самолет ревет винтом, А может, храп коней, Уж хоть бы попрощался кто, Коль надо ехать мне.	Уж помолился б кто-нибудь, Когда я буду там. Полн краев, не счесть дорог, В душе немая грусть. Хоть кто-то б вышел на порог, Когда назад вернусь.
Неблизкий свет, далекий путь, Я прош за жизнь не дам.	

* * *

Шепот тьмы – это голос осенних ночей
 Мне твердит: оглянись, ты один, ты ничей,
 Слава Богу, здоров, слава Богу, живой,
 Ну а если ничей – значит, полностью свой.

Нет тоски, не барахтаюсь в мутном вине,
 Я с собою в ладу, значит, счастлив вполне,
 Есть душевный полет, значит, в чем-то орел,
 Слава Богу, себя для себе я обрел.

Это значит, что будут в ажуре дела,
 Перехватишь попутно немного тепла,
 Одиночество – блеф, я всегда на виду,
 Жизнь без тяжких домов и с собою в ладу.

Без излишних проблем, без смятения чувств,
 Я в закрытые двери и в души стучусь,
 Окликает сторонней души часовой:
 «Ты из чьих?» Отвечаю: «Спокойно, я свой».

ЧЕРНАЯ ПТИЦА

Я видел однажды тяжелый безрадостный сон:
 На надгробии черном без памятных дат и имен
 Тяжкий мрамор взбургрился и звездочкой выблеснул глаз,
 И огромная птица из камня на свет поднялась.
 Желтым взглядом пронзительно в черную даль повела
 И простерла над мрамором два вороненых крыла.
 По холодному камню отточенный коготь стучит,
 Легкий иней воронкой взметнула и скрылась в ночи.
 Ночь стояла вокруг, из-за туч не светила луна,
 В эту стылую мглу над землей подымалась она,
 В каждом взмахе крылатом поток необузденных сил,
 Желтый глаз пепелящий по спящей планете скользил.
 Поднимались навстречу заснеженных кладбищ кресты,
 Зубья горных хребтов, города, корабли и мосты,

Проносились и таяли мертвых церквей купола,
 И от взмахов крыла по планете поземка мела.
 Страшны тень этих крыл и жестокий пронзающий взгляд.
 Где упали они — города и селенья горят.
 Поднимаются люди, бросая и кров свой и труд,
 Их тяжелые руки железо оружья берут.
 От смертельной несущейся тени шальных крыла
 Гибнет путник в дороге, не встретив жилья и тепла.
 Иссыхают от голода дети и мрут старики,
 И родители душат младенцев в четыре руки.
 Поднимается смерч, и гниет на корню урожай,
 Все поспешно бросай, уходи, убегай, уезжай,
 Выползает холера из тухлых прогнивших болот,
 И трясется земля, и от засухи падает скот.
 В злую полночь, когда на земле непроглядно темно,
 Бьет крылами в стекло и коггами скребется в окно.
 Отгони эту птицу, ударь ее палкой сплеча,
 Если сгинет она, значит, твой не потухнет очаг.
 Страшно, насмерть схватись, уничтожь, а иначе нельзя,
 Чтобы хрустнули крылья, чтобы вытекли злые глаза,
 Чтобы кончилась стужа и солнечный луч нас согрел,
 Чтоб молчало оружье и кров над тобой не горел.
 Пусть останется сном этот сон для грядущих детей,
 Ночь, надгробие, мрамор и стылая кровь на плите...

* * *

Гори, свеча, вовек не дрограй.
 Источник света, символ зыбкой веры,
 Где вечность тьмы нам кажется химерой.
 Гори, свеча, вовек не дрограй.
 Дворец ли это, или же сарай,
 Твой ясный свет повсюду одинаков,
 Тьма тоже одинакова, однако,
 Гори, свеча, вовек не дрограй.
 Лишь копотью нам души не марай,
 Не задохнись в чаду живое пламя.
 И значит, свет всегда пребудет с нами,
 Гори, свеча, вовек не дрограй.
 Суров наш Бог, но как нас ни карай,
 Пред алтарями возжигаем свечи.

И может, души пламенем излечим.
 Гори, свеча, вовек не дрограй.
 Ты даришь нам уютный теплый рай,
 И наплевать, какое там столетье,
 Горит свеча, и мы живем при свете,
 Гори, свеча, вовек не дрограй.
 Не вечны мы, и, как ни умриай,
 Пребудет в пальцах твердых и холодных
 Огонь свечи звездою путеводной.
 Гори, свеча, вовек не дрограй.
 Я жду, когда наступит ночи край,
 Грядет восход полоской сероватой,
 Не оплавляйся, гаснуть рановато.
 Гори, свеча, вовек не дрограй.



Галина ФРИКЕЛЬ

Каменц

СМЕРТЬ НА ДВОИХ, или ЗАКЛЯТЬЕ ОТТО ВЕРВОЛЬФА

ПОПЫТКА РЫЦАРСКОГО РОМАНА

Глава 1. «ОТТО»

Сильвестр стоял и смотрел в окно, раскрытое настежь. Сегодня у него день рождения. О! Он сделал себе царский подарок. Его хищный профиль четко вырисовывался на фоне светлого окна. Хищный и безобразный. Никто и никогда не любил его. Вот теперь он встал выше их всех, влюбленных глупцов!

Они-то будут забыты, а он и его искусство будут жить вечно. Пусть даже и без его имени. Сильвестр был алхимиком, ювелиром, колдуном. Его ненавидели и боялись, но очень многие вынуждены были обращаться к его помощи. Только он один мог спасти умирающего или отправить на тот свет цветущего здоровяка. Никто не знал, кто его родители. Безобразие его было ужасно, жестокость — безгранична.

Свое гениальное открытие колдун сделал из своей жгучей ненависти. Он знал, что никто его и не полюбит вовек. Ночами колдовал он над колбами и пробирками — и вот оно — чудо! Кристалл любви, точнее «индикатор» любви, показывающий безошибочно, любит ли избранница действительно или лжет. Первой подопытной была совсем юная девушка Маричка. Но ведь она и не обманывала, как другие, ради денег. Она только просила немного работы. Ее младший брат тяжело заболел, а денег на лекарства не было. Он дал ей заработать, убедился, как правильно работает его изобретение. На груди у девушки была цепочка с крохотной подковкой. И сколько Сильвестр не молил бога и дьявола — ничего не указывало ни на какие нежные чувства.

Ее братишку выздоровел. Ровно через две недели Маричку хоронили. Она заболела лихорадкой, целую неделю пролежала в горячке... Так же он стоял у раскрыто окна, когда ее проносили мимо. Лицо ее исхудало, но прекрасные золотые волосы были так же пушисты и блестящи, как в жизни. О Маричка! Зачем не смогла ты хоть немного притворяться и обмануть кристалл! Ты была бы жива и богата. О Маричка!

А эта женщина, гречанка, так же прекрасна, как и Маричка. Нет, даже прекраснее! Богиня! Когда они пришли в его мастерскую, Сильвестр сразу же понял — влюбленные. Действительно, рыцарь Отто Вервольф и гречанка Ариадна уже обвенчались где-то на пути в Саксонию. И теперь Отто хотел бы купить своей жене подарок. Но не богатый, а такой, чтобы в нем была тайна, понятная лишь им обоим. Колдун предложил им скромную, искусно сплетенную серебряную цепочку с крохотной подковкой. Рыцарь пожелал, чтобы на ней были выгравированы слова: «Я надеюсь» — это были

первые слова на немецком языке, которые выучила Ариадна, и портрет оборотня. Искусство Сильвестра было всесильно. Только через сильное увеличительное стекло можно было прочитать эти слова и увидеть два маленьких желтых кристаллика в глазах волка. Но это еще не все. Пока влюбленные оживленно переговаривались и смеялись у порога, колдун проделал еще одну операцию, после которой эта цепочка стала страшной бомбой: всякий, кто ее носит, будет жить спокойно, пока не полюбит. Любящее сердце дает излучение, кристаллы начинают светиться и привлекать все силы зла. Любащий (или оба) безвременно гибнет, дети сиротеют, испытания обрушаются лавиной на несчастных из рода в род. И только тогда заклятье потеряет силу, когда двое любящих проживут долгую счастливую жизнь... Злобно усмехнулся алхимик: «Глупцы сами постараются сделать так, чтобы никогда не избавиться от проклятия... они будут беречь цепочку сами»... Сильвестр бросил последний взгляд на уходящую от него счастливую чету. Там, в конце узкой уочки старой Праги, их ожидал верный оруженосец с лошадьми. Заходящее солнце делало силуэты расплывчатыми. Вот женщина сняла капюшон плаща, и ее волосы вспыхнули золотом, как корона. Влюбленные обменялись долгими взглядами и взялись за руки. Вот она — клятва в вечной любви без лишних слов. Сильвестр злобно усмехнулся: в вечной ли?

Смена полицейского дорожного патруля подходила к концу. Было чудесное майское воскресное утро. Дорога почти пуста. Ойген внимательно следил за идущим впереди серебристым Рено. Судя по всему, за рулем опытный водитель: едет осторожно, скорость — как предписывают знаки; автомобиль буквально плывет, а не катится. Приятно, черт возьми! Вскоре они выехали на мост через Эльбу. На самой середине моста случилось то, что Ойген не забудет до своего смертного часа. Идущий впереди Рено вдруг резко взял вправо и, не тормозя, не снижая скорости, снес перила моста и упал в реку! Все это произошло за несколько секунд. Когда Ойген и его коллега выскочили из своей машины, по реке уже расходились широкие круги.

Никто из сидевших в Рено (их было двое) не показался из воды, не спасся, да и не пытался спастись.

Потом, сидя в полицейском управлении, Ойген читал самое загадочное в своей жизни донесение. В машине ехали двое — супруги за 50 лет. Внезапно сидевший за рулем мужчина почувствовал резкий укол в сердце (общирный инфаркт, разрыв миокарда) и выпустил руль из своих рук. Машина резко скакнула вправо, прямо к перилам моста. Сидящая рядом женщина не попыталась исправить положение, ничего не предприняла для того, чтобы остановить машину... Полицейский сидел и думал, почему она не попыталась спасти хотя бы себя? Счастливая семейная пара, прожили вместе 28 лет, вырастили детей, имели внуков. Фотографии ведь не врут! И вдруг его осенило: да ведь женщина сразу поняла, что его сердце остановилось, и приняла решение умереть вместе с ним. Вот почему она даже не попыталась выровнять руль! Боже мой! Ведь есть же на свете любовь! Разве его Клаудия разделила бы смерть на двоих? Нет и нет. И вот еще загадка. Когда их тела поднимали наверх водолазы, из руки женщины что-то блестяще выскользнуло и исчезло на дне среди водорослей и ила.

В далекой Саксонии, южнее Торгау, где по берегам Эльбы много уютных деревень, когда-то стоял небольшой замок Отто, рыцаря-крестоносца. Он не был очень богат, земельный надел получил его дед за службу королевским вассалам. Отто прозвали оборотнем за хищный взгляд светло-карих глаз и за безрассудную храбрость. Когда он отправился в Крестовый поход, никто не сомневался в том, что он вернется

победителем. И Отто вернулся. Не один. Он привез с собой жену – красавицу-гречанку.

Говорили, что рыцарь привез с собой целый сундук восточных сокровищ. Но никто и никогда их не видел. На шее у его жены, кроме крестика, висела скромная серебряная цепочка с маленькой подковкой. Жизнь продолжалась. Отто занимался хозяйством, жена родила девочку. Но ни крестьяне, ни соседние рыцари никак не хотели верить, что гречанка – такая же христианка, как они. И хотя крестили ее по всем правилам в католическую веру, но упорно кто-то распространял слухи: гречанка – ведьма! Красота ее завораживала: пышные светлые волосы, огромные черные глаза, прямой нос, улыбка богини. Случилось, в конце концов, ужасное: внезапно загорелся замок. Все сухие деревянные перегородки, лестницы, гobelены, утварь, мебель – все это занялось огнем в один миг. Отто и здесь проявил себя храбрым воином: сам лично следил за тем, чтобы покинуть замок, оставил своего верного оруженосца с женой и дочкой у двери в подземный переход. Лишь убедившись, что все живое вне опасности, он пошел к жене. Надо было торопиться, единственный мост через ров уже давно горел костром. И вот в тот миг, когда Отто собирался объяснить жене, как идти под землей, откуда-то сверху, с какой-то башни или ограды сорвалось горящее бревно и ударило ее в висок. Смерть была мгновенной. Ребенок не пострадал.

На руках вынес несчастный свою любимую из огня и оплакивал ее всю жизнь. Вдовец не женился больше. Так ушла любовь. А ведь было у нее имя – Ариадна.

– С тех пор, – говорили старики, – проклят род Отто-рыцаря за его «бесовскую» страсть. Никто из потомков не будет счастлив в браке, любящие будут соединяться недолго, им всегда сопутствует смерть и разлука, а их детям – раннее сиротство. Это предание так и передавалось от одного поколения Вервольфов к другому. Все забыли, как звучало настоящее имя влюбленного Отто, все его потомки стали называться именно так.

И проклятье с жестоким постоянством обрушивалось на несчастных потомков Отто и Ариадны: никто из любящих не доживал вместе до старости, крушение надежд и сиротство стали в их роду обычным делом...

Глава 2. «КРУЖЕВНИЦА ЭЛЬЗА»

Наступил Век Просвещения. В преображенном, более уютном и современном замке Вервольфов царил красавец Генрих. Он знал о предании своего рода и решил твердо: не полюбит и не женится. Жизнь его и так была достаточно интересной: охота, карты, вино, женщины. Он был смел, щедр, красив: темно-каштановые кудри, карие глаза, профиль Аполлона, сильные плечи. Многие из окрестных невест метили ему в жены. Они считали, что освободят его гордую голову от суеверий и предрассудков, да и смешно! На дворе XVIII век – и какое-то там средневековое проклятье! А судьба уже писала свою книгу дальше. Среди крестьян Генриха было несколько искусных ювелиров и мастеров-оружейников. В семье одного из них все женщины владели секретом плетения кружев и вышивания. Один-два раза в год швей и вязальщиц приводили в замок, где они должны были привести в порядок и обновить гардероб хозяина, портьеры, постельное и столовое белье. Старые вещи раздавались беднякам. Всеми работами по дому руководила тетка Генриха Гертруда, старая дева, добрейшей души человек. В то утро впервые в своей жизни в таком ответственном деле принимала участие кружевница Эльза. Ей поручили вышить фамильную монограмму на рубашке хозяина. Она сидела у окна и выбирала, какие нитки лучше подойдут к голландскому полотну. Гертруда сидела тут же, что-то разыскивая в шкатулке. Внезапно услышав резкий мужской голос, Эльза подняла голову... О непобедимое обаяние невинной юности!

Судьбу не обманешь. Рассеянная Гертруда положила ключ от шкафа с фамильными бумагами в карман своего передника. Генрих был вынужден зайти за ним. Ему пришлось посмотреть на сидящую у окна девушку: светлые, льняные волосы, огромные голубые глаза; еще совсем детский нежный овал лица, крошечный рот; едва заметная ямочка на подбородке; маленькие почти детские, но такие ловкие нежные ручки!

Никто не знает, что прочитали Генрих и Эльза в глазах друг друга. Но через 3 дня Генрих привез Эльзу в свой замок из ее маленькой деревни на другом берегу Эльбы. Эльза выскочила ночью из окна, как только он постучал, в одной рубашке и белой полотняной юбке, взяv из отчего дома только одну драгоценность — кружевную ко-сынку, связанную бабушкой. Так и прозвали Эльзу с тех пор: чокнутая Else.

Эльза подарила Генриху всю свою жизнь без остатка. Она знала о проклятии его рода и считала, что злые силы отступят и перестанут изводить влюбленных, если не будут знать об их счастье. У Генриха был еще один червь сомнения: Эльза была простой крестьянкой.

Внешне жизнь Генриха не изменилась: охота, хозяйство, карты, вино, женщины. Первой заметила перемену в нем соседка, баронесса К., метившая к нему в жены и уже отправившая к праотцам двух мужей.

Через полгода Эльза почувствовала себя беременной. Гертруда настояла на венчании. Они обвенчались тайно в маленькой церкви. Эльза жила надеждой, она старалась вымолить у бога счастье: «Господи! Всемогущий и милосердный! Дай нам покоя; дай нам твою милость. Мы вырастим детей, которые будут день и ночь молиться, прославляя твою доброту». Эльза мечтала о том, что когда-нибудь Генрих открыто назовет ее женой, и они заживут мирной и счастливой жизнью. После дневных трудов муж будет возвращаться домой усталый и запыленный. Его всегда будет ждать вкусный обед. Дети будут встречать его у порога. Мальчик будет подавать отцу воду для умывания, девочка — чистое полотенце, вышитое матерью. Потом они все будут сидеть за столом и рассказывать друг другу о том, что случилось за день. Они все вместе будут ходить в церковь. Генрих забудет о вине и картах. Да! У них будет сын и дочь. Сын будет темноволосый, а девочка — светленькая.

Чокнутая Else не ошиблась: у нее родились близнецы: мальчик и девочка. Это были прекрасные здоровые дети. Мальчик — Фридрих и девочка Марта. Мальчик темноволосый и кареглазый, девочка — светловолосая, голубоглазая, с очень нежными чертами лица. Генрих подолгу сидел у корзины с детьми, то, что он испытывал к детям, было ново и путающе. Он убил бы всякого, по чьей вине упал хотя бы один волосок с головы его детей или Эльзы. Но он боялся признаться, что это и есть самая настоящая, великая и чистая любовь, единственное счастье в жизни. Всякий раз, когда он решался уже объявить всем о женитьбе и признать своих детей перед всем светом, холод страха и сомнения охватывал его душу, тяжелый камень предчувствий лежал на груди, и он отодвигал ответственное решение на потом, пытался отвлечься игрой в карты или вечеринкой с женщинами. Близнецам было уже почти два месяца. Они хорошо росли, улыбались и весело играли своими ручками и ножками. В конце июля, вечером стояла ветреная погода. Тучи плотно закрыли луну и звезды. Вот-вот собиралась начаться гроза. Внезапно исчезла Эльза с детьми.

Совершенно потерявшаяся Гертруда вбежала в гостиную, где Генрих в компании нескольких соседей играл в карты, и смогла только произнести: «Эльза исчезла!»

Тщетно обыскивали весь замок, сад, все приусадебные постройки. Эльзы и детей не было. И никто не видел, как она ушла. Гертруда спускалась вниз на кухню за теплым молоком для детей. Она лишь на миг отвлеклась, заглянув в гостиную, где увидела «эту

змею», баронессу К., и тотчас поднялась наверх. Эльзы и детей не было. Эльза ушла неодетой, как и пришла в замок: в рубашке, белой полотняной юбке, кружевной бабушкиной косынкой она закутала детей. Их искали всю ночь. Уже когда стало бледнеть небо, Гертруда заметила на берегу у куста ивняка что-то светлое. Это была полая коряга, в которой спали близнецы, накрытые кружевной косынкой. Эльзы не было.

Только когда совсем рассвело, ее нашли ниже по течению. Она утонула. Чистая и прекрасная лежала она на песке, холод смерти еще не обезобразил ее, казалось, что она вот-вот что-нибудь скажет... Ее похоронили как самоубийцу за кладбищенской оградой. Но это не было самоубийством. Никто так и не узнал истинной причины трагедии. Только любящее сердце Гертруды подсказывало, что здесь как-то замешана баронесса К.

— ... Я знаю средство. Ни один врач не догадается, ведь дети так часто болеют в младенчестве...

— Побойся бога! — Чей это голос? Ведь она слышала его уже!

— Ха, побойся, я столько лет его ждала! Он мой! Он сам ее обвинит в смерти детей, и она подохнет в тюрьме!

Какой случай должен был дать возможность Эльзе это услышать? Баронесса К. хочет отравить ее детей, а тот, с кем она говорила? Кто он? Но времени для раздумья не было.

Эльза не утонула. Она собиралась спрятать своих детей в доме своих родителей. Но в темноте сбилась с тропинки и не нашла мост. Тогда она решилась переплыть реку. Здоровая и сильная, выросшая на реке, она бы переплыла реку, как делала это не раз в детстве и юности. Но ее бедное сердечко было слишком потрясено и напугано, вскоре ее свело судорогой — всю левую половину тела. Последними усилиями она успела подтолкнуть корягу с детьми обратно к берегу, а сама уже ничего не могла.

На следующий год на ее могиле расцвел розовый куст. Кто его посадил? Не важно.

Генрих со дня смерти Эльзы как будто бы совсем потерял разум. Безумно любя детей, он делал все, чтобы загубить их будущее. Теперь у него остались только две страсти: карты и вино. Вскоре осталась только вторая. Тщетно умоляла его Гертруда. Проклятие вновь обрушилось на потомков Отто, вновь те же трагедии: смерть, сиротство, — это страшная плата за такое короткое счастье. Когда детям исполнилось 10 лет, Генрих окончательно разорился. Гертруда с маленькой Мартой поселилась в соседнем монастыре. Марта прожила долго и по-своему счастливую жизнь — 74 года! Она собирала и систематизировала семейные хроники, записывала все, что видела. Она искренне считала, что любое заклятье можно снять, искала ответа во всех книгах и летописях, говорила с умными и святыми людьми, но никто не мог ей сказать, как освободиться от проклятия Отто Вервольфа. Она-то уже была от него свободна — прекрасная, чистая и гордая, как богиня, но так и не узнала любви, семьи, материнства.

Глава 3. «ФРИДРИХ»

Фридрих прожил короткую, но трагическую жизнь. В то время в Германии много говорили о России. Все знали, что «нищенка и бесприданница» из Цербста стала царицей едва ли не самого могущественного и богатого государства в Европе, а может, и во всем мире. Все, кто уезжал в Россию, находили там богатство, совершали голово-кружительные карьеры, были приняты ко двору. Среди простых немцев ходили легенды о России, как о стране сказочных богатств. Простодушно передавали они друг другу сказки о том, что в России каждый крестьянин носит соболем шапку; на приемах сама

великая императрица Екатерина разбрасывает налево и направо драгоценные камни и золотые монеты. А о богатстве ее фаворитов говорили что-то вовсе необычайное: ее любовники так богаты, что иным из них даже французские герцоги не достойны подавать камзолы и панталоны. Чего только не услышишь от наивного ремесленника или крестьянина, если они за всю свою жизнь не покидали ни разу своего села или маленького городка.

Теодор Вервольф, троюродный дядя Генриха, знал о России много больше. Он уже был там и все подготовил для открытия кондитерской в Санкт-Петербурге. Осталось завершить дела в Германии. Теодор был не женат, но и не хотел бы ехать в Россию совсем один без единой родной души. Здесь-то и пришелся кстати подросший, очень живой и смешленый мальчик Фридрих, — сын троюродного племянника. Да и что его могло ожидать рядом со спивающимся отцом? А мальчишка достоин лучшей доли, ей-богу! Невольно с горечью Теодор чувствовал, что сам бы он ради таких детей, как Фридрих и Марта, свернул горы, но Генрих уже сам себе не хозяин. Дети простились навеки.

Фридрих не обманул его надежд. Чудесный, обаятельный, искренний и доверчивый мальчик скрасил весь его длинный путь в Россию.

С живым любопытством он расспрашивал его обо всем, что видел вокруг. А когда они останавливались на ночлег, пытался запоминать русские слова: изба, шапка, лошадь, щи. К тому времени, когда они прибыли в Санкт-Петербург, мальчик уже знал много русских слов. Тео оказался очень деловым человеком. Помимо своей кондитерской, он успел очень успешно доказать дворянское происхождение и сиротство Фридриха и добился зачисления его в гардемаринсы (после нескольких лет обучения в школе). Звезда Фридриха Вервольфа начала стремительно восходить в то время, когда Россия упорно завоевывала Черное море. Там, на юге, затмевая все и вся, сияла слава Светлейшего князя Потемкина. Фридрих был ему представлен и даже отмечен за свою храбрость и дисциплинированность. Вне всякого сомнения, он был рожден великим полководцем. Все было у него: редкая память, умение разбираться в людях, хладнокровие, способность на решительные действия, любовь к своей новой родине, которая, как он думал, подарила ему счастье. Иногда вечерами, особенно перед сражениями, он любил проводить время на палубе корабля. И тогда, глядя на звезды, он вспоминал Марту, тетю Гертруду, отца, родной замок и думал, что когда-нибудь он заберет их всех в Россию, где заклятье Отто бессильно. На шее у него была единственная вешь, напоминающая о доме, серебряная цепочка с крошечной подковкой. Фридрих был убежден: злые духи, преследующие его род, на территории России бессильны!!

Тем временем Россия все больше и больше укреплялась на берегах Черного моря. Давалось это большими трудами и кровью. Одна за другой строились крепости.

Недалеко от Херсона в перерыве между сражениями отдыхал полк Фридриха. Ему предоставил свое жилище мелкий херсонский помещик. Перед обедом Фридрих решил хорошенько умыться во дворе. Сняв камзол и рубашку, он с наслаждением поливал себя прохладной водой и брызгался, как мальчишка. Вдруг прямо перед собой он увидел белый расшитый рушник. Его держали перед ним две нежные изящные девичьи руки. Снова судьба свела тех, кому было суждено полюбить. Но не быть счастливыми. Катя, холопка, не была крепостной от роду. Ее родители, брат и две сестры были убиты во время татарского набега. Ее перекупил у татар помещик и держал в доме для «услужения». Да и он не прогадал: Катя оказалась искусной швеей и вышивальщицей. К тому же она была красавицей: золотистые волосы падали тяжелыми локонами, большие серые глаза смотрели смело и озорно. Как любил ее покойный

отец! Она была в семье старшим ребенком и ей предстояло первой покинуть родной дом. Как этого не хотели родители, как старались отодвинуть этот момент...

С той первой встречи Фридрих всякий свой свободный момент старался провести в доме помещика, оплатив свою комнату за год вперед. Но дело было в Кате. Влюбленные не могли наговориться и насмотреться друг на друга. Ее восхищал едва заметный забавный немецкий акцент в русской речи Фридриха. Она просила его сказать что-нибудь по-немецки. И он говорил: «Ich liebe dich... Liebling, Schatz, Lorelei, Sternchen... Katharina...»

Но морская служба сурова. Надо было быстрее решать свою личную судьбу. Когда Фридрих обратился к помещику с просьбой дать Катерине вольную, тот заявил:

— А знаешь ли ты, немецкий голодранец, сколько будет стоить эта вольная?

Помещик торговался, сам не зная истинной цены такому сокровищу. Да он и не мог знать ее. Ходили слухи о том, что даже сам Светлейший ходил к нему на переговоры. Но тупой крепостник не поверил, что одноглазый, в простой рубахе, жующий репу лохматый мужик и есть Светлейший князь Потемкин. А время не останавливалось.

Прошло уже более полугода со дня встречи Кати и Фридриха. Предстоял очередной морской поход. Влюбленные и не думали сдаваться и отказываться от своего счастья. Прощаясь с Катей, Фридрих снял с шеи серебряную цепочку с крошечной подковкой и сказал:

— Это все, что мне осталось от родного дома. Что бы ни случилось, ты — моя жена перед людьми и богом.

Фридрих разделил судьбу многих российских моряков — из похода не вернулся после тяжелого боя с турецкой эскадрой. Темная морская пучина стала его могилой. Прощай, любовь; прощайте, мечты! Прощай, серебристое море, прощай, скала, с которой ты мечтал научить нырять своего сына, прощай, белая лодка под парусом, на которой ты мечтал плавать со своей любимой и детьми! Прощайте, золотые косы доченьки, о которой мечтал... Прощай, Саксония, прощайте все ...

Когда Катя узнала о том, что осталась одна без любимого, теперь уже навеки, она как будто окаменела. Боль этой (уже которой по счету!) потери была невыносимой. Но ни принять яд, ни броситься со скалы в море она уже не могла: в ней расцветала другая жизнь. Тупым взглядом окидывал помещик округлявшуюся фигуру Катерины и прикидывал, как много он мог получить за девку и за хлопчика. Но родилась девочка. Она подрастала и расцветала, а мать прямо на глазах превращалась в старуху. Исчез блеск из ее золотых кос, задорных глаз; согнулась стройная фигура. Одетая в черное, подолгу стояла она на берегу залива, глядя на морские волны. Говорят, что души погибших моряков переселяются в чаек. И действительно, всякий раз одна из чаек с громкими криками подлетала к Катерине, долго кружила над ней, как бы пытаясь что-то рассказать ей.

«Матросская вдова» — так ее называли моряки. Считалось, что она молится за всех, кто в море. Помещик оценивал ее помешанной, но не трогал, боялся гнева моряков. А дочь Аксинья (так ее называла Катерина в честь своей матери) росла и радовала всех своей красотой. Светлые локоны, карие огромные глаза, греческий нос — никто и не предполагал, что все это у нее от далекой пра-пра ... бабки из Греции. Когда девочке исполнилось 10 лет, помещик прочитал объявление о том, что известный меценат князь Щербатов покупает крепостных детей для театра. Аксинья как нельзя более подходила для сцены: она и пела и танцевала, и умела изображать в лицах знакомых людей; не беда, если она не знала слов какой-либо песни — она могла придумать свои.

Глава 4. «АКСИНЬЯ»

Прощание с дочкой стало последним ударом для бедного сердца Катерины. Все, что она могла дать с собой — это серебряная цепочка с подковкой. Но протестовать она не могла: надеялась, что ее дочь будет счастливее, чем мать, и найдется добрый человек, которому удастся выкупить девочку на волю, сделать ее счастливой женой и матерью. Об этом она молилась денно и нощно, медленно угасая. Однажды ее нашли на берегу мертвый, сердце ее просто остановилось. Но молитвы матери не прошли даром. Аксинья стала блестящей актрисой — ей все было доступно: и танец, и песня, и пантомима. Их театр гастролировал в Москве. Время было тревожное: Наполеон вовсю хозяйничал в Европе, ходили слухи о том, что и Россия не избежит своего печального жребия. Гусары, тем не менее, не забывали о вине, картах, женщинах. Они находили время посещать и театр. Многие были влюблены в «актерок». Аксинья давно заметила гусарского ротмистра, который приходил со своими более молодыми товарищами и всегда дарил цветы актрисам, причем всем. Ей казалось, что театр был для него не просто развлечение, что он более других разбирается в искусстве и способен искренне восхищаться актерским мастерством. Она всякий раз перед спектаклем выглядывала из-за кулис на несколько рядов в партере, и, если ротмистр был там, то играла особенно хорошо. Она не ошибалась относительно ротмистра Евгения Островского — он действительно глубоко разбирался в искусстве. Ее он считал самым великим и прекрасным творением Бога на земле. Но цветы дарил всем актрисам. Что такое крепостная актриса? Сквозь блеск и мишуру проглядывают те же цепи крепостного рабства. Сначала Евгений нашел время объясняться с Аксиньей. Потом поговорил с князем Щербатовым. Тот тоже не хотел подписывать вольную, тянул время. Слишком хорошо он понимал, что красота Аксиньи и ее талант бесцены. Сколько денег будет приносить ему еще много лет эта удивительная женщина — русская с античным профилем и с фигурой Афродиты и с талантом от Бога или черта?! Но время было другое. На дворе уже занимался XIX век! Не так-то просто было стоять на своем. Гусары собрали сколько могли денег, и, явившись к князю без приглашения в его московский особняк, просто и ясно изложили ему ультиматум:

— Или он принимает их деньги и подписывает вольную Аксинье тотчас же!

— Или гусары все по очереди начнут вызывать его на дуэль, безразлично по какому поводу, до тех пор, пока все-таки не убьют его на дуэли. И кроме того, от «несчастного» случая загорятся одновременно все дома и постройки князя.

Трус понял, что шутить с гусарами не стоит. Он уже слышал о том, что среди них есть одинаково хорошо фехтующие правой и левой рукой, одинаково метко стреляющие из любого пистолета. Выхода не было. Подписав документ, князь остался один и принялся считать деньги — их оказалось не так уж мало. Документ об освобождении крепостной девки «актерки» Аксиньи Зиминой стал главным свадебным подарком всей роты своему храброму командиру ротмистру Евгению Островскому. Свадьба была веселой; да и как тут было не веселиться, глядя на замечательных новобрачных: жених — темно-русые кудри, спокойные серые глаза, волевой подбородок; невеста — сама прелесть в белоснежной фате с букетом белых, неизвестно откуда привезенных в Москву роз! Это был март 1812 года. Смех и щутки звучали до утра. То и дело кто-то садился к клавикордам и звучал романс. Или кто-нибудь брал гитару и звучали задорные шансонетки. Танцевали все до упаду. Еды и вина хватало всем. Места для уставших тоже хватало: для такого дела предоставил свой дом дядя Евгения, отставной полковник. Этот седой воин, украшенный многими шрамами и рубцами, плакал от

счастья и гордости, глядя на веселящихся детей: гусаров, актеров и актрис. Он-то знал, что чем прекраснее юность – тем тяжелее испытания на ее жизненном пути.

Евгений попросил отпуск, чтобы отвезти свою молодую жену в подмосковное имение к своим родителям. Уже в пути Аксинья почувствовала себя дурно, сомнений не было: скоро в их семье будет прибавление. Родители Евгения, мелкопоместные дворяне, были чадолюбивы, хлебосольны, прости и искренни. Они были рады счастью сына, но более всех сияла восторгом сестра Евгения – Наташа, 15-летняя озорная девчонка. Она без устали расспрашивала Аксинью о Москве, о театре. Но более всего досаждала она брату вопросами о том, нет ли какого-либо способа и ей пойти в гусары? Родители Евгения имели два жилых дома, оба построил дед Евгения. В одном жили сами старики, в другом жить должен был старший женатый сын. Дома разделяли поляна и крохотная речушка.

Дом Евгения, по вполне понятным причинам, был не совсем обжит. Вся семья дружно и весело взялась за уборку – вся дворня помогала в этом. Очистили все: от чердака до подвала. Более всех радовалась этой суматохе и неразберихе Наташа. Мешая всем, бегала она по дому и находила множество вещей, по ее мнению необходимых будущему мальчику: свою старую куклу, корзину, стульчик и так далее. В конце концов Аксинья согласилась рассмотреть все доводы и соображения Наташи и удивилась тому, что все вещи действительно еще могут послужить. Круглый столик, отремонтированный отцом Евгения, украсил веранду, к нему нашлись 2 плетеных кресла. Наташа, найдя кусок яркой материи, тотчас села шить подушки на кресла и скатерть на столик. Мать Евгения обнаружила солидный моток старинных кружев, пожелтевших от времени, и, отбелив их, села шить с двумя молодыми крестьянками приданое для будущего мальчика.

Первый внук или внучка! Чье материнское сердце не замирало от материнских предчувствий; кто из матерей, ожидавших первого внука, не помнит своих мечтаний и молитв!

«Господи, не оставь детей моих, спаси, сохрани и помилуй. Дай, Господи, им счастья и здоровья. Накажи меня, рабу твою, если дети имели грех. Господи, я все приму как награду и славить буду твою милость, только спаси, сохрани и помилуй моих детей. Пошли, Господи, благополучные роды, Господи всеблагий и всемилостивейший, защити от бед детей и внуков».

Наташа убедила родителей и Аксинью использовать для первой колыбели большую квадратную корзину с ручками. Аксинья сказала, что такая колыбель будет слишком просторной ... для одного мальчика. При этих словах отец и Евгений переглянулись, а Наташа выпалила:

– Ну так роди двоих, чего тут раздумывать!

И долго еще не смолкал смех в доме Островских, долго еще говорили они все обо всем и не могли наговориться. Завтра ввечеру предстояло Евгению отбыть в свой полк. Стоял апрель 1812 года. Аксинья должна была родить в ноябре. Всеми силами родители отвлекали Аксинью от ее тяжелых мыслей, поддерживали, старались приготовить для нее что-нибудь вкусненькое, сделать что-нибудь приятное. А вести приходили недобрые. Французы напали вероломно. Наши отступали, вот уже и Смоленск в огне. После Бородина домой на несколько дней заскочил Евгений для долечивания ран. Мать, Наташа и Аксинья готовили белье для полевых госпиталей. Отец с верным дядькой Михаилом возились в погребах, вытаскивая наружу варенья, соленья, мед для тех же госпиталей. Приезд Евгения был огромной радостью. Глаза родных так и сияли счастьем и гордостью: «Жив! Герой! Господи, спаси и сохрани моего сына!» Уез-

жая, Евгений заверил: «Теперь уж точно скоро Бонапарту конец. После Бородина он уже не поднимется». После отъезда Евгения снова началось что-то непонятное: Москву оставили, Москва горит, дым доходил даже до деревеньки. В пустом доме родителей уездный предводитель устроил госпиталь, Наташа пропадала там дни и ночи, ухаживая за ранеными. Аксинья дохаживала последние недели. Устами младенца глаголет истина. Все вышло так, как говорила Наташа. В конце ноября Аксинья родила близнецов — двух мальчиков. Но роды были тяжелыми, сказались волнения и переживания всех летних месяцев. Через несколько часов после родов Аксинья умерла. Акушер ничего не мог сделать. Приехавший уже по первому снегу Евгений мог только поплакать на ее могиле. Мальчики — Александр и Павел — родились слабенькими, но очень скоро, благодаря хорошему уходу, окрепли и стали быстро расти. Евгений не женился больше. Вернувшись с войны героем с наградами и в больших чинах, он не захотел больше связывать свою жизнь с женщинами. Был он выгодным женихом, но ... все его сердце принадлежало сыновьям. Им посвятил он остаток жизни. Они закончили Кадетский корпус и оба стали прекрасными офицерами, сделали блестящие карьеры, удачно женились, разбогатели. У Павла детей не было, у Александра — 2 сына: Евгений и Фридрих — последнее имя вызывало недоумение, но любопытным было объяснено, что Фридрих — герой Черноморского флота, сподвижник Ушакова, прадед. Серебряная цепочка с крохотной подковкой теперь была у Фридриха, у него в свою очередь родилось два сына и дочь: сыновья Михаил, Константин, дочь — Лиза.

Глава 5. «КОНСТАНТИН»

Ничем примечательным не отличались дети и внуки Евгения и Аксиньи, их жизни протекали плавно, они трудились во славу России, растили детей. Казалось, заклятие Отто уже отступило, оставило в покое свои жертвы. Безумные страсти уже более не мучили юношей и девушек этого рода. Да и какая толика немецкой крови теперь текла в их жилах? Они все считали себя чисто русскими людьми, а серебряную цепочку с подковкой тоже считали чисто русским изделием. Никому не приходило в голову рассмотреть ее через увеличительное стекло. Тому, кто был бы любознательен, открылось бы нечто удивительное: слова «Ich hoffe...» и рядом микроскопическое изображение рыцарского герба, на котором выгравирован был оборотень. Но время все залечивает.

Наступил XX век. Правнуки Евгения и Аксиньи вступили в это трагическое столетие. Михаил и Константин были кадровыми пехотными офицерами. Михаил был отцом семейства, Константин детей не имел. Лиза — женой, матерью четырех прекрасных детей. Но гроза уже собиралась над Россией. Первой большой бедой стала русско-японская война. Братья были обязаны пойти на войну. Константин, уже опытный, много раз обстрелянный офицер, был ранен, попал в плен. Только после окончания этой никому ненужной войны пленным было разрешено вернуться домой. Константин не мог этого сделать: после ранений и плены он не держался на ногах. Ему было разрешено долечиваться там, в Приморье, на берегу Амура, где, говорят, лечебный женщень поднимает на ноги даже покойников. Константину подыскали просторную, чистую избу зажиточного рыбака. Могучий русский бородатый мужик только оглядел его с ног до головы внимательно и сказал: «Вылечим. И не таких доходяг на ноги ставили». Ухаживать за ним должна была Мария, дочь хозяина. Лучшей сиделки он не мог бы себе желать. Мария очень вкусно готовила, поила его напитками из

трав, делала настойки с женьшенем; развлекала его рассказами о деревенских новостях, о том, что, по слухам, происходит в России. А когда Константин поднялся на ноги, они стали часто гулять по берегу Амура. А потом «доходяга» стал выполнять посильную работу по дому и огороду, читать книги и газеты, подолгу беседовать с отцом Марии о политике, о царе, о войне. Какое это было удивительное время! Константин оставил в России жену, службу, друзей, родных, но только сейчас он чувствовал, что живет настоящей жизнью. Теперь, когда ему уже почти 40, он чувствует себя влюбленным юношей, ощущает, как звучит голос любимой, гладит ее пушистые светло-русые волосы, держит ее маленькую крепкую руку в своей руке... Так прошел почти год. Раны залечились. Доктора и не надеялись на это. Они дали ему документ о необходимости дальнейшего обследования, от результатов которого зависела его дальнейшая служба или отставка. Надо было ехать в Россию. И выяснить все это. Прощаясь с Марией, он подарил ей скромную цепочку с маленькой подковкой — на счастье. И с надеждой на скорую встречу.

Дела в России прошли на удивление быстро: хотя в воздухе пахло грозой — уже 1912 год, Константину оформили отставку и назначили небольшую пенсию; с женой он расстался тоже без особых проблем; повидался с братом, сестрой, племянниками и засобирался обратно на Восток. Все, что он имел: документы, вишневый цветастый платок для Марии, смена белья, немного денег. На нем офицерская фуражка и шинель без погон. Когда он выехал из Москвы, уже кончался 1913 год. Нет нужды вновь рассказывать о тех испытаниях, которые переносит любой российский путешественник, решившийся пересечь необъятные просторы своей Родины. Когда Константин достиг Марииной деревни, в мире уже вовсю бушевала война. На все вопросы соседи только смогли ответить, что Мария с отцом уехали куда-то в Сибирь, под Омск, где говорят, много свободных земель. Чушь какая! Разве они здесь плохо жили? Причина была в другом: Мария уговорила отца переехать поближе к России, где она будет рядом с любимым, где она сможет найти его сама. О святая наивность! Мария искренне считала, что только Восток огромен и необъятен, а Россия маленькая — всего-то несколько больших городов и деревень. Что было делать? Пришлось несчастному влюбленному, отцу чудесной девушки (он об этом не знал еще) ехать обратно и разыскивать свою Марию где-то в Омской губернии. Деньги кончились. Шла война. Целые эшелоны простоявали на станциях. Константин подрабатывал тем, что писал письма и прошения и получал за это иногда кусок хлеба, огурец или пару варенных яиц.

Он все-таки вступил на улицы Омска почти одновременно с адмиралом Колчаком — правителем Сибири. Купив карту Омской губернии, принялся методично обследовать ближайшие деревни. Никто ничего не слышал о переселенцах с Дальнего востока. Отец Марии — рыбак. Значит надо искать в рыбачьих деревеньках. Так дошел он до казачьих станиц, где много чистых озер, богатых рыбой. Он еще сам не знал, что близок к цели. Но все остановил грубый окрик красноармейца: «Стой, кто идет?!» Молодой красноармеец увидел перед собой небритого пожилого офицера, который полез во внутренний карман шинели. «Зачем? — пытался объяснить задержанный. — Я ищу жену. Может быть...» Это все. Выстрел прервал все объяснения и самое жизнь. Часовой подумал, что офицер хочет достать оружие и поспешил ...

Подъехавший разъезд долго не мог разобраться, кто же убитый. Белый или свой? Оружия нет, погон нет. При нем нашли только документы, вишневый цветастый платок, из которого выпала какая-то маленькая бумажка. Командир приказал закопать где-нибудь труп, для этого оставил двух пожилых солдат. Один из них, подняв маленькую бумажку, проговорил: ««Гляди-ка, баба нарисована!» После того, как они

закопали несчастного, закрыв его лицо платком, долго они еще сидели и курили. Потом старший произнес: «Какая судьба! Везде кровь, грязь, война, а он, выходит, бабу искал! Видно, крепко любил ее».

Крохотный портрет чернилами молодой крестьянки, пушистые волосы выбиваются из-под платка; верхняя пуговичка на блузке расстегнута, видна не то цепочка, не то шнурок...

Если идти из большой казачьей станицы Арык-Балык мимо озера и гор, то через 4-5 километров можно увидеть небольшое сельцо Веселое, оно уютно расположилось на берегу другого большого прозрачного озера, похожего очертаниями на большую рыбку, если смотреть сверху, посередине — остров, названный «змеиным». Здесь раздолье рыбакам. Здесь и нашли приют Мария, отец и маленькая хлопотунья Надюшка, дочь Константина. Мария прожила всю свою жизнь в ожидании, не подозревая, что ее любимый похоронен совсем рядом. Несколько километров всего не дошел он до нее... Если идти из Веселого в Арык-Балык, то совсем рядом со станцией, на холмиках, березовые рощицы шелестят листвой. На одной из маленьких уютных полянок неизвестная и незаметная могила... Только трава гуще.

Глава 6. «ВИКТОРИЯ»

Надежда выросла, прошла через все беды, что и весь ее народ: вступила в колхоз, работала, вышла замуж перед войной, проводила мужа на фронт в 1941, в 1944 встретила израненного; в 1945 родила дочь. Дочь Виктория — отец сам ее так назвал в честь Победы. Похоронила мужа в 1946 — утонул во время рыбалки, был слишком слаб, не смог выплыть, когда его лодка перевернулась.

Виктория тоже ничем особым не отличалась от своих послевоенных ровесников. После начальной школы она продолжала учебу в Арык-Балыке. Ей это село казалось городом, много улиц, большая библиотека, Дом пионеров, Дом культуры, кинотеатр, чудесное круглое озерцо, в котором с одной стороны отражались поросшие сосняком сопки, а с другой стороны отражалось само село с его огнями, садами и уложками. Пусть кто-то сейчас злобно поливает грязью все прошлое, но ведь были же такие села, были же школы, где не стихали звонкие и чистые детские голоса до позднего вечера. Были же такие учителя, беззаботно преданные детям. Допоздна проходили занятия школьного хора. Дирижирует учительница пения Надежда Тимофеевна; горячи споры о «стилях» на комсомольских собраниях — тихо, с затаенной любовью следит за ними директор Дмитрий Яковлевич. А новогодние балы? А концерты, где чистые девичьи голова поют:

Улетай на крыльях ветра
Ты в край родной, родная песня наша...

А стенгазеты? Панно, нарисованные учителем Василием Тимофеевичем?

Викторияросла, глубоко и беззаботно любя свой край, русскую поэзию, музыку. Она удивилась бы безмерно, если бы узнала о происхождении серебряной цепочки, которую подарила ей мать. Ей и в голову не могло прийти, что у нее в жилах течет маленькая толика крови немецкого рыцаря-крестоносца Отто Вервольфа и что свою необычную внешность она тоже частично унаследовала от него.

Она была красива необычно: темно-каштановые выющиеся волосы, светло-карие большие глаза, прямой нос, фигура Афродиты. Одно только беспокоило ее: ее сны. Часто видела она во сне незнакомые города с остроконечными черепичными крыша-

ми, автострады, огни чужих реклам, роскошные магазины. Один сон повторялся особенно часто: маленькая церковь с католическим крестом; рядом кусты; около остатков былой каменной ограды – пышный розовый куст; дальше река и мост. После такого сновидения Виктория долго ходила подавленной, что-то беспокоило ее, была какая-то неосознанная боль в душе...

Видимо, это ее состояние и повлияло на выбор будущей профессии. Раз человек – загадка для самого себя, то надо пытаться разгадывать ее. Виктория решила стать психологом. Закончила Уральский университет и вернулась в родные края как раз в то время, когда на целину стремились многие талантливые люди. Кстати, в областном центре открылся педагогический вуз, ей там нашлась интересная работа. Кто такие шестидесятники? Да, они любили свою Родину и верили в коммунизм. Ну и что? Но они же были поэтами, прекрасными учителями и врачами, артистами и бардами, учеными и космонавтами, капитанами команд КВН и строителями, геологами и солдатами. Любая страна могла бы гордиться таким поколением.

Да, Виктория была вполне счастливой девушки: интересная работа, друзья, книги... Только эти постоянно повторяющиеся сны беспокоили ее, глухая боль охватывала душу всякий раз, когда видела она ту заброшенную маленькую церквушку, и влекло ее к этому зачем-то. Трудно ответить на вопрос, если сам вопрос не ясен. Действительно, в этом кроется какая-то тайна. Когда на кафедру пришел молодой, бесконечно увлеченный своим делом, кандидат наук, все стало проясняться. Все заговорили о переселении душ, о парapsихологии, о других тайнах человеческой психики, об интуиции и передаче мыслей на расстояние. Читали много интересных статей об этих удивительных явлениях. Виктория все-таки до конца не была уверена в переселении душ. Ну в самом деле! Она же русская, какая немецкая или французская душа могла в нее переселиться?! Время, тем не менее, шло. Виктория вышла замуж, родила двоих детей; в семье постепенно появлялся достаток: квартира, машина, дача, богатая библиотека. Выросли дети: сын и дочь стали определяться в жизни. Близилась особенно удивительная и прекрасная пора в жизни каждой счастливой супружеской пары: дети приобретают профессии, женятся или выходят замуж, появляются первые внуки, новые чудесные заботы, радостные хлопоты.

Но... «перестройка», «демократизация», «гласность» – что все это значило? Многие люди искренне приветствовали эти перемены, но каков их результат? Что принесли реформы? Пришлось Виктории и ее мужу серьезно задуматься о будущем своих детей. Ясно было одно: они не созданы для базара. А их дети тем более. Впервые Виктория серьезно задумалась над тем, что и она, и ее дети уже носят немецкую фамилию. Ее муж – Генрих Майер.

Да и не только они приняли это нелегкое решение. Десятки семей – врачи, учители, рабочие с золотыми руками, инженеры, – стали оформлять документы на постоянное место жительства в Германии. Прощай, Родина! Прощай, солнечная дорога из Веселого в Арык-Балык, прощайте озера, сопки, старая школа, прощай маленькая полянка с голубыми незабудками посреди березовой рощи, где так хорошо мечталось. Прощайте, друзья!

Нет нужды пересказывать вновь и вновь о тех трудностях и испытаниях, которые выпали на долю всех переселенцев и их детей. Виктории пришлось тяжелее всех из ее семьи. Ее мучила ностальгия; но еще горше было то, что она теперь стала видеть свои тяжелые сны каждую ночь. Где эта церковь? Что означает эта дорога, мост через реку; розовый куст? Иногда она ощущала во сне тонкий и нежный аромат белых роз... Впервые за всю свою жизнь она стала думать, а нет ли во всем этом какой-то неизвестной

душевной болезни? За несколько лет жизни в Германии она с мужем и детьми побывала во многих городах. Широкие автострады, большие магазины, горящие по вечерам рекламы — все, что снилось, — сбылось; но не видела она еще той заброшенной маленькой церквушки. Где она?

Однажды майским утром возвращались они от друзей. Дорога была длинной: через всю Саксонию до самого юго-востока Германии. Генрих Майер уже довольно хорошо разбирался в дорогах, он предпочел ехать не по автостраде, а по более спокойной дороге. Утро было чудесным, пели птицы, везде блестела роса, солнце сияло во всю. Вдруг Виктория заметила что-то знакомое: кусты, за ними проглядывает какое-то строение. Она попросила мужа свернуть с дороги и остановиться. Теперь ей уже никто не мог помешать, бегом, бегом... Что это? Вот маленькая, но крепкая церквушка, закрыта, почти не разрушена временем. Вот крест, остатки каменной ограды, розовый куст, уже почти полностью покрытый бутонами. Виктория опустилась на колени и заплакала. Почему она это сделала? Бог весть! Чудилась ей молодая прекрасная девушка со светлыми волосами. Она держала в руках пышный букет белых роз и что-то говорила, молила, слезы на ее длинных ресницах блестели, как звездочки... сколько времени так прошло? Виктория то и дело прикасалась рукой к цепочке, каким-то инстинктом чувствуя, что между этим розовым кустом и цепочкой есть связь. Но в чем она? Кто может ей ответить? Кому молиться, у кого просить помощи? Кто избавит ее от этой невыносимой боли?

Медленно вернулась Виктория к машине. И когда их автомобиль приблизился к мосту, она, сама не зная почему, сняла с шеи цепочку — единственную драгоценность, которую привезла с собой, и сжала ее крепко в правой руке...

Много воды утекло с тех пор...

В старинном монастыре, в толстой тяжелой книге хроник обнаружили уже давно пожелтевший листок бумаги. Записи на нем ни к каким историческим событиям не относились. Все попытки как-то расшифровать их, применительно к средневековой истории, были неудачны.

«И тогда только заклятье Отто потеряет свою силу, когда двое любящих проживут долгую счастливую жизнь, вырастят детей, дождутся внуков и умрут в один и тот же час вместе. И талисман любви навеки останется на месте их смерти. Мир и покой опустятся на несчастных... Мир и покой...»

Как цветут пышным белым цветом розы на могиле кружевницы Эльзы! Алые маки расцветают на холме у Херсона, где умерла Катерина; каждый май полыхает сиреневым огнем куст на могиле крепостной актрисы Аксиньи; и переливается лазоревое озерко незабудок на полянке, где похоронен Константин, рядом с казачьей станицей Арык-Балык...



Рафаэль ШИК

Дюссельдорф

КАК ДАВНО Я НА РОДИНЕ НЕ БЫЛ...

ЮНЫЕ ГОДЫ

Шагаю я в школьной колонне,
И школа уже в стороне.
Идем мимо садика в Блонье,
А правильней если – Блонье.

Наш город и молод, и древен,
Не то, что какой-нибудь Энск.
Военною славой овеян,
Он гордость России – Смоленск.

По улицам, ливнем умытым,
Колонны плывут и плывут.
Был праздник, давно позабытый,
С коротким названием МЮД.

Мы движемся к Дому советов,
И жмурюсь я от кумача,
От лозунгов и от портретов
Кровавого палача.

Тогда мы не знали про это,
Не ведали горечь утрат.
Как ласково смотрит с портретов
Он с девочкою Мамлакат.

И все так понятно и ясно,
И радужным кажется мир,
И смотрят с портретов согласно
Ежов, Тухачевский, Якир.

Парит надо мной вдохновенье,
Нисходит как свет благодать.
Хочу я в одно лишь мгновенье
Испробовать все и узнать.

Борьбой увлекаясь отчаянно,
Я стал чемпионом двора.
И в библиотеку (случайно)
С дружком записался вчера.

О мне повезло в ней чертовски –
На полке был новый Майн Рид.
Там, кстати, бывал сам Твардовский,
Тогда еще не знаменит.

А как-то пришел на собранье
К нам в школу поэт Рыленков.
Я слушал его со вниманьем,
Хоть был и далек от стихов.

И папа – о божия милость –
Был жив еще и здоров.
И мама тогда обходилась
Без грелок и докторов.

Ни пятнышка на небосклоне.
Ни смерти, ни горя, ни бед.
Шагаю я в школьной колонне
В неполных четырнадцать лет.

9 ноября 1994 г.
Унна, Германия

МОЕ БОГАТСТВО

Тане Болюх

Как все кругом подорожало,
Подорожало в сотни раз!
На лоскуты для одеяла
Не хватит денег. Не горазд
Я даже на перелицовку
Демисезонного пальто.
Не говорю уж про обновку,
Не говорю уже про то,
Что для живого организма
Необходима и жратва.
Не для обжорства, не для тризны,
А для простого естества.
Хоть раз в денечек или два...
Зато повсюду на прилавках
Стихов навалом — книжный рай!
Ни очередь тебе, ни давка —
Стой и спокойно выбирай.
По самым низким в мире ценам,
Можно сказать, за просто так
Здесь Александр Блок бесценный,
Здесь и бесценный Пастернак.
И даже сборник Евтушенко,
Что раньше шел из-под полы,

Как заграничная тушенка,
Собой заполнил все углы.
Ну а чудесный Чичибабин,
Чей «Колокол» я так люблю,
Хоть критикой и был прославлен,
Идет всего лишь по рублю.
Неужто так пошло издревле,
Ведь стих не бросишь на весь?
Трехтомник Слуцкого дешевле
Ста граммов постной колбасы!

Я весь этот товар скучаю,
Что предназначен для души,
И как молитвенник читаю,
Уйдя от всех, в своей тиши.
И нежно глядя на обложки,
Я говорю жене:
— Не плачь.
Ты потерпи еще немножко.
Не видишь разве?
Я — богач!

1993, Баку — Москва

В ЧЕМЕЦКОМ ШАТИЛО

В закуточке бродячего цирка,
Что приехал на несколько дней,
Клоун-мим с горьковатой ухмылкой
Говорил мне о жизни своей.

— Нас, российских, не очень-то жалуют,
Только цирк наш, как прежде, в цене.
И хозяин не скуп, хоть не балует,
Платит мне хорошо и жене.
Не сижу тут, как дома, на печке,
Ждет меня уже новый круиз.
Сам ведь Марк Соломоныч Местечкин
Режиссер моих лучших реприз.

— А в России что — цирки пустуют?
— Да, пустуют, — ответил мне мим.
И чтоб время не тратить впустую,
На лицо стал накладывать грим.

В этом нет ничего зазорного —
Всем артистам идти на раус.
Все ж тяжелый хлеб у коверного:
Выход в паузах, а труд без пауз.

И оркестр бравурный и звонкий
Сменит медь на нежную трель.
Полетит в небеса девчонка
Под свиридовскую «Метель».

Как давно я на родине не был,
Но найду — и спасибо на том —
Здесь кусочек российского неба
Под брезентовым пестрым шатром.

1997, г.Дюссельдорф

ВНИК

Мой внук похож (он так подрос!)
На молодого Пастернака.
И взгляд такой. И рот, и нос.
Стихов не пишет он, однако.

И это к лучшему. Зачем?
Стихи — как кораблекрушенье.
Зато предмет автовожденья
Для внука лучшая из тем.

Вождение — от слова «вождь».
Здесь царь он. Все ему подвластно.
Плевать — опасно, не опасно —
Газует так, что кинет в дрожь.

Поддавшись корпусом вперед,
Коня как будто усмиряет,
Летит — и сердце замирает.
И замирает, и поет.

Прошу: ты езди осторожно.
И да хранит тебя Господь!
И очень на душе тревожно,
Одна ведь кровь, одна ведь плоть.

Но есть у внука довод веский,
Хоть вряд ли снимет груз с души:
Дороги на земле немецкой
Уж больно, дед мой, хороши!

3 февраля 1998 г., Дюссельдорф

H.Худабашевой

Чужие рифмы и чужие ритмы
Меня заполонили насовсем.
И мне не выйти из неравной битвы,
И стал совсем я немощен и нем.

И помохи не ждать мне ниоткуда,
И нужных дивных слов в помине нет.
И жажду чуда, но не будет чуда.
А все иное суета суэт.

1997 г., Дюссельдорф



Валерий КУКЛИН

Берлин

Однажды в ОГПУ, или СЛУЖУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ

ПОВЕСТЬ

1. ПАМЯТНИК

Когда Андрей Аютин вернулся из Ташкента, улица, на которой стоял родительский дом, называлась уже не Пушкинской, а имени Пушкина, но две старинные пушки, что стояли в начале ее, у прикрепостной площади, продолжали стоять, блестя надраенными от пацановских штанов и задниц стволами и осыпая мостовую лохмотьями с рассыпающихся лафетов.

— Ничего, дай срок — и с этими грязнухами расправимся, — улыбнулся товарищ Айтиев и похлопал Андрея по плечу. — Построим здесь проспект коммунизма.

Андрей хотел спросить, а что же будет с именем великого поэта, но так и не посмел — товарищ Айтиев, чекист с пятилетним стажем, слыл в городе человеком крутым, яростным ненавистником оппозиционеров и ревизионистов. Рассказывали, как еще в гражданскую он, присутствуя на одном заседании уездного Совета, вошел в раж и выстрелом из пистолета убил эсера Сороку.

Словно угадав мысли Андрея, Айтиев, не убирая руки с его плеча, продолжил:

— Ты знал революционера Сороку? Надо найти его могилу и украсить согласно революционных традиций. Звонили из Верного — будет делегация из самого Интернационала. В горкомхозе уже венки плетут, а у нас ни одной могилы героя-интернационалиста нет. Задание ясно?

Тут уж Андрей решился спросить:

— Сорока — он кто?

— Чех, говорят, — последовал ответ. — Активный строитель советской власти в нашем уезде. Иди, иди, — подтолкнул Андрея в сторону улицы бывшей Кауфмановской. — Где кладбище, не забыл?

— Помню, — ответил Андрей, радуясь тому, что идти ему придется через Мучной базар, где бывает много девчат, и можно будет покрасоваться в новой форме перед ними.

Однако, русских девчат на базаре оказалось в это время мало. Одна лишь веснушчатая хохотунья слушала рассказ какого-то прыщавого молодца, лузгала семечки и не

смотрела лишь на него. Были еще две старые казашки в белых чапанах и одна узбечка с закрытым чадрой лицом и в красных шароварах, выглядывающих из-под подола двумя грязными столбиками. Узбечка эта, судя по фигуре, была юна, но уже замужем за огромным пузатым таджиком, идущим впереди нее, согласно законов шариата, за пять шагов, но поминутно оглядывающимся в сторону юной жены. Девочка семенила следом, боясь отстать от него, но взгляд, заметил Андрей, в его сторону бросила.

А в остальном базар остался таким, как и был до его поездки в Ташкент: развали разноцветного, чаще поношенного тряпья, мелкие саманные лавки, то притулившиеся друг к другу, то налезающие стенами одна на другую, дощатые разборные столы с духанщиками, шашлычниками и продавцами разливного вина. Под огромным карагачом рядом с чайханой Абдуллы стоял дощатый настил с текущей под ним арычной водой, поверх лежали грязные кошмы и толпились коротконогие круглые столики, возле которых сидели на kortochkaх и полулежали в одинаковой полудреме мужчины всевозможных европейских и азиатских национальностей, говорили на какой-то тарабарщине из смеси доброго десятка языков, кто-то жевал насыпь, кто-то затягивался сладковатой анашой, два старика тянули из кальянов, а объединяло их всех здесь какое-то особое благодушие и праздность. Такого благодушия в других местах и городах Андрей больше нигде не встречал, даже в Ташкенте. И сейчас, ощущив дремное настроение, узнав по нему родной рынок, понял, что вовсе не за девчата стремился он сюда, не ради их красивых глазок — ему хотелось пройтись в этой вот военной форме с голубыми петлицами именно среди этих солидных и все знающих о своем городе мужчин, чтобы они увидели его не просто сыном возчика из Русской слободы, каким он был в их глазах целых двадцать лет, и потому внимания не стоящим, а настоящим мужчиной, слугой закона, карающим мечом в руке российского пролетариата.

Он шел через базар, кивая знакомым или здороваясь с ними, как должен идти настоящий чекист через рассадник городской преступности, через этот вертеп вседозволенности и корысти, прячущийся за видимостью благодушия. Он знал, что за спиной его, едва только он прошел мимо китайского ряда, люди в круглых черных шапочках, переглядываются и кивают друг другу, оставляя на лицах выражение спокойствия и безразличия ко всему происходящему. Знал, что в ряду мясном гологоловые узбеки показывают ему в спину огромными с пятнами убойной крови ножами и перебрасываются между собою обрывистыми фразами. Дунгане из овощного ряда, только что протягивавшие ему зелень с подобострастными улыбками на лицах, глядят в его затылок с враждебностью. Русские, стоящие у больших глинянитых и дощатых амбаров, сидящие на табуретах рядом с огромными весами и гирями, вражды своей и вовсе не скрывают, ибо для них чекист — это тот, кто в девятнадцатом году громил их кулацкий мятеjh, а теперь требует выполнения поставок хлеба на городской заготпункт.

И Андрей гордился этой нелюбовью людской, ибо чувствовал правду за своей спиной, правду величайшей из властей на земле — власти пролетариата.

На кладбище у зеленоj златокупольной церкви, срубленной еще переселенцами-столыпинцами, могилы Сороки не оказалось. По крайней мере, ни на одной из дощечек среди расплывшихся холмиков и покосившихся крестов захоронений 1919 года фамилии этой Андрей не обнаружил. Кладбищенский сторож, сопровождавший «товарища чекиста» по городу мертвых, посоветовал отчаявшемуся Андрею позвонить из церкви своему руководству и попросить инструкций.

То, что внутри церкви есть городской телефон, Андрея, надо признаться, удивило не очень. На курсах в Ташкенте объясняли, что хотя после гражданской войны линия пар-

тии в отношении религиозных предрассудков ужесточилась, но отдельным представителям культа, относящимся к советской власти лояльно и к контрреволюционной деятельности непричастным, разрешено содействовать предоставлением ряда льгот. Поэтому предоставление права пользования городской линией связи работникам церкви выглядело в глазах Андрея показателем того, что церковнослужители здешние являются лицами благонадежными.

Впрочем, в церкви этой и Андрея когда-то крестили. Сюда в старые времена приводила егомать по праздникам; здесь знал он, кажется, каждую щель и маленьку трещину на стенах. За иконой Преподобной Троицы, например, есть большое горелое пятно, а под Успением Богородицы по весне появлялись грибы-вешенки.

Но оказалось, что в церкви существует вход, о котором он раньше и не подозревал — с обратной стороны церкви находилась маленькая дверца, за которой скрывалась небольшая, но светлая комнатка с кожаным диваном, с двумя тоже кожаными креслами, двумя рядами стульев вдоль стен и красивым монументальным столом с телефоном посередине. Ничего церковного в этой комнате не было, и казалось, что «товарищ чекист» попал в самый обычновенный кабинет самого обычновенного совслужащего... правда, немалого ранга. В Ташкенте Андрей не видел подобных апартаментов даже у руководителей Туркестанского ОГПУ.

Лишь когда Андрей пододвинул к себе аппарат и, покрутив ручку, оглянулся на стены, не обнаружив портрета никого из вождей, избавился от наваждения, что он попал в кабинет, а не в храм.

Услышав голос телефонистки, Андрей попросил ее немного подождать, а потом взглянул, как учили их на курсах, приказал сторожу покинуть помещение. И лишь убедившись, что дверь в самом деле за ним закрыта, назвал телефонистке номер айтиевского телефона.

— Нашел? — спросил начальник уездного ОГПУ.

— Никак нет, товарищ Айтиев, — ответил Андрей. — Среди персонифицированных могил, — щегольнул «умным словом», — могилы Сороки не оказалось.

— Каких могил?

— Персонифицированных, товарищ Айтиев, — растерянно повторил Андрей, только тут поняв, что усвоенное им на курсах умное слово может совершенно быть неизвестным его начальнику. — На которых есть таблички.

— А что — есть и без табличек? — заинтересовался Айтиев.

— Есть. Довольно много.

— Так чего ты голову морочишь? — рассердился Айтиев. — Возьми любую — и напиши: «Сорока... — запнулся, продолжил, — Ну, допустим: 1888—1919».

— А инициалы? — растерялся Андрей.

— Что?

— Звали Сороку как?

— Да черт его знает! Любое напиши: АБ, ВГ, ДЕ — какая разница?

Андрей понял, что разговор пора кончать, но язык сам собой дернулся:

— А у чехов отчество есть? В смысле, бывает?

— Что ты хочешь сказать?

Андрею пришлось еще покрутить ручку аппарата, ибо голос Айтиева стал тихим.

— Ну... — объяснил после этого. — У англичан, например, отчество нет. У них буквы. Самюэль П. Смит, например. «П» — это буква от второго имени. Нам рассказывали на курсах. Потом, у казахов тоже отчество не бывает... — и зачем-то добавил. — И фамилий. У них роды.

— Умник, — проворчал Айтиев. Ему, казаху, фамилию поставили по имени отца русские учителя из туземной школы в отрокеские еще годы, при царе. Помнится, он так

загордился этим свидетельством своей близости к русским, что заставлял мальчишек из своего аула, куда приезжал на каникулы, называть себя только по фамилии, а не по имени Бахыт, что по-русски означает «Счастье». — Напиши просто: «Б. Сорока».

— Как? — переспросил Андрей, из-за скрипов в трубке не расслышавший буквы. — Б? Борис?

— Не Борис, а просто «Б». Ясно?

— Ясно, товарищ Айтиев, — ответил Андрей и, услышав гудок, с облегчением в душе положил трубку.

Вышел из церкви, увидел стоящего в ожидании сторожа и попросил у того баночку с краской и кисточку.

Сторож ответил, что все это он даст «товарищу чекисту» бесплатно. А вот если понадобится новый крест или деревянная пирамидка со звездочкой, то за них надо платить. Потому что товарищество «Металлист» уже получило от церкви деньги за всю партию, а приход беден.

Появившийся на крыльце приходского дома священник услышал речь сторожа и прервал ее сочным нутряным басом:

— Ты, Никита, не егози. Если товарищу чекисту нужен памятник со звездочкой, то мы должны пойти ему навстречу. Проводи молодого человека на склад и помоги ему выбрать памятник получше... — заметил в выражении лица сторожа протест, прервал. — Бесплатно!

Спустя час Андрей был уже в отделении и докладывал товарищу Айтиеву, что «на месте захоронений 1919 года стоит новый памятник революционеру Б. Сороке, 1888 года рождения».

— А он точно восемьдесят восьмого года? — строго спросил товарищ Айтиев.

— Не знаю, — смущился Андрей. — Вы так сказали.

Айтиев лишь крякнул, но промолчал.

Того, что Сороку убил именно он, товарищ Айтиев ни для кого не было тайной. Но если Сорока — герой, революционер, то кто такой товарищ Айтиев? Об этом и размышлял Андрей, глядя начальнику уездного отдела ОГПУ в глаза.

Но тут в кабинет вошел курьер укома партии и сообщил, что делегация Коминтерна в Аулие-Ату не поедет — застряли делегаты в Черняеве, где будут проходить празднества по случаю переименования города в Чимкент. Местным чекистам следует лишь выделить группу поддержки черняевским коллегам с целью оказания помощи по охране иностранных гостей.

В другой раз товарищ Айтиев развел бы кипучую деятельность, объявил бы общий сбор всех сотрудников отдела, произнес бы речь о международном положении и происках мировой буржуазии, как делает это любой начальник, чтобы доказать подчиненным, что он — фигура крупная и посвящен в некие тайны мировой политики. Но на этот раз он просто взял телефон, покрутил ручку и, назвав телефонистке номер начальника организационного отдела укома партии, сказал тому после долгих приветствий и разговоров о погоде и семье:

— Аке, кто будет оплачивать расходы по охране делегатов Коминтерна в Черняеве? Из собственных средств?.. Извините, товарищ Байгонусов, но это нам не по зубам. Фининспектор не утвердит в конце года по смете. Я понимаю, что Интернационал. Но в прошлый раз, когда к нам московские писатели приезжали, мы пятерых черняевцев содержали... Хорошо, аке, я понял. До свидания. И вашей привет... — положил трубку, обернулся к Андрею. — Немедленно вернись на кладбище и верни памятник церкви. Торжества отменяются.

Андрей отдал честь, круто повернулся через левое плечо и, уже выходя из кабинета,

вспомнил, что памятник Сороке был передан церковью бесплатно, а это значит, что пирамидку со звездочкой можно не возвращать. Остановился в раздумии...

Следом вышел курьер, и быстрым шагом пошел к выходу из отдела. Малого этого Андрей знал еще по совместной учебе в школе второй ступени. Он был двумя годами старше Андрея по возрасту, и классы их всегда дрались между собой. Мальчишеская неприязнь между ними еще оставалась. А остановившись он тогда у двери, поговори с Андреем, может ничего бы и не случилось потом. Но курьер умчался к выходу, кивнул журному и исчез, а стажер Анютин остался, прислушиваясь к громкому голосу Айтиева, говорящему, по-видимому, по телефону:

— Товарищ Левкоев, я все понимаю, но поделать ничего не могу. Прошу меня извинить! Мы раскрыли заговор. Да, контрреволюционный... Есть и резиденты... Да, из Китая... Не знаю, товарищ Левкоев... Две недели... Нет, быстрее никак не могу... Ну, почему не по-соседски? Им по-соседски было нас подводить?.. Как когда? Когда на Чаткальскую банду ходили. Обещали свой отряд на помочь подослать, а не подослали. А тут всего и дел — пять иностранцев охранять. Кому они тут нужны?.. — последовала долгая пауза. — Ну, извините, не так выразился... Хорошо. Поговорим... — стук брошенной телефонной трубки, короткий матерок.

Андрей не знал, что слышит зов судьбы.

Он думал сейчас о том, что возвращаться в кабинет Айтиева и рассказывать о бесплатной пирамидке бессмысленно. Зачем идти на кладбище, придумывать объяснения сторожу, почему это полученный от церкви памятник для героя-революционера оказался чекистам ненужным? На все это уйдет не менее половины дня. А если оставить все, как есть, то до следующего дня он — Андрей Анютин — полностью свободный гражданин РСФСР, который может позволить себе отдохнуть от дороги и от хлопот по поводуувековечивания памяти революционера Сороки, помочь старикам по хозяйству.

Так Андрей оказался 17 мая 1924 года дома; и в 16 часов 03 минуты нечаянным ударом лома в стену соседского сарая обрушил часть саманной кладки, обнаружив за перекрещенными тополиными стволиками, прячущимися внутри глины, железную, слегка проржавевшую плиту.

Зачем прятать за саманом железо, было Андрею непонятно. Тем паче странно, что эта неказистая соседская пристройка была сооружена вплотную к красивому красного кирпича дому, в котором до революции жил не кто-нибудь, а сам господин исправник. В то время, помнил Андрей, часть огорода со свинарником, что сейчас принадлежал семье Анютиных, была лишь красивой лужайкой вокруг саманной пристройки. Но после революции, когда в кирпичном доме временно никто не жил, отец Андрея спрятал границу, соорудив плетень и построив свинарник. Его-то и собирался Андрей сначала разрушить ломом, а потом добротно восстановить.

Когда в доме исправника поселилась семья Айтиевых, спора из-за бывшей границы не возникало, ибо, по обычной казахской привычке, хозяин за садом и огородом не ухаживал, хозяйка позволяла пастись тут баранам.

Последние появлялись в этом дворе еженедельно по несколько штук, резались по случаям всевозможных праздников, как советских, так и общемусульманских и собственно казахских, а также православных русских и даже иудейских. Кроме праздничных гостей, были в доме начальника отдела ОГПУ еще и гости, которые приезжали к нему со всей степи с подарками, чтобы в случае какой будущей беды большой начальник из Аулие-Аты помог родственникам. (Отец Андрея называл таких гостей «дающими взятку впрок», говорил, что в прежние времена такого в державе Российской не было, а теперь, когда азиатские обычаи стали приживаться у государственных чиновников, доб-

ра не жди – разворуют державу.) Те и другие гости много пили, много ели, пели допоздна тягучие песни под домбру и кобыз, отчего каждый вечер казался соседям продолжением одного бесконечного праздника во славу советской власти и начальника ОГПУ.

Саманную пристройку при кирпичном доме никто никогда не посещал, она потихоньку ветшала и ждала того часа, когда из-за дождей или послеснеговой слякоти раскиснет крыша, вода прольется внутрь – и на ее месте останутся лишь оплывшие бесформенные стены наподобие тех, что встречаются в здешней степи и горах в каждом уроцище.

Обнаружив железную стену, Андрей испугался. «Черт меня дернул ковыряться именно с этой стороны!» – подумал он. Потом сообразил, что сам товарищ Айтиев вряд ли стал бы прятать что-то внутри саманной стены: слишком много трудов и времени потребовалось бы для того лишь, чтобы утаить что-то такое, чего нельзя доверить сейфам и охране ОГПУ. А в том, что плита была намеренно скрыта от посторонних глаз, сомневаться не приходилось: уж больно плотно прилегала саманская глина к железу.

«Сейф! – озарilo Андрея. – Драгоценности исправника там! И Айтиев не знает об этом».

Отбросив лом в сторону, Андрей вышел из свинарника и подошел к разграничающему участки плетню.

Айтиев земли не понимал. Снимал с деревьев плоды, но за два года ни разу сада не полил, не вскопал ни одной грядки. Более того: мусор, производимый в доме, выносили именно сюда и сбрасывали куда попало: под зарослями нестриженой малины, под выродившимися персиками, под покрытыми липким соком яблонями валялись объеденные кости, разделенные черепа баранов, куски кошмы, обрывки смятых газет на русском и немецком языках, стоптанный драный сапог, и торчал из земли почему-то лемех конного плуга. Откуда взялся? Весенняя травка прикрыла мелочь, принарядила отцветший сад, но все равно то тут, то там выглядывали из зеленого шелка муравьи красные обломки кирпичей, ржавых кусков неведомого назначения железа, потемневших пней и обгорелых деревяшек.

Андрей решил перелезть через плетень, но едва облокотился на него, как плетень повалился. Стволики, к которым были привязаны жердины с просунутым между ними колючим кураем, оказались прогнившими.

Андрей поднялся с земли, отряхнул колени и, сунув плетень в пересохший арык, идущий вдоль межи, пошел к пристройке.

Окон у саманного сооружения не оказалось совсем. Зато маленькая дверца в самом центре стены была сбита крепко из добротно обструганных и подогнанных друг к другу толстых и широких досок. Ни одной щели, в которую можно было бы увидеть спрятанный в пристройке сейф, Андрей не обнаружил. Плотно сидела она и в косяке, запертая кованой щеколдой с ушками, внутри которых, слава Богу, не было замка, а лишь была засунута кривая и тоже ржавая проволока.

Андрей развязал проволоку – та оказалась на редкость упругой, поддавалась с трудом – и распахнул дверь.

В лицо ударило вонью давно непроветриваемого, но сухого помещения вперемежку с запахами пыли и старой паутины.

Андрей прикрыл глаза и просчитал про себя до десяти. Открыл – в сумраке пристройки увидел лишь несколько сломанных старорежимных стульев с гнутыми ножками и спинками да обрывок какой-то расписанной толстой ткани, лежащей грязным комом в дальнем углу. В том месте, где, по его расчетам, должен находиться сейф, белела плохо оштукатуренная стена... без единой щели.

Андрей шагнул внутрь, потрогал стену.

Теперь, стоя в пристройке, он был уже абсолютно уверен, что та железная плита, что увидел он со стороны своего двора, является лишь задней стеной огромного потайного

металлического ящика. Ибо расстояние, которое он прошел вдоль пристройки снаружи, было значительно больше глубины помещения.

Пока Андрей думал об этом, рассуждал, руки его сами по себе, словно не по его воле, обшаривали стену, примыкающую к свинарнику, ища в ней хоть сколь-нибудь ощущенную выпуклость или вогнутость, ибо, как читал он в авантюрных романах, именно таким образом всегда обнаруживается механизм с тайной пружиной, позволяющий добираться до тайников с кладами.

И вдруг его палец просто продавил гнилую штукатурку и провалился в глубь стены. Пригляделся — не штукатурка там гнилая, а старая паутина внутри норы фаланги. Выковырял паутину пальцем — и увидел, что фаланга облюбовала замочную скважину.

Вот как, оказывается, бывает. Старики-исправники открывали тайную дверь просто ключом, без всякой механики и пружин. С одной стороны, и хорошо, а с другой... где взять ключ?

Осмотрев стену еще раз, Андрей обнаружил, что в четверти аршина справа от замочной скважины имеется-таки слаборазличимая вертикальная щель. Значит, он прав — здесь дверь тайного сейфа. И, быть может, клад. Старики ведь рассказывали, что по-крайней исправник любил получать мзду от просителей и жалобщиков. Брал не только ассигнациями (кому нужны теперь царские деньги?), но и золотом, серебром, камнями. Если обнаружить клад, сдать в Торгсин, то и в газете напечатают; а на премию за сданный клад в том же Торгсине можно ого-го чего купить!

Андрей приложил руку к лицу, заставил себя успокоиться и вышел из пристройки. Закрыл дверь, замотал проволоку на ушки и пошел к лежащему в арке плетню. Пере-прыгнул и направился к свинарнику.

Там он отвалил одним рывком большой самородный камень, из-за которого только что повредил стену пристройки, в образовавшуюся яму насыпал глину с соломой, налил туда воды и замешал саман.

Утром, когда пастухи, пощелкивая кнутами и позевывая во весь рот, пошли по остывшей за ночь брусчатке в сторону выгона, Андрей выпустил Зорьку в стадо, подивился заскорузлости пальцев у Гриньки, его изношенными штанами, хламиде вместо рубахи, солнному виду, не вяжущемуся с дивной мелодией, льющейся из свирели, а уж потом вернулся в сад, где возле каменной глыбы, которую вчера сгоряча сумел одним рывком вырвать из земли, смачно блестел жидкий саман и виднелось ржавое железо в стене.

В три приема Андрей замазал стену и разгладил ее ладонью. Остатками глины замазал прогрызенный бок свинарника. После помылся в рабочем ведре и пошел в дом.

Ел основательно, стараясь не проронить ни крошки хлеба и не пролить ни капли молока — завтрак не для молодого мужчины, а для мальца, но при скучности дохода отцовского и такой был для Андрея роскошью. Весной ведь с едой всегда трудновато. А тут еще Андрей сам три месяца жил в Ташкенте, не дома, талоны отоваривал там, да из дома кое-чего прихватил в мешке. Теперь вот вернулся на родительский кошт, а ни денег, ни еды с собой не привез.

«Надо талоны у Бахыта Атабаевича попросить...» — подумал. Но тут же забыл о талонах, стал думать о том, где бы могли сейчас находиться ключи от сейфа исправника.

Мать сновала по дому, поглядывая кроткими глазами в сторону жующих мужчин. Заметила, что сын не наелся хлебом-молоком, поставила перед ним и мужем тарелку с четырьмя вареными картошками и нарезанным кольцами луком, заправленным конофляным маслом.

Отец радостно крякнул и потянулся к картошке. Пришло время доставать и соль...

Оставив матери последнюю картошку с двумя-тремя кусочками лука, мужчины вышли во двор.

Отец, встав спиной к сыну и лицом в огороду, пустил струю в сторону вскопанной земли и съито отрыгнул.

— Тебе как будут платить? — спросил вдруг. — Деньгами или кровью?

— Какой кровью? — вздрогнул Андрей.

— Человечьей — какой еще? — ответил отец. — Или ты — не чекист?

Андрей увидел, как желваки ходят под кожей отцовского лица.

Он растерялся. Зимой, когда секретарь комсомольской ячейки Сергей Беспалов объявил на собрании, что именно Анютина рекомендует коллектив шерстомойки для работы в ОГПУ, он и сам испугался услышанного. Но сделать самоотвод не посмел. Потом, после разговора в укоме партии с большим чином из самого Верного, он уже ощутил благодарность за доверие, оказанное ему дорогой народной властью, пригласившей его для отпора бандитизму, контрреволюции и саботажу. С отцом же новостью тогда не успел поделиться, совета его не услышал — не было отца тогда в Аулие-Ате, выехал он в сначала в Бурное, а там и в Москву — на бывшие морозовские фабрики за договорами на поставку тамошним ткачам промытой шерсти. А вот теперь поговорили.

— Я — чекист, — сказал Андрей без видимой гордости, но с ноткой достаточного самоуважения. — Мне доверили... — но продолжить не смог, ибо отец прервал его:

— У них казарма есть?

— Есть... — растерялся Андрей. — Общежитие.

— Переезжай туда, — сказал отец и отвернулся к бане. — Два дня сроку даю.

Андрей почувствовал себя потерянным. Смотрел отцу в спину, не зная, что сказать. Решил обернуться к крыльцу, но не смог, ибо спиной ощущил присутствие там матери. Она все слышала, но промолчала. Значит, с решением мужа согласна...

На работе Андрей добрую половину дня протолкался без всякой пользы: слонялся из кабинета в кабинет, где разомлевшие от жары сотрудники тягучими голосами расспрашивали подследственных и арестованных об их житье-бытье до революции, о родственниках за рубежом страны Советов, о том, чем занимались они во время гражданской войны. Конвойрам, ожидающим окончания допросов, равно, как и следователям, было глубоко наплевать на причину плохого настроения Андрея. Они только кисло улыбались, глядя на его хмурое лицо и придумывали какой-нибудь предлог, чтобы выдворить его из кабинета. Машинистка же — единственная особа дамского пола в отделении ОГПУ — не только привыкла к постоянному вниманию со стороны сослуживцев, но даже остервенела от них. Любое внеслужебное слово по отношению к себе она воспринимала, как намек на интимную близость и имела наготове целый арсенал оскорбительных ответов, очередью из которых она отбила и Андрея, решившего было спросить у нее что-то о погоде.

Андрей покраснел и залепетал:

— Вы меня не так поняли. Я только хотел сказать, что в такую погоду приятнее покуаться и позагорать.

Тут дверь кабинета Айтиева распахнулась — и появился он сам, слегка вспотевший и по-обычному энергичный.

— Ты уже здесь... — сказал он. — Зайди.

Андрей бросился от машинистки прочь.

— Тебе задание, — продолжил Айтиев уже в кабинете, но на ходу, не дойдя еще до своего места за столом. — Справишься — повышу в звании, нет — не взыщи. Хотя ты и стажер, дело у тебя будет самостоятельное... — сел на место, глянул снизу на стоящего перед столом навытяжку Андрея. — Справишься?

В голове у того все еще стояли слова отца об общежитии, но вопрос Айтиева оказал-

с я вдруг (потом он и сам не мог объяснить почему) более важным, поэтому он ответил:

— Постараюсь, товарищ Айтиев.

— Никаких документов нет, — продолжил без прочих предисловий начальник уездного отдела ОГПУ. — Свидетелей тоже. Известно лишь, что несколько дней назад советско-китайскую границу пересек (или пересекла) разведчик (или разведчица) одного из белобандитских соединений, расположившихся в Синьцзяне. Разведчик направляется к нам в город. Срок для поиска — десять дней.

— Кто она? — спросил Андрей. — Или он... Приметы есть?

— Ты что — дурак? — приподнял брови Айтиев. — Какие приметы, если не знаю даже: мужик или баба? Наш резидент в Китае умер, успев передать нам только это сообщение. Понятно? Иди.

Андрей открыл было рот, но рука уже сама по себе отдала честь, а тело повернулось на одной ноге через правое плечо.

Так с открытым ртом и прижатыми к виску пальцами он и вышел из кабинета Айтиева в приемную, где у пишущей машинки скучала затянутая в военную форму и оттого ненормально грудастая женщина.

2. ОКНО

Кабинет Андрею выделили в самом конце длинного и темного коридора в здании ОГПУ, расположенном на углу улицы Ленина и Октябрьской. Раньше здесь был публичный дом мадам Ирины, которая во время гражданской войны умудрилась продать его узбеку Сыздыкову и исчезнуть из города. Национализировать у представителя национального меньшинства собственность уездное начальство не осмелилось, ограничившись лишь арендой половины г-образного саманного строения — той его части, что примыкала к улице Октябрьской. Вторая половина, расположенная вдоль улицы Ленина, осталась за семейством узбека и его девочками.

Двор тоже оказался разделенным. В результате окно Андреева кабинета выходило на хаузсаду Сыздыкова, где свободные от приема клиентов проститутки либо купались нагишом, либо, полуодетые, сидели на краю бассейна, бульхая ногами в воде и сплетничая.

Именно их призывающе дразнящие тела были первым, что увидел Андрей, открыв дверь своего первого в жизни кабинета. Увидел, несмотря на толстый слой пыли на стеклах. И лишь потом, насилиу оторвав взгляд от прелестной картины, заметил грязные потеки под ободранными обоями, беспорядочные непонятного происхождения белые пятна на полу. Большие пятна...

На стене висел телефонный аппарат. Настоящий: с ручкой для того, чтобы крутить, с трубочкой, наподобие докторской, но со шнуром, чтобы слушать, и улиткообразным рупором впереди черного ящика, чтобы говорить.

Вид этого чуда техники взволновал Андрея не менее сильно, чем зрешице из окна. Только увидев телефон в комнате, которую комендант пять минут назад назвал кабинетом, он по-настоящему понял, что стал теперь настоящим чекистом, человеком, от движений руки которого зависят жизни сотен и тысяч людей.

Уверенно вступил он в комнату, еще раз оглядел стены — уже по-хозяйски, оценивающе, мигом прикинув в голове объем предстоящих ремонтных работ: одно ведро известки, баночка краски, кусок доски для заделывания дыры в половице. Еще скребок нужен — клей и обои ободрать. И тряпицу почище надо у матери попросить — чтобы нос прикрывать от пыли.

Шагнул к телефону и, взяв трубочку, поднес ее к уху.

— Алло! — сказал громко в рупор.

Трубка молчала. И молчание это было тем обиднее, что голые бабенки плескались в хуаузе и, как ему казалось, увидели его сквозь грязное окно.

— Алло! — повторил он громче.

Трубка молчала.

«Может позвать коменданта? — подумал он. — Или кто тут отвечает за связь?»

Но тут взгляд его упал на ручку сбоку черного ящика — и ему стало смешно. Взялся за нее и, не сдерживая торжествующей улыбки, прокрутил несколько раз.

В трубке затрещало, раздался женский голос:

— Чего надо?

Андрею страсть как захотелось увидеть сейчас телефонную барышню и отчитать ее за грубость. Но он лишь выгнул грудь и сказал голосом солидным и величественным:

— Соедините меня... э-э-э... — и запнулся, ибо не знал в городе никого, кто имел бы свой телефон. — С церковью... — вдруг ляпнул, вспомнив вчерашний свой телефонный разговор. — С церковью, — повторил и почувствовал, как на лбу выступил пот.

— А кто говорит?

Вопрос прозвучал так, что Андрей понял, что наличие собственного кабинета и доступа к телефону вовсе не означает всесилие их владельца.

— Андрей Анютин, — представился он.

— А кто вы?

Называться после пережитого лишь стажером Андрею показалось несолидным, и он представился сотрудником ОГПУ.

— А-а-а... — протянул женский голос в трубке. — Вы новенький. Которому дали крайний кабинет?

Сказано все это было с обезоруживающей фамильярностью, и хотя Андрей обиделся, и даже собрался сказать резкость, он все равно испытал чувство симпатии к телефонистке. Та же и не подозревала об его обиде, ибо продолжила, как ни в чем не бывало:

— Там у тебя в окне такое кино! У нас на этот кабинет прорва желающих. Один сотрудник прошлым летом другому за кабинет этот руку прострелил, — тут же принялась она сплетничать. — А теперь кабинеты все кончились — вот тебе и дали. Временно. Так что ты особенно к нему не привыкай, не ремонтируй. А то работать будешь своим материалом, а новая драка начнется — тебе и не возместят.

Всю эту информацию она выпалила быстро, слово выплюнул пули «Максим». Но голос ее звучал все глуше и глуше, и Андрею пришлось еще несколько раз крутануть ручку, чтобы дослушать все о своем кабинете.

— И как мне все-таки соединиться с церковью? — решил-таки повторить свой вопрос Андрей, чувствуя, что беседа с человеком, который знает о тебе все, а ты не знаешь его совсем, действует ему на нервы.

— Невозможно, — последовал ответ телефонистки. — Это телефон для внутренней связи. Выход в город — только по согласованию с товарищем Айтиевым.

— Спасибо, — вздохнул Андрей и со вздохом повесил трубку.

Но не успел он отступить от аппарата, как телефон зазвонил сам.

— Алло! — сказал он. — Сотрудник Андрей Анютин у телефона.

— Этойа, — услышал он всетож женский голос. — Вам правда надо прозвониться в город?

— Правда, — сказал он, ибо растерялся.

— Я вас соединю, — сказала телефонистка, — Только вы никому не говорите. Ладно?

— Ладно, — сказал он.

— Вам сколько лет?

— Двадцать, — ответил Андрей и добавил. — ... Один.
— А мне девятнадцать, — сообщила она. — Звать Леной. Раньше вы где работали?
— На шерстомойке. Рекомендован комсомольской ячейкой.
— У меня там подруга работает, — проигнорировала она сообщение о направлении, — Гурченко Жанна, знаете?

— Нет, — признался Андрей, не помнящий никакой Жанны в своем окружении. — Она, наверное, не комсомолка.

— Нет, — рассмеялась Лена каким-то странным смехом. — Не комсомолка.

Что-то в голосе ее неуловимо изменилось — и это заставило расслабившегося было Андрея вновь насторожиться: не надо было, наверное, называть незнакомую Жанну комсомолкой.

— Соединяю с церковью, товарищ Анютин, — все еще смеющимся голосом сообщила телефонистка. — А про Гурченко я вам потом расскажу... — и пропала.

Когда мужской голос на другом конце провода сообщил:

— Церковный приход. Вас слушает дьякон Петр, — Андрей уже знал о чем говорить:
— Я хочу узнать, в каком состоянии находится в настоящее время памятник некоему Сороке.
— Не знаю, — ответил дьякон. — А кто спрашивает?
— ОГПУ, — твердо и по буквам произнес Андрей. — Узнайте и сообщите мне, — сказал и подумал: а правильно ли будет, если он скажет служителю культа слово «пожалуйста»?
— Моя фамилия Анютин. Скажите телефонистке нашего коммутатора — она соединит.

Следовало бы вновь позвонить телефонной барышне и поблагодарить за оказанную услугу, а заодно предупредить о предстоящем телефонном звонке из церкви. Но вновь слышать насмешливый голос не хотелось.

Появление огромного, усатого и пузатого коменданта оказалось потому весьма кстати. Не звонить же при нем.

— Ну, Андрюша, как тебе апартаменты? — спросил комендант.
— Да вот, — ответил он, показывая на стены. — Побелить бы надо.
Комендант, продолжая улыбаться, покачал головой:
— Белить как раз нельзя, — сказал. Подошел к окну, смахнул ладонью пыль. — Поди сюда, — пригласил.

Оделись в это время над чем-то смеялись. Две из них упали на спину и задрали к небу ноги, обнаружив отсутствие нижнего белья под воздушного шелка платьями.

— Понял теперь? — спросил комендант и зачем-то оглянулся. — Отремонтируешь кабинет — мигом заберут. А так, я приду — и все.

— А если... допрос? — спросил Андрей. — Подследственный — и вдруг — это самое...
— Это да, — согласился комендант. — Незадача... — и тут же хлопнул себя по лбу, предложил решение. — А мы газеты кнопками — раз, раз! Понял? Отсюда не видно. А мы кнопку отцепим — и смотри сколько надо. Хорошо?

— Хорошо, — согласился Андрей и почувствовал, что краснеет. И тут вспомнил рассказ Сергея Беспалова о Гурченко... как ее? Жанна!.. Однажды она пропустила через себя целую смену мужчин. Лежала на тюке с отмытой шерстью, а все, кому хотелось, подходили, разбрасывали ей ноги и... Помнится, от рассказа Андрея тогда стошило... Жанна... Вот о ком говорила телефонистка! Вот почему смеялась, когда он сказал, что не комсомолка она.

— Ты не робей! — ободряющим голосом сказал комендант, и хлопнул его по плечу. — Пошли мебеля таскать, чтобы кабинет кабинетом был.

По дороге за мебелью на склад и обратно, комендант поделился с Андреем своим предположением, как создать в кабинете Андрея тот идеальный беспорядок, чтобы никто уже никогда не покушался на столь притягательное помещение.

— Принесем известку, краски, щетки, веники, тряпки, еще чего-нибудь, — объяснил он. — Разложим по полу, на видных местах, как будто к ремонту готовимся. Окна газетой залеплены — ничего не видно. И что темно будет — тоже хорошо. Я тебе стосвеченую лампочку дам. А на случай, когда свет отключат, я тебе трехлинейку выпишу. У нас много их — в Мальцевском складе реквизировали. А еще керосину принесу полную флягу — для запаха. Договорились?

Изумленный и растерянный Андрей только кивал и поддакивал.

Когда же стол, стулья и шкаф оказались на местах, в кабинет вошел Айтиев.

— С новосельем, — поздравил он. — Смотри, как у тебя уютно.

— Спасибо, — ответил Андрей, оглядывая бесконечный беспорядок в кабинете.

— Товарищ Демченко, — обратился тут начальник к коменданту. — Вы уже выдали товарищу Анютину сухой паек?

— Никак нет! — гаркнул по-старорежимному толстяк и приложил к виску ладонь. — Формуляр финчести на товарища Анютина еще не выписан.

— Ну, а ты похлопочи, — улыбнулся Айтиев. — С формуларием неделю могут протянуть, а парню есть надо.

Комендант щелкнул каблуками и вышел из кабинета вон.

— Видал? — спросил Айтиев, провожая великана восхищенным взглядом. — Школа! В лейб-гвардейском полку служил до революции!

Андрей вспомнил свои промахи на занятиях по строевой подготовке и слегка приуныл.

— Ну, а теперь к делу, — сказал Айтиев, садясь на стул для допрашиваемого и жестом показывая Андрею на место для следователя. — Как выполняешь мое задание?

— Ника к пока, — честно признался Андрей и вновь почувствовал, что краснеет. — Я еще не начинал.

— Совсем ничего? — лукаво сощурил свои азиатские глаза Айтиев.

— Ничего.

— А звонок в церковь?

«Выдала! — пронеслось в голове Андрея. — Сама предложила позвонить — и сама выдала. Стерва!» И ему захотелось увидеть телефонистку, чтобы плонуть ей в лицо.

— Ну-у... — протянул он, стыдясь за то, что мямлит. — Там мне ничего интересного не сообщили.

— Сообщат, — уверенно сказал Атабаев. — Эти — сообщат. Для тебя, конечно, это новость, но ты должен знать, что приходские священники и муллы — это наши осведомители. Люди надежные и верные.

Андрей, плативший взносы в общество «Безбожник» с той же аккуратностью, что и в РКСМ, сам не однажды выступавший на антирелигиозных митингах, слегка оторопел. В его сознании успело крепко укорениться суждение, что уж кто-кто, а попы — самая настоящая контроля. И фильм «Красные дьяволята», увиденный им в Ташкенте, тем более укрепил его в этом сознании. И вдруг — осведомители ОГПУ.

Айтиев между тем продолжил:

— Сходи в собор, спроси отца Бориса. Все, что тебе нужно, он сообщит. А ключи от своего кабинета оставь мне. Я поработаю в тишине.

Взгляд его при этом скользнул по окну.

У столика дежурного Андрея ожидал комендант.

— Ключики-то оставишь? — спросил. — Вернешься — отдам.

— Товарищ Айтиев забрал, — ответил Андрей. — Сказал, что хочет поработать в тишине.

— Знаем, чего он хочет, — вздохнул толстяк.

3. ПОП

Отца Бориса, а попросту попа, Андрей обнаружил в церковном дворе выходящим из сортира. Высокий, сухощавый, при черной с проседью бороде и жидкой косичке, выглядывающей из-под темно-силеневой камилавки, он выглядел явным семитом в православной сутане – из тех, что до революции называли «выкрестами». А евреев следует, как учили его в Ташкенте, уважать и ценить особенно. Они – рыцари революции и ее верный оплот, ибо именно они, плечом к плечу с Лениным, боролись с гидрой контрреволюции и победили беляков и Антанту. Впрочем, по общежитию ходили слухи, что и сам Ленин нес в себе «жидовскую кровь», но именно эти-то слухи пресекались с особой силой, а одного из курсантов, задавших на занятиях по политподготовке вопрос о национальности Ленина, сразу же исключили из органов, а дома, в Самарканде, он так и не появился. Жена приезжала его разыскивать – сказали, что потерялся по дороге.

Все это настолько запутало сознание Андрея, что он попросту решил не задумываться о национальном вопросе вообще. Хорошие ли евреи люди, нет ли – наплевать. Он даже анекдотов о них не слушал, отходил от рассказчика либо просто думал в этот момент о совершенно другом и, когда люди смеялись, он молчал и только темнел лицом. Оттого-то и считался среди однокурсников лишенным чувства юмора. Ну и пусть. Зато одного особо ретивого хохмача начальник курсов приказал арестовать прямо во время сдачи экзамена по политической экономии. Весельчака этого и юмориста препроводили в следственный изолятор для политических Ташкентского ОГПУ, а оттуда, как известно, выход один.

И вот теперь приходится разговаривать с евреем наедине.

– Э-э-э... – проблеял он, не зная, какую форму обращения (термин, введенный на ташкентских курсах самим членом ТурЦИК Тураром Рысколовым) выбрать. – Гражданин отец Борис, – выбрал-таки компромисс. – Мне надо с вами поговорить.

– Слушаю, сын мой, – проигнорировал «гражданина» поп, и выражение лица его стало постным. Взгляд же, хоть и был направлен прямо в глаза Андрею, смотрел сквозь, словно не человек перед ним стоит, а пустое место. Точно такой взгляд был у секретаря Туркестанского ЦК Валериана Куйбышева, который с выводком подчиненных инспектировал школу переподготовки ОГПУ. Шел мимо строя курсантов, смотрел на них – и никого не видел. Нижняя губа его совсем обвисла – и Андрей,омнится, смотрели ждал, когда проявится на ней жирная слюна и скатится большой влажной каплей по жирному двойному подбородку. До учебы в школе ОГПУ Андрей никогда не встречал людей с такими глазами – ни в гимназии, ни в школе второй ступени, ни на улицах Аулие-Аты, ни на шерстомойке. Там люди, даже отвернувшись от тебя, разговаривали именно с тобой, слушали именно тебя. А поп – уже второй человек, которому до существования на свете Андрея не было, в сущности, никакого дела. И это обижало.

– Я вам не сын. – сказал он. – Я – сотрудник ОГПУ. Вот удостоверение, – сунул руку в нагрудной карман и достал красную картонку.

Отцу Борису оказалось достаточно взгляда на нее.

– Чем могу служить? – спросил он и стал смотреть на Андрея, а не сквозь него. – Может, отойдем? – указал в сторону ракиты у калитки на кладбище. – Неудобно, знаете ли, общаться духовной особе с чекистом на глазах прихожан.

Андрей согласился.

Уже под ракитой спросил:

– Вы знаете могилу революционера Сороки? Он погиб в 1919 году.

– Увы, – развел руками отец Борис. – В это время меня еще не было в Аулие-Ате. Я был рукоположен в прошлом году.

— Не важно, — решительно заявил Андрей. — Я вам покажу могилу, а вы установите за ней наблюдение. Лучше круглосуточное. Будете регистрировать всех, кто посещает могилу.

— Это надо понимать, как приказ? — ласковым голосом спросил отец Борис. — Но церковь у большевиков отлучена от государства. Не так ли? И вы, как государственный служащий, не можете приказать мне заниматься вашим делом. Заботы священнослужителей распространяются на души людские. А стрельба, погони, слежка — это уж, простите, епархия чекистов.

Андрей ощущал прилив ярости. Как это, какой-то там жид поганый не желает выполнять приказ сотрудника?!

А отец Борис, решив, что тема исчерпана, дал задний ход. Андрей ухватил его за сутану в районе талии и рывком притянул к себе.

— Слушай ты, опиум для народа, — процедил сквозь зубы. — Не зарывайся! Сказано следить — следи, — и с наслаждением почувствовал при этом, как слабеют ноги собеседника его и крепнет собственное чувство самоуважения. Здоровое чувство. Настоящее чувство настоящего чекиста. — А не будешь — прибью. Как таракана, — отбросил от себя попа, вытер о штаны руки. — Потс поганый.

Словом этим, слышал он в Ташкенте, обзывали люли — бухарских евреев. Что такое «потс», он не знал, но был уверен, что слово это даже для евреев звучит оскорбительно.

Холеные пальцы отца Бориса легли на нагрудный крест.

— Придется вам, молодой человек, — сказал он опять-таки с ласковой улыбкой на лице и глядя сквозь Андрея, — самому приглядеть за могилой революционера Сороки.

Что-то заставило Андрея оглянуться.

По аллее между крестами шли двое. Вид они имели явно буржуазный, но не современный нэpmанский, а скорее дореволюционный, хотя и несколько потрепанный. Андрей знал обоих: Олег Иванович и Алла Наумовна Костиковы, учитель и учительница бывшей мужской гимназии, а теперь Первой трудовой школы второй ступени имени вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Она преподавала Андрею русский язык и литературу, которые по старинке называла изящной словесностью, он — математику.

— До свидания, господин чекист, — громко произнес поп, сдерживая непонятные эмоции, проскользнувшие в его голосе. И пошел в сторону уборной.

Костиковы обернулись. И сразу узнали Андрея. В глазах учителей он увидел сначала страх, потом удивление и, наконец, презрение.

— Здравствуйте, — сказал Андрей, чувствуя неловкость за то, что опознан в качестве чекиста.

Но, к его удивлению, они ответили. Алла Наумовна величаво кивнула, Олег Иванович приподнял шляпу.

«Они боятся! — догадался Андрей. — Боятся потому, что я — чекист!»

А ведь когда-то боялся их он. Боялся двоек, подчас несправедливых и откровенно подлых, ибо учителя знали, что за каждую из полученных Андреем двойку отец избивал его столь жестоко, что, бывало, по два дня приходилось спать на животе, а за партой не сидеть, а стоять. Боялся и кондуита, оставшегося в Первой трудовой школе второй ступени со времен гимназии. Боялся отказа от бесплатного питания на день, два, три, на неделю — в зависимости от степени вины, а по сути — в зависимости от настроения учителя, и, в первую очередь, от таких вот Костиковых. Свиньи в их доме, поговаривали в школе, откармливались исключительно за счет пайков провинившихся учеников.

Костиковы собирались шагнуть дальше, но Андрей окликнул их.

Они остановились. Он подошел. Еще раз поздоровался, спросил, куда собирались. Ответили, что на могилу сына.

Андрей припомнил прыщавого низкорослого подростка, считавшегося в школе ябедой. Год назад, оказывается, он умер после укуса бешеной собаки. Достойная доносчица смерть, подумал Андрей без сожаления, но вслух сказал несколько теплых слов.

Алла Наумовна всплакнула и предложила Андрею «взглянуть на могилку Костика».

Постояв над хорошо отшлифованным камнем с трогательной, но лживой, как все эпитафии, надписью, Андрей заметил, что могила Сороки с этого места проглядывается неплохо.

И тогда он предложил Олегу Ивановичу и Ольге Наумовне проследить за возможными посетителями могилки с новой деревянной пирамидкой и звездочкой наверху.

Они сразу же согласились. Алла Наумовна даже сказала:

— Да, да, Сорока. Красивый мужчина. И акцент! Приятный такой выговор...

Олег Иванович вставил:

— Весьма кстати. Учебный год кончился, время свободное у нас есть. Да и около Костика приятно посидеть.

Тогда Андрей охамел окончательно:

— Если сможете, то проследите за тем, кто посетит могилу, и в городе. Узнайте, кто он и где живет. А уж потом сообщите мне.

— Ленина — один, — с пониманием в голосе сказала Алла Наумовна.

Он кивнул — адрес назван точный. Добавил:

— А если поздно, то дома. Вы помните адрес?

Они помнили. Еще бы не помнить — эта самая Алла Наумовна по десятку раз в год приходила к Аннотиным домой, дабы живописать отцу Андреевы шалости, доводя их в своих рассказах до уровня преступлений. И гнев родителя после этих посещений был особенно страшен.

И эти люди когда-то смели презирать его? Нет, он никогда не забудет их совместного взгляда, когда они обернулись на голос попа, сказавшего: «До свидания, господин чекист».

Простившись с учительями, Андрей пошел не на работу, а домой, ибо наличие в соседском сарае запертого сейфа волновало его сейчас куда больше, чем появление мифического шпиона из Китая, который мог и быть в Аулие-Ате, а мог даже и не подозревать о существовании этого города.

Мысль о том, что задание Айтиева есть всего лишь блеф, возникло у него еще по дороге на кладбище. Он шел сюда и вспоминал разговор начальника уездного отдела ГПУ по телефону с Левкоевым. Голос Айтиева показался Андрею тогда лживым. Не захотел чертов азиат помогать соседям-чимкентцам охранять коминтерновцев — вот и придумал белогвардейский заговор в Богом забытой Аулие-Ате. Потому и дал такое нелепое задание Андрею: найти не то мужчину, не то женщину, который или которая неизвестно как выглядят и без имени-фамилии. Лучше в таком случае несколько дней дома пересидеть, только вид сделать, что кого-то там разыскиваешь, чем под неприятности подставляться. Там — глядишь — делегация Коминтерна уедет, все позабудется, жизнь войдет в свое русло. Один курсант из Термеза рассказывал на курсах о подобном произшествии у них в городе. Только там им повезло: граница была рядом, поймали пограничники каких-то контрабандистов, окрестили белогвардейским подпольем, премии, именное оружие получили, а начальника отдела представили даже к ордену Красного Знамени. А здесь до границы верст с пятьсот будет, так что лучше дома отсидеться.

Но, переходя бывшую Кауфмановскую улицу у собора, Андрей нос к носу столкнулся с комендантом Демченко.

— О-о-о! — воскликнул толстяк. — А я тебя ищу. У тебя тележка есть?

— Какая тележка?

— Так для пайка, — объяснил комендант. — А ты что — в руках собрался паек тащить? Рук не хватит, — и, подхватив Андрея под мышку, поволок его с холма вниз.

Там обнаружился неизвестный раньше Андрею проход между дувалами, идущий прямо к арычному водораспределителю, от которого до ОГПУ осталось каких-то двести-триста шагов.

Вместо тележки Андрею выделили айтиевский «Форд». Положили пару наполненных подвязки мешков на заднее сидение, посадили растерянного Андрея рядом с шофером и отправили домой.

Мать, увидев привезенное сыном богатство, тихо простонала, всплеснула руками и села на тополевый пенек у ворот. Такое обилие разнообразных продуктов она видела только в магазине Семержиди на прилавках, да и то до революции.

Вдруг быстро вскочила с пенька, побежала впереди груженых мешками сына и шофера, очистила место под навесом и сказала, чтобы положили добро сюда, а уж когда отец вернется с работы — тогда и разберутся, куда что припрятать. Потом вынесла во двор табурет, села рядом с мешками — сторожить.

Андрей проводил шофера и вернулся. Мать сидела в той же позе, уставив сосредоточенный взгляд на сына, но не видя его при этом, как не видел давеча поп; левая рука ее свисала к земле, а правая нежно поглаживала мешки.

Андрей припомнил прошлогодний хлеб с отрубями, весенние супы из лебеды — и к горлу его подкатил комок.

— Вы, мама, — сказал, проглотив комок, — пошли бы домой. Никто не тронет... — и положил руку ей на плечо.

Она согласно кивнула, но даже ладони с мешка не убрала.

— Паек всего за три месяца, — объяснил он. — За те, что я в Ташкенте на учебе был. А еще за текущий месяц отоварить должны.

Ему пришло помочь ей встать на ноги и довести до дома.

— Денежное довольствие, — продолжил по дороге, — за прошедшее время тоже выдадут. А жалование у меня здесь в три раза больше, чем в шерстомойке. И еще две пары кальсон с рубашками на полгода, две пары хэбэ костюмов военного покроя, одну полушиерстяную, а также фуражку, шапку, сапоги яловые... два отреза на портнянки. И еще... сказали, чтобы заходил в ломбард на предмет примерки гражданского костюма из числа... ну, как их?.. Ну, которые не выкупили.

В доме мать словно проснулась. Скоро вывалила на стол стылую вареную картошку, нарезала хлеб, отлила из глечика толику конопляного масла, достала из сундука сласти — сущеный черный урюк.

Андрей поел, выпил чаю с урюком, пошел в огород.

Там он опять перелез через плетень в айтиевский огород, проник в сарай и уже при дневном свете убедился, что сейфа ему без ключа не отпереть. Не будь стена столь массивна, можно было бы вывалить сейф в свой двор, потом заделать дыру. Но за ночь заделать ее одному невозможно. Да и свежезалепленный саман будет сырым долго, темное пятно останется на добрый месяц — заметят чего доброго...

Думал об этом — и вдруг заметил кабана своего Мишку, прущего прямым ходом к месту, где он задел сарай вчера. Любят свиньи мокрый саман. То ли соль в нем лижут, то ли еще почему, но сколько уж раз было: построишь стену, не углядишь — ан свиньи ее рушат.

Бросился Андрей навстречу Мишке, пнул ногой в рыло. Кабан завизжал, нырнул в дыру под свинарником, прогрызенную прошедшей ночью.

Пришло кормить поганца спрятанным в уличной печке варевом, заваливать дыру бутовым камнем и оставшейся со вчерашнего вечера глиной.

Мишка нажрался, но спать не лег, а ткнулся в свою дыру, обнаружил, что заделана она — и поднял такой вой, какой устраивают паровозы на узловой станции под водокачкой.

Отец что-то задерживался. Зато Айтиев вернулся домой рано. Вернулся — и сразу же позвал к себе Андрея — через сына.

Андрей последовал за мальчишкой в дом, где до этого, надо признать, ему бывать не приходилось: слишком велика была разница в положении исправника или начальника ОГПУ и семьи возчика Аютина.

Айтиев принял его в комнате, бывшей во времена пристава залой. Мебели, как таковой, не было. Главными атрибутами, заменившими ее, были поставленные в ряд крашеные в зеленый и красный цвет сундуки, узорчатая кошма и высокая стопка лоскутных одеял. Маленький круглый столик с самоваром, заварным чайником и стопкой пиал, большим блюдом с бесбармаком и другое — уже с конфетами довершали обстановку.

— Садись, — широким движением руки пригласил хозяин дома Андрея к столику. — Хороший бесбармак. Вчера родственники казы привезли — жена сварила.

Андрей не переносил запаха сущеного конского мяса, брезговал вида колбасы-казы и терпеть не мог блюда под названием бесбармак. Но признаться в этом Айтиеву не посмел. Чинно поблагодарил за оказанную честь и, подогнув по-казахски ноги, сел на указанное место. Выпил пиалу чая, принялся за бесбармак — как положено, руками, без вилки, чувствуя омерзение, когда пальцы его прикасались к холодному и липкому от бараньего жира мясу. Бесбармак был ночной, не разогретый — и это означало, что хотя угождением этим хозяин и оказывает ему честь, но ценит соседа и подчиненного своего не очень высоко.

— О-о! — протянул довольный Айтиев. — Руками ешь! Это хорошо. Уважаешь наш обычай. Да, сейчас не черные времена царизма. Теперь казахский народ проснулся. Его уважать надо. Ты вот молодой, царские времена почти не помнишь.

И начался обычный треп-монолог высокопоставленного чиновника о тяжкой жизни бедноты во времена дооктябрьские, о том, как большевистская революция освободила степняков от тяжкого гнета царизма, позволив простому сыну пастуха, работавшего за «спасибо» на имама Жаксалька, достигнуть в уезде поста, которому позавидовал бы сам господин исправник, в доме которого они сейчас едят этот вот бесбармак.

— Кстати, — решил влезть в монолог Андрей. — Этот исправник, говорят, еще жив. Правда это?

— Правда, — кивнул Айтиев. — Работает банщиком у Рахимбека.

Имя нэпмана Рахимбека Жимабаева, брата знаменитого до революции заводчика Алима Жимабаева, владеющего двумя десятками лавок на зеленом базаре, полусотней на Мучном рынке, целым рядом на конском, турецкой базаре на Мало-Ташкентской, несметными стадами в низовьях Таласа и несчетным числом шашлычных и чайхан в Аулие-Атинском и Черняевском уездах, пользовалось в городе популярностью неслыханной. Одни ему завидовали, другие его ненавидели, но все вместе желали ему скорейшего банкротства или смены государственной политики путем проведения экспроприации, случившейся уже однажды во времена благословленного военного коммунизма, а теперь с новой экономической политикой как-то и забытой.

Но работать у Рахимбека банщиком считалось занятием почетным. Если даже бывший исправник занимался этим, то можно было признать, что глава исполнительной власти в уезде не так уж много потерял из-за революции.

— Да, у Рахимбека, — подтвердил Айтиев. — А зачем он тебе?

Отвечать уклончиво — вызывать подозрения. Этот афоризм Андрей записал в свою тетрадь еще на курсах. А то, что он записывал в тетрадь, Андрей не только хорошо запоминал, но и следовал букве записанного с присущим его возрасту рвением. А раз так — надо не уклоняться, а нагло врать. Это — уже собственный афоризм Андрея. И он последовал своему афоризму:

— Мне кажется, что белогвардейский резидент, отправленный из Китая в наш город, не может не посетить бывших чиновников нашего уезда. Именно они могут быть потенциальными врагами советской власти.

Вторая половина этой тирады была почти цитатой из той же тетради с лекциями, и потому прозвучала для Айтиева слаще музыки.

— Хорошо мыслишь, — сказал он. — Давайза это выпьем, — достал из-под столика бугыльку белоголовой. — Государственная, как раньше говорили, «казенка», — ударом ладони в донышко выбил пробку и разлил водку по пиалам. — Ну, как говорят русские, с почином тебя!

Выпили.

После теплой водки бесбармак показался Андрею уже не таким противным.

Айтиев начал разговор, из-за которого он, собственно, и решил позвать Андрея к себе в дом:

— Ты памятник Сороки не снял, — сказал он. — Почему?

— А что? — спросил Андрей не из-за хамства, а чтобы выиграть время для обдумывания.

— Отца Бориса просил проследить за могилкой, так?

Андрей молча кивнул, чувствуя приближающуюся опасность, но из-за ударившего в голову хмеля не находя нужных для оправдания слов.

— Это что — тоже по делу о резиденте? — неожиданно подсказал выход Айтиев.

Андрей вновь кивнул. Не стоит, конечно, объяснять начальнику, что сама мысль о слежке за могилой родилась у него от незнания, как и о чем говорить с попом, ибо и сама встреча с представителем церкви была ему нужна для того лишь, чтобы создать видимость деятельности, а самому тем временем заняться сейфом. И вот — попался.

— А зачем белогвардейскому резиденту посещать могилу левого эсера? — спросил Айтиев.

— А почему бы и нет? — нагло заявил Андрей, ибо логика полученного задания была столь же нелепой, как и метод его следствия.

— Потому что ты шарахаешься в этом деле из стороны в сторону, — объяснил Айтиев, не обращая внимания на явный вызов в голосе Андрея. — А у тебя только десять дней. Уже девять. Не сумеешь найти резидента — считай, что ты не сотрудник.

Подталкиваемый алкоголем Андрей собрался было возразить начальнику, но тот движением ладони прервал его:

— Это было первое мое возражение, — сказал Айтиев. — А во-вторых, кто тебе позволил разговаривать с отцом Борисом в приказном тоне? Я тебе про то, что он наш информатор, говорил?

Андрей кивнул.

— А про то, что об этом могут знать только сотрудники ОГПУ, говорил?

— Говорил.

— А теперь мне приходится тебе объяснять, что информатор подобного ранга подчинен, минуя нас, непосредственно Москве, товарищу Дзержинскому. И по должности, по званию своему в ОГПУ, он выше не только тебя, но даже меня.

Андрею стало страшно. Хмель разом вылетел. Стало совсем уж непонятно: кто с кем, кто кому подчинен, кому верить, а кому нет? Как было просто на шерстомойке! Неужели весь мир таков?..

— Ты что раскис-то? — спросил Айтиев. — Развезло?... И-и-и!!! Да ты, я вижу, и пить-то не умеешь! Это нехорошо. Настоящий чекист должен все уметь: и водку пить, и баб любить, — подмигнул. — Как у тебя с этим? Есть кто?

Андрей покраснел и отрицательно покачал головой. И это было правдой. К своим двадцати годам он не целовался еще ни с одной девушкой.

— Ну и дурак! — откровенно заявил Айтиев. — Я в твоем возрасте только перепортил

пятерых, а тех, кто по-доброму давал, и не считал уже. У нас в ауле раньше это просто было — все равно, что в зубах поковыряться. Это вы, русские, головы нам заморочили: девственность до замужества, одна жена, супружеская верность. А я в юрте жил, с младенчества слышал, как отец своих жен... — и неожиданно закончил грозным голосом. — Так что попа не трожь. В последний раз говорю.

Андрей согласно кивал и глупо улыбался. Сам же думал о том, что вся эта слежка за деревянной пирамидкой — ерунда. Главное — вскрыть сейф.

4. СТАРИКИ

В тот вечер ключи от Андреева кабинета Айтиев так и не отдал. Поэтому молодому чекисту пришлось следующим утром, несмотря на головную боль, проснуться раньше. Он быстро оделся, перезакусил тем, что осталось с ужина на столе, запил целым ковшом кваса и побежал к воротам соседского дома, куда как раз подъехал «Форд».

Бахыт Айтиевич вышел почти тотчас.

— А, Андрюша, — сказал он. — А здорово мы вчера с тобой! — и расхохотался. — У меня голова — как тыква. А у тебя? — и, не дожидаясь ответа, пригласил. — Садись в машину. Правильно, что сюда подошел. Пусть машина двоих катит. И соседи пусть видят: Андрюша Анютин, уличный хулиган, с самим Айтиевым на работу ездит. Пусть уважают. Правильно?

Андрей смущенно улыбнулся, кивнул, и полез, цепляясь ногами за подножку, в машину. Всю дорогу до отдела не решался спросить у Айтиева про ключи, слушая разглашения о различии вкусов самогонки и «казенки».

Шофер поддакивал шефу, подхихиковал, два раза даже оглянулся, чтобы подмигнуть Андрею: знай, мол, наших!

У подъезда отдела Айтиев сам вышел из машины, а Андрея не выпустил.

— Отвези, — сказал шоферу, — в бани Рахимбека его. А потом — назад.

Машина рванулась с места и унесла Андрея по мостовой наверх: мимо покрытого брезентом будущего памятника Ленину, мимо электростанции, через деревянный рассохшийся мост за мусульманским кладбищем — к Мало-Ташкентской.

В саму баню Андрей не пошел. Направился прямо во двор — там, он знал, находится домик для obsługi. Обошел огромные кучи саксаула, гигантский валун, о который ломали его на дрова. Пнул злобного кобелька, рванувшегося с рыком ему в ноги, но тут же заскучившего и поджавшего под себя хвост. Направился к маленькой сакле об одном окошке.

Там на невысоком помосте перед обычным на востоке круглым столиком восседал старик в узбекской тюбетейке.

— Эй! — крикнул он. — Тебе что — кальян? Здесь нет. В бане спроси.

— Мне человека надо, — ответил Андрей. — Старого человека. Он до революции большим начальником был. Толстый такой. Знаете?

Старик рассмеялся мелким рассыпчатым смехом:

— Толстый, хе-хе... Теперь не толстый. Теперь худой. И сильный. Трех человек падрит. Потом отдыхает. Ты — молодой. Не сможешь. Хе-хе!

— Он сейчас в бане? — спросил Андрей.

— Бане, бане, — закивал старик. — Зайдешь — дядя Паша. Это он.

Идти в жар турецкой бани Андрею не хотелось.

— А отдыхать он приходит сюда? — спросил.

— Сюда, сюда, — закивал старик. — Садись, пей чай. Жди.

Андрей сел рядом со стариком, привычно свернул ноги баранкой, взял поданную пиалу, стал пить. Чай обжигал рот и пьянил редким ароматом.

— Китайский? — спросил Андрей лишь для того, чтобы иметь повод для разговора. — С жасмином?

— Да, да, — вновь закивал старик, — жасмин. Да. Хороший чай. Тебя как звать?

— Андрей. Фамилия — Аниутин.

— А, знаю, — закивал старик. — Твой отец знаю. Извозчик. Сын — в ЧК. Это ты?

Андрей кивнул, вновь ощущив непонятный стыд за то, что в нем признали чекиста.

— Хорошая работа, — продолжил старик. — Богатый будешь. Друзей мало — денег много. Хорошая работа, — и неожиданно. — Людей убивал?

— Что? — вздрогнул Андрей и аж поперхнулся чаем. — Я?.. Кха!.. Нет! Кха!..

Старик дождался, когда чекист откашляется, сказал успокаивающе:

— Ничего. Убьешь. Большие деньги — много убьешь. Мало убьешь — бедным будешь. Дядя Паша арестовать хочешь?

— Зачем? — спросил обескураженный Андрей. — Только поговорить, — объяснил, сам не замечая, что вслед за стариком перешел на телеграфный стиль.

— Он не злой, — сказал старик. — Он сам умрет. И Рахимбек умрет, и твой начальник умрет. Все умрем. Зачем убивать?

А на курсах Андрею говорили, что весь советский народвидит в чекистах верных защитников революции, бескорыстно и преданно служащих во благо мирового пролетариата.

Старик продолжал:

— Мой сын басмач. Большевик резал, меньшевик резал, комиссар убивал. Чекист поймал — повесил. Другой сын чекист поймал — кожа с него снял, собака отдал. Сын домой пришел — чекист его поймал — яйца вырезал. Зачем? Он — чекист, тот — чекист, ты — чекист, не братья. Мои дети — братья. Брат, он... как это по-русски?.. Месть. Да? Один — убивать, другой — месть. Так?

— Так, — кивнул обескураженный услышанной историей Андрей.

— Правильно, — вздохнул старик и налил в пустую пиалу перед Андреем свежего чая. — Ты умный. Но убьешь. Мой сын убьешь. Дядя Паша убьешь. Всех убьешь.

Андрей почувствовал, как слеза подкатила к глазам.

— Ну, почему вы так думаете?! — вскричал он. — Я что — бандит какой-то?!

— Почему бандит? — искренне удивился старик. — Чекист. Работа такой. Убьешь — богатый, нет — умрешь.

Андрей был готов наорать на старика и силой заставить того замолчать. Но этим-то как раз он докажет лишь, что старик прав. А как объяснить, что он ошибается? Ведь на комсомольском собрании, когда его выбирали одного из всего двухсотголового коллектива для работы в ОГПУ, все проголосовали за него единогласно только потому, что Сергей Беспалов, секретарь комячейки, назвал его — комсомольца Аниутина — самым добрым человеком, самым скромным и честным в коллективе. И никто не поспорил с ним. И другие чекисты — он это знал — тоже выдвигались рабочими коллективами, где каждый человек на виду, каждому знают цену. И вот позавчера — отец, сегодня — этот старик.

— Молодой... — вздохнул старик. — Жить долго, думать много.

Появление в дверях мускулистого старика-славянина, голого по пояс, босого, лишь в обрезанных по колено кальсонах, удержало Андрея от нелепого спора.

— Кому жить долго? — спросил, улыбаясь, новый старик. — Вам, наверное, — обратился к Андрею, присел за столик, разложив ноги совсем не по-восточному, а просто так, как ему показалось удобным, признался. — Жаль. Вам и так суждено еще жить и жить, а нам бы только дожить свое — и за то спасибо.

— К тебе, Паша-ага, — сказал старик-узбек. — Чека.

Лицо славянина скинуло. Он, по-видимому, тоже не жаловал чекистов.

— Это правда? — спросил.
— Вы дядя Паша? — вопросом на вопрос ответил Андрей. — Бывший исправник?
— Ну, исправник.
— У меня к вам разговор, — сказал тогда Андрей голосом серьезным и виноватым. — Может, выйдем?
— Зачем выйдем? — удивился старики-узбек. — Я выйдем. Паша-ага отдыхает.
И аксакал вышел из домика во двор. Почти тотчас послышались удары саксаула о камень.
— Ну? — хмуро спросил бывший исправник, отхлебнув первый глоток из пиалы. — Я слушаю вас.

И Андрей вдруг почувствовал, что он не знает ни как начать разговор, ни что конкретно должен он у старика спросить. Почему-то на практических занятиях на ташкентских курсах допросы ему удавались, а тут.

И вообще — допрос ли это? Он знал, что главный вопрос он должен задать в окружении многих других, менее важных или вовсе неважных. Но как задать его, как заставить этого враждебно настроенного к нему старика, оказавшегося вдруг совсем не таким, каким помнил его Андрей с детства, ответить на главный вопрос искренне?

Пауза тянулась. Андрей чувствовал, что вот-вот покраснеет, не зная еще, что у всякой паузы есть и обратный эффект — она заставляет волноваться и того человека, который вдруг задал вопрос. По виду бывшего исправника не было заметно, что тот испытывает от затянувшегося молчания дискомфорт, но ведь у старика за спиной была масса собственных допросов. И, поняв, что в дуэли юридических терминов Андрею не победить, решил чекист сразу сказать о главном:

— Вам встречались в Аулие-Ате люди, которых бы вы знали по своей прошлой, дореволюционной, деятельности?

— Встречались, — улыбнулся старики, и в голосе его Андрею послышалось облегчение. — С великим множеством. Я, знаете ли, был хлебосольным хозяином. Был дом — были гости. Теперь нет дома, зато сам везде гость.

Старик заразился от своего коллеги-узбека склонностью к афоризмам.

— Я имею в виду людей, которыми могло бы заинтересоваться ОГПУ, — нахмурился Андрей, поняв теперь, что пришел сюда зря и что разговора о китайском шпионе не получится.

Старик, в свою очередь, совсем успокоился. Он уже не хмурился и не чувствовал себя неуютно. Даже стал сначала с заметным усилием, а потом совершенно беззаботно смеяться, как смеются, наверное, лишь дети в цирке, когда видят и слышат репризы клоунов.

— Ну, мой дорогой, — сказал, вытирая выступившие слезы, — вы ошибаетесь. Я... как там у вас?... Не сексот. Правильно? — и сразу же перешел на серьезный тон. — Или вы там в ОГПУ думаете, что если я в заговорах и подпольях неучаствую, то уже — и ваш? А может, вы сами не знаете, о чем хотите спросить у меня, а?

Зла, которое должно было бы вспыхнуть в душе Андрея при этом обидном вопросе, не вспыхнуло. Более того — он испытал даже расположение к старику.

— Нам, дядя Паша, — сказал он тогда с чувством облегчения, — стало известно, что в город заслан китайский шпион с очень важным заданием. Агент этот — бывший житель Аулие-Ата, знает вас лично, может с вами встретиться. В случае реализации его планов он может принести ущерб нашей с вами стране. Поэтому, как гражданина РСФСР и патриота, я прошу вас оказать нам содействие в поимке китайского разведчика.

Последняя фраза была записана в ташкентской тетрадке Андрея с добавленными после слова «китайский» словами: «немецкий, польский, японский, английский и т.д.» Но, несмотря на значительность высказанной фразы, впечатления на бывшего исправника она не произвела.

— Я — плохой патриот, — признался дядя Паша. — Держава, которой я присягал, умерла. Но если агент все же появится — я посмотрю, как мне поступить с ним. Но, признаюсь вам, молодой человек, сделаю это не потому, что мне мила новая держава. Вовсе нет. Просто по привычке. Я ведь с китайскими шпионами воевал вот в этом самом городе... — задумался, — да, двадцать лет. С 1898 года по семнадцатый.

— И все-таки, вы... сообщите нам?

— Конечно нет, молодой человек, — улыбнулся исправник и, подставив под самовар пиалу, вылил в нее остатки кипятка. — Я сделал эту оговорку для себя, а не для вас. Если, например, у вас возникнет желание арестовать меня за отказ в содействии властям, то у меня всегда будет возможность напомнить вам о своей лояльности, — пододвинул к Андрею пиалу, сам встал и, сняв крышку с самовара, долил туда воды из стоявшего в углу хижины ведра. — Пейте лучше чай. Настоящий бай-хо. Его поставляет нам господин Ван-Ту. Знаете его?

— Нет, — покачал головой Андрей, положив ладонь на дымящуюся пиалу.

— Это — единственный гражданин Китая, который мне известен на сегодняшний день, — заявил старик. — И сам председатель Совнаркома господин Рыков назвал его «верным союзником страны Советов». Кстати, одно время Ван-Ту проживал в Аулиете. Вы не знали его?

Никакого Ван-Ту Андрей, разумеется, не знал. Но отчаяние заставило его решиться на вопрос, который вертелся у него на языке с самого начала разговора, но из-за того, что ему придется еще докладывать о результатах допроса самому Айтиеву, так и не высказанный:

— В пристройке бывшего дома обнаружен тайный сейф, — сказал он, чувствуя, как от волнения вспотели ладони его рук. — Что вы можете сказать о нем?

— Сейф? — переспросил дядя Паша, и растерянно повторил, — сейф... — и вдруг вспомнил. — Ах, сейф!.. — и расхохотался. — Чертова железяка! Совсем забыл. Definitely, в стену пристройки вделан сейф. А что — нашли? Сам Айтиев нашел?

— Товарищ Айтиев, — поправил Андрей старика казенным голосом, — но нашел я. И хотел бы узнать у вас о ключе.

— А-а, — рассмеялся дядя Паша. — Вы думаете, что там спрятаны сокровища. И хотите передать найденные буржуйские ценности советской власти. Так?

Говоря это, старик собрал лежащие у самовара на столике мелкие саксауловые щепочки и бросил их в жестяную трубу — оттуда вылетело вверх светло-голубое пламя и чуть не обожгло ему лицо.

— Если вы не скажете, где ключ, — сказал Андрей, — мы вынуждены будем взорвать сейф.

— Взорвете, — сразу поверил дядя Паша. — Хороший сейф, ганноверской работы, — присел за стол, дотянулся до блюда с урюком, взял одну ягоду и бросил в рот. — И баах — вдребезги! А потом соберете из него обычновенный железный ящик, навесите амбарный замок и назовете лучшим в мире сейфом советской системы. Я не хочу.

— Не хотите сказать, где спрятан ключ?

— Нет, я не хочу, чтобы прекрасное изделие немецкой работы было варварски и беспощадно уничтожено для создания произведения пролетарского ремесленного искусства. Я скажу, где лежит ключ.

— Где?

Самовар закипел, шумя и брызгая из-под неплотно прижатой к трубе крышки.

— Видите, голос у вас дрожит, — заметил дядя Паша и пододвинул одну из пиал к краинку самовара. — Алчность — чувство насильтнейшее в человеке. Это вам — не лозунги о мировой революции и справедливом обществе. Ключ лежит...

Здесь он сделал паузу, в течение которой успел налить в пиалу чай из заварника, добавить кипяток из самовара и, поднеся ко рту, отхлебнуть маленький глоток напитка. Андрей же за это время успел почувствовать рождение камня в животе и рост того до размеров, которые чуть не вынудили его задохнуться.

— ... под подоконником среднего окна залымоей комнаты, — наконец сказал дядя Паша.

Андрей мигом вспомнил окна в зале дома Айтиева. Да, подоконники там были широкие, глубоко врезанные в толстые стены дома.

— Тайник? — догадался он.

— Да. Кнопка справа под доской.

Сообщив это, дядя Паша не стал допивать чай, а легко, не помогая себе руками, поднялся с корточек.

— Мне пора, — сказал. — Клиенты ждут. До свидания, молодой человек. Был бы счастлив больше не встречаться с вами, но, боюсь, придется.

И ушел.

5. ДОПРОС

Спуск по Ворошиловской, через деревянный мостик, мимо электростанции, мимо храмовых ворот и публичного дома до ОГПУ занял у Андрея чуть более пятнадцати минут. Прошел в свой кабинет — и обнаружил там Айтиева. Тот корпел над какими-то бумагами. Но газеты на окне были перевешены — и глаз Андрея это отметил. Портрет Зиновьева в «Правде», например, висел раньше боком, теперь вертикально. И угол на «Аулиеатинском вестнике» был оторван.

— На стекло смотришь? — спросил Айтиев. — Правильно смотришь. Полезное окошечко. Садись-ка вон куда, — указал на стул в дальнем углу комнаты, появившийся здесь вместе со вторым столом за время отсутствия Андрея. — Бумага, чернила, ручка там лежат?

Все было на месте.

— Сейчас приведут одного человека, — продолжил Айтиев. — Я буду спрашивать его, а ты станешь писать протокол. А пока не мешай, — и углубился в разложенные перед ним бумаги.

Андрей смотрел на Айтиева и вспоминал все, что было ему известно об этом человеке.

Сын бедняка, окончил до революции русско-туземную начальную школу. Во время русско-германской войны прятался от призыва на тыловые работы, что после революции было признано за участие в борьбе против агрессивной политики самодержавия. Потом был выдвинут в члены укома партии, направлен по распоряжению самого Кошмамбетова в милицию. После гражданской войны стал начальником уездного ОГПУ. Ходили слухи, что карьерой своей Айтиев обязан исключительно близкими родственными отношениями с членом ТурЦИК Кошмамбетовым и знанию русского языка. Сам же Айтиев объяснял свое владение «великим и могучим» тем, что во времена своего скрывания от мобилизации на отцовских джайллях он читал русские книги, среди которых не было ни Пинкertonов, ни Пшибышевского, а были: Чехов, Толстой, Лермонтов и даже Достоевский и Бердяев. Последнее имя звучало в устах Айтиева особенно значительно, но никому другому в уезде известно не было.

Дверь распахнулась, и в кабинет вошел... нет, был втолкнут Олег Иванович Костиков. Следом вошел конвойный с трехлинейной винтовкой. Оба смотрели на Айтиева, а Андрея не замечали.

Начальник какое-то время еще писал в присутствии арестованного, словно бы и не замечая появления в кабинете посторонних, потом медленно поднял голову и, уставясь на Костикова, спросил суревым голосом:

— Ну... будем говорить?

Плечи учителя затряслись, словно от плача, но глаза остались сухими.

— Я слушаю вас, — продолжил Айтиев. — Явки, пароли, местонахождение документов, имена. Словом, все, что вам известно о деятельности подпольной контрреволюционной организации «За воссоздание Российской империи».

— Я ничего не знаю, — залепетал Костиков. — Честное благородное слово! Ни про какую организацию.

Левая бровь Айтиева как-то по-особому дернулась — и в тот момент стоящий за спиной Олега Ивановича конвойный ударил его ребром ладони в основание шеи.

Андрею захотелось закричать, броситься на помощь учителю, но строгий взгляд Айтиева, брошенный в его сторону, заставил его лишь вжаться в свой стул и уткнуться взглядом в бумагу, на которой кто-то уже успел написать:

«Вопрос: Расскажите о явках, паролях, местах нахождения документов, подтверждающих существование подпольной контрреволюционной организации «За воссоздание Российской империи».

Рука Андрея вывела:

«Ответ: «Я не знаю ничего».

— Подними, — приказал Айтиев конвойному.

Тот отставил винтовку к стене, ухватил Костикова за ворот и рывком поднял учителя на ноги.

— За что? — простонал учитель. — Я не знаю...

Конвойный, удерживая Костикова на весу одной рукой, другой ударил его в пах кулаком.

Олег Иванович задохнулся, сморщился от боли, но не застонал, а, переведя дух, пролепетал:

— Все скажу. Что хотите.

Смотрел на Айтиева при этом жалобно, всей фигурой показывая свою покорность и желание услужить.

— Что вам известно о деятельности вышеназванной организации?

— Ничего, — последовал ответ человека, смотрящего завороженным взглядом. — Я...

Процедура удара под дых повторилась. Учитель стал было падать, но конвойный удержал его, держа все так же за шиворот, а второй рукой умудрившись при этом вывернуть кулак и смазать Костикова по челюсти. Зубы Олега Ивановича клацнули, из уголков губ потекли струйки крови.

Андрей смотрел на процедуру допроса и не мог сам себе объяснить чувств, что испытывал при виде этой экзекуции. Восхищение физической мощью конвойного смешивалось с жалостью к Костикову и радостью отмщения мужу Аллы Наумовны, которая столько раз мучила его. При этом он понимал, что все сказанное позавчера ему отцом и сегодня стариком-узбеком приобрело самый что ни на есть зловещий смысл, стало не разговорами обычайтелей о злодейской сущности ОГПУ, а свидетельством истинности этих слов.

Он почувствовал, как к горлу его подступила тошнота, попытаться было встать из-за стола, но все тот же быстрый и острый взгляд Айтиева заставил его вновь упасть на стул и проглотить то, что желудок не желал хранить в себе.

«А может, он и вправду виновен? — подумал Андрей. — Не станут же зря арестовывать человека».

— Я вас слушаю, Костиков, — сказал Айтиев, и отвернул лицо к завешенному газетами окну. — Внимательно слушаю.

«Следователь: «Я вам не верю», — написал Андрей.

— Ск-кажите... — проговорил учитель, пузыря кровью возле рта. — Что я должен сказать?

— Правду.

Айтиев поднялся со своего места, подошел к окну и, оторвав краешек газеты, стал смотреть в образовавшуюся щель.

— Я... Я скажу... — начал было Костиков, но Айтиев его перебил:

— Черт возьми! — воскликнул он, отошел от окна к столу и, взяв телефонную трубку в руку, крутанул несколько раз ручку. — Три-двенадцать, — сказал, после некоторой паузы продолжил. — Это Айтиев... Взаимно. Где бляди?.. Не понимаю, — сказал зло. — Чтобы через минуту. Все, — бросил трубку на рычаг, повернулся к Костикову.

— Ты глупый, хоть и старый, — сказал. — Жизнь не любишь. Ты кроме как с женой, с бабой другой спал?

— Да, — кивнул Костиков.

— Давно? Сорок лет назад?

— Одиннадцать, — поправил Костиков, и в глазах его простили слезы.

— А сейчас стоит?

Костиков растерялся:

— Я не понимаю, — сказал он.

— Стоит, спрашиваю — повторил Айтиев. — Хочется?

Конвойный развернул учителя к себе лицом и ударил коленом его между ног.

— Ох! — выдохнул Костиков и согнулся пополам.

— Стоит, значит, — улыбнулся Айтиев. — А раз стоит — значит жить хочешь. Смотри сюда, — сорвал бумагу с рамы, ткнул пальцем в стекло.

Конвойный подтащил скрюченного Костикова к окну.

— Видишь?

Старик уставился в окно, как завороженный.

«Да он же совсем не старик, — подумал вдруг Андрей. — Ему лет сорок с хвостиком».

— Понял теперь? — спросил Айтиев. — Тебе сорок три года. Моего младшего брата мой отец сделал в шестьдесят шесть.

«Зачем? Зачем это он? — думал Андрей, испытывая одновременно и гнев, и зависть. Он ощущал некое величие в Айтиеве, силу и то, что никогда доселе не встречал ни у кого — отсутствие боязни ответственности за то, что он делает, наличие полного безразличия к тому, что кто-то дурно подумает о нем. Никакой оглядки, поступает так, как сам считает нужным — и все. Среднего роста, кривоногий крепыш с раскатанным в блин темным лицом он выглядел рядом с красавцем-учителем, умыкнувшим, как известно в городе, свою Аллу Наумовну у самого водочного заводчика Малышева, языческим божком.

— Жизнь прекрасна, Олег Иванович, — впервые назвал Айтиев учителя по имени-отчеству. — И она должна приносить нам наслаждения. Не правда ли?

Костиков, не смея оторвать взгляда от окна, кивнул.

Конвойный же, услышав эти слова, взял в свои лапищи пальцы Костикова и сильно их сжал.

Олег Иванович скорчил от боли лицо и выгнулся тело, оторвав при этом от окна взгляд.

— Нет, ты смотри туда, — приказал Айтиев. — Там — жизнь. Там — удовольствия.

Олег Иванович, к удивлению и ужасу Андрея, стал смотреть в окно, одновременно потея при этом и корча лицо от боли.

— Понятно? — спросил Айтиев.

— Да-а-а... — простонал Костиков.

Айтиев рассмеялся.

— Вот и договорились, — сказал. — Теперь возьмите у молодого человека ручку, бумагу и садитесь за стол. Пишите.

Костиков обреченно опустил плечи и поплелся к столу Андрея. Там, не глядя на бывшего своего ученика, взял из рук того ручку и бумагу, повернулся и сел перед столом, за которым в начале допроса сидел Айтиев. Макнул ручку, стал писать.

«Он что – выдумывает признания? – поразился Андрей. – Он же не может быть подпольщиком. Это же ясно».

Но продолжить дальше мысль не посмел и не успел, ибо перебил его удивление страх, что учитель вот сейчас поднимет голову, увидит его и узнает. Тогда Айтиеву станет известно, что Андрей без разрешения завербовал в наблюдатели контрреволюционера. И, кто знает, намного ли тогда его собственная судьба станет отличной от судьбы Костикова.

Но Олег Иванович видел только лист бумаги перед собой и торопливо снующую по нему ручку, которая то и дело окуналась в стоящую на столе чернильницу и возвращалась назад.

Айтиев, молча наблюдавший за ними двоими, усмехнулся и сказал Андрею:

– Можешь идти. Зайди к коменданту и получи спирт.

Андрей выскоцил из кабинета. Тело его было в поту, и одна только мысль билась в голове: «Надо что-то делать! Надо что-то делать!»

Он прошел коридор нас kvозь, как вдруг услышал нечеловеческой выразительности крик боли, пробуравивший, кажется, стены ОГПУ и сверлом проникший в уши.

Он припал спиной к красному стенду с портретами вождей и сам уже был готов закричать в ответ.

Появление выглянувшего из своей кептерки коменданта отвлекло какую-то часть сознания Андрея. Тот же, увидев бледное лицо стажера, все понял и подмигнул.

– По первому разу всем не по себе бывает, – ободряюще сказал он. – Ты ко мне?

Андрей кивнул. Говорить был уже не в силах.

– С допроса? – догадался комендант.

Впустил Андрея к себе в комнату и прикрыл за ним дверь.

Кептерка коменданта по размеру не превосходила кабинета Айтиева, но не походила на него совсем: вдоль длинных боковых стен стояли высокие, до потолка, стеллажи, на которых лежало и стояло немыслимо количество всякого рода вещей: от бидонов с керосином и банок с краской до стеклянных бутылей с надписями: «Спирт», «Ацетон», «Кислота», от связок сапог до стопок картонных пакетов с напечатанным на них словом «Дело». У торцевой стены стоял красивый резной кабинетный стол о двух тумбах и виднелась спинка резного же кресла.

– Тебе спиртом или водкой? – спросил комендант.

– Айтиев сказал, спиртом, – вспомнил Андрей.

– Что – САМ допрашивал?

– Сам.

– Он – мастер, – уважительно произнес комендант. – Сам никогда не бьет. Но боится именно его.

Достал из ящика стола две четвертинки и подал Андрею.

– Вот, – сказал. – Двойная порция. За этот и за следующий раз, – подтолкнул лежащую здесь же тетрадь. – Распишись.

Когда Андрей расписался и тетрадь вернул, комендант вспомнил:

– Ключи свои взял?

– Нет, – ответил Андрей и вздрогнул, словно от холода.

– Ну, ничего, когда-нибудь вернет, – уверенно заявил Демченко. – Он свой кабинет больше любит. Видел, какой там шик?

Андрей вспомнил деревянные панели, лампу под зеленым абажуром, кивнул.

— Ну, иди. Иди домой, — подтолкнул его к выходу комендант. — Скажу, что выпил ты — и развезло. Отпустил я тебя оклематься. До завтра.

Проводил Андрея до дежурного при входе, сказал тому, что стажер идет с первого допроса, и вернулся назад.

6. ОТЕЦ

Отца от спирта развезло так, что он стал лезть к Андрею с поцелуями.

— Душегубец ты мой! — умиленно стонал при этом. — Кормилица ты наш! Власть и сила народная!

Потом откачивался назад и, делая глаза сердито-серые, поднимал палец кверху:

— Бди, сынок! Чти свой долг перед рабоче-крестьянским государством!

И вновь лез лапать и пачкать соплями и слюнями рубашку сына.

Андрей сносил отцову ласку терпеливо. Даже отвлекся мыслями от Костикова. Стал подумывать о том, как пробраться в дом Атабаева и выкрасть оттуда ключ от сейфа.

А отец в который уж раз рассказывал ему и хлопочущей возле мужчин матери о том, как ласков стал с ним десятник, узнавший, что сын Аниутыных — чекист, как поставил его за это на вывоз сена — работу более выгодную, чем даже развоз саксаула или бутовского камня для стройки. А еще десятник обещал выдать отцу долгожданный тулуп к зиме, сказал, что закажет для него новую камчу у знаменитого мастера-казаха. Но и этого мало — другие возчики, заметив милости десятника отцу Андрея, прониклисьуважением к Аниутину-старшему и во время обеда, когда артель столовалась вокруг, доверили именно ему хлебать суп прямо из котла и делить мясо, себе оставив мозговую кость.

Счастье отца было безмерным. Мать тоже вся светилась, не зная, как угодить сыну и какой кусок подать ему.

Андрей впервые в жизни восседал во главе стола, рядом с отцом, и, хотя и было тесновато, чувствовал не только давно позабытый уют, исходящий от отцовского тела, но и плохо сдерживаемую гордость. Разогретые мясные консервы и жаренная на казенном сале картошка приятно грели живот, спирт хмелил голову. Ему хотелось всех любить и гладить по головам.

Внезапно забрехал дворовый пес Полкан.

Мать взглянула в окно и испуганно всплеснула руками:

— Учительша!

Мужчины съято заржали. Теперь им бояться учительницу нечего — говорили их раскрасневшиеся лица.

Мать поспешила во двор. А когда вернулась, мужчины уже допили спирт и пели про бордяту на Байкале.

Вместе с матерью в дом вошла Алла Наумовна. Даже не вошла, а проскользнула, проникла маленькой серой мышью с приоткрытыми заплаканными глазами, с мокрым платочком у носа в съежившемся кулаке, вся какая-то линялая, жалкая настолько, что Андрею захотелось щелкнуть ее по носу и увидеть: взбодрится ли? Все это было так не похоже на некогда грозную учительницу, которая, не страшась даже Полканы (пес в те времена, увидев ее, поджимал хвост и лез спиной в будку), врывалась в дом Аниутыных и метала гром-молнии по поводу неуседливости и плохого поведения Андрея, что старший Аниутин, дотоле страшивший ее не менее, чем гнева председателя рабочкома, выдвинул грудь колесом и, оборвав песню на полуслове, изрек:

— Что, падаль, плакаться приперлась? А как куражилась здесь наднами, забыла? — хрюстнул кулаком по столу так, что пустая чекушка повалилась, а самовар громыхнул. — Ма-алча-ать!

И без того съежившаяся учительница от крика этого усохла до почти невидимых размеров.

— Простите, товарищ Аниотин, — пролепетала она. — Видит Бог — не нарочно. Добра вашему Андрею желая.

— Добра, говоришь? — растаял при виде ее покорности отец. — А не брешешь?

Желание покуряжиться в ответ за десятилетнюю свою принужденность перед непонятными ему интеллигентами все же возобладало над великодушием, и он, нимало не смущаясь присутствием сына и жены, продолжил:

— А у самой что: сиськи-письки нет, в сралью не ходишь? Только книжки читаешь да красивые слова говоришь?

— Правда ваша, товарищ Аниотин, — отвечала учительница, не смея поднять глаза и покорно снося ямщицкое хамство.

— Тварь ты безродная! — заявил тут отец. — Пацан пердидал на уроке, а ты его — на два часа без обеда. И моему хозяину сообщила. Помнишь?

Как не помнить? Это помнили все. За сей поступок, совершенный еще до революции подготовишкой первой мужской гимназии, отец лишился выгодного места у купца Салима Жимбаева, и только чудом нашел другую работу, позволившую ему не попасть на фронт и наскрести денег на учебу сыну. Приказчик купца, когда выгонял отца, говорил ему: «Не со свиным рылом лезть в калашный ряд. Возчику должно век оставаться возчиком. И сын твой будет возчиком, и внук, и правнук». Отец тогда напился, бил тужками сына по провинившемуся месту, зажав голову между своих колен, повторяя слова приказчика и крича: «Убью! Стервец! Ты у меня выучишься в люди! Ты у меня станешь человеком! У-у-у, выродок! Ни ты, ни внук, ни правнук — никто чтобы возчиком!» Бил до тех пор, пока Андрей не потерял сознание и не обвис шеей в его коленях.

И вот теперь виновница той сцены стояла перед семьей Аниотиных, и была готова вынести любое унижение. А отец принял вспоминать обиды одна за другой. Остальные, не смея его прервать, слушали и поражались не столько злопамятности его, сколько той бездне грязи и подлости, что сумела вылить на их семью эта женщина.

— Да ну ее, пап, — сказал уставший от воспоминаний Андрей. — Пусть скажет, что ей надо, и проваливает. Мам, принеси ведро. Сейчас блевану.

Мать бросилась за ведром. Отец с торопливой услужливостью убрал тарелку с закуской от наклонившегося к столу сына. Анна Наумовна, уловив паузу, зачастила:

— Андрей... Товарищ Аниотин, миленький, помогите!.. Вы же нас завербовали, дали нам задание... Мы исполняли, мы следили...

— Чего? — скривился Андрей, чувствуя, что его действительно вот-вот стошнит. — Чего? — повторил.

Отвел от учительницы взгляд — понял, что обойдется. Вернул назад — желудок вздернулся. Обернулся на мать с ведром — полегчало.

— Вы вот что... — сказал тогда, глядя в сторону. — По делу, говорите? — и стукнул кулаком по столу. — А разглашение! — и перешел на «ты». — Смотри у меня!

— Ой! — вскрикнула Костикова и сунула платочек в рот. — Пфофтите! Пфофтите, пфоффафуйта! — выдернула платочек. — Я не знала! Я совсем другое хотела сказать!

— Ну, так говори, — разрешил Андрей, склоняясь над ведром. — Кто тебе мешает?

И Костикова рассказала, что Олег Иванович продежурил на кладбище всю ночь, утром передал дежурство ей, а сам пошел домой, чтобы поесть и поспать днем, а после обеда сменить ее. Но ни после обеда, ни вечером он так и не появился у могилки сына. Она решила тогда бросить пост («Простите меня! Простите ради Бога!» — добавила при этом) и, прияя домой, узнала от соседей, что за ее мужем пришли два человека в штатском, представились сотрудниками ОГПУ и увели с собой. («С вещами!» — отметила она). Соседи после этого

рассказа добавили уже от себя: если Олега Ивановича признают власти государственным преступником, то она должна будет тотчас покинуть занимаемую жилплощадь.

Самым нелепым в этой истории было то, что нынешний учительский барак с коммунальными квартирами — это бывший частный дом самих Костиковых, экспроприированный у них в восемнадцатом году по ошибке, но так и не возвращенный учителям школы второй ступени.

— В школе завтра заседает партичайка, — продолжила между тем Костикова. — Повестка дня: «Имеет ли право Алла Наумовна учить советских детей?»

Все это она выпалила на едином дыхании, закончив все же жалостливо:

— Я этого не переживу!

«Старуху лучше убить!» — мелькнуло в пьяном сознании Андрея.

— А почему вы пришли ко мне? — спросил он. — Почему — не к Айтиеву?

— Так как же?.. — захлопала глазами Алла Наумовна. — Вы же нам поручили.

— Я? — переспросил Андрей. — Не помню, — повернулся к отцу. — Ты помнишь?

— Нет, — твердо ответил отец и принял суворым взглядом буравить лицо Костиковой.

— Но как же! — попыталась добиться своего Алла Наумовна. — Вы же только сейчас... Государственная тайна!

И тогда в голове Андрея созрело решение:

— Я этого не говорил, — заявил он.

Учительница словно не услышала столь откровенного отказа.

— И тогда на кладбище, — продолжила — помните?

Андрей поднял от стола взгляд и отчетливо понял, что если сейчас не прогонит ее, то непременно сблюет. Тогда он поднялся, чувствуя, как некрепки его ноги, задел рукой ведро, которое мать продолжала держать перед ним, и сказал:

— Вот что, ГОСПОЖА Костикова... Никакого задания я вам не давали нигде с вами не встречался. И встречаться не желаю. А если ваш муж — контра и антисоветчик, а я — бывший его и ваш ученик, то это вовсе не значит, что вы имеете право врываться в мой дом и оскорблять меня своими выдумками. Так что пойдите вон — и обращайтесь по инстанциям. Согласно закона.

Костикова после этих слов тихо ретировалась. Страх, запечатленный на ее лице, вызвал в сердце Андрея не сочувствие, а злобную ревность.

— За это надо выпить! — сказал отец, восторженно взирая на сына снизу вверх.

Обе чекушки с разбавленным спиртом оказались пусты.

— Сходи к Айтиеву, — предложил отец. — Объясни — не откажет.

Но соседа дома не оказалось. Гульнара-апа, жена Айтиева, поняла срочность просьбы сама и добыла из-под одеяла бутылку «рыковки», правда, початой. Андрей пообещал вернуть завтра — и поспешил домой.

Отец, не дождавшись сына, мирно похрапывал, уронив лицо в тарелку с винегретом.

7. УЧИТЕЛЬНИЦА

Разбудил Андрея голос матери:

— Андрей, — звала она почтительно и тревожно, — Андрюшенька! Тебя твой начальник зовет... — и трогала его за плечо бережно, словно лаская.

Услышав слово «начальник», Андрей распахнул глаза и почувствовал себя на мгновение трезвым.

— Где? — спросил и сбросил одеяло с ног. Он не помнил, как раздевался и ложился спать, но обнаружил себя в нательном белье и под одеялом. — Я сейчас.

Мать, поставив свечу на стол, пододвинула поближе к кровати табурет с аккуратно сложенной одеждой и отошла, отвернувшись — негоже бабе, даже если она родная мать, видеть мужчину неодетым.

Нырнув в рубаху и штаны, Андрей выскочил в сени. Там присел на лавочку, круганул лежащие рядом портяны, сунул ноги в сапоги и бросился из дома. Скатился по ступеням крыльца и, едва не наступив на лежащего посреди двора Полкана, помчался по улице к воротам дома Айтиева.

Уже распахнув калитку, обнаружил, что время позднее, следовало бы и постучать.

Айтиев стоял на крыльце, смотрел в сторону заходящего за крыши домов солнца, курил. Увидел запыхавшегося Андрея и довольно улыбнулся.

— Что случилось? — спросил. — Пожар или что похуже?

Андрея как водой облило. Может, что мать напутала? Или кто другой его звал?

— Мать сказала — звали вы, — сказал он, встав под крыльцом и задирая голову.

— Да нет, не к спеху, — сказал Айтиев. — Но раз ты пришел... — затянулся папиросой и выдохнул дым поверх Андреевой головы. — Ты оказывается этого учительишку знал.

— Знаю, товарищ Айтиев, — выдохнул Андрей, чувствуя, что сейчас он готов сказать что угодно, лишь бы Айтиев понял все правильно, чтобы не подумал вдруг, что стажера ОГПУ связывает что-то с контриком Костиковым. — Со школы еще знаю. Он, гад, измывался над нами. Меня замордовал.

Но Айтиев перебил:

— Я не про то время. Я про то, что ты его вербовал.

— Я? — попытался солгать Андрей. Но поперхнулся и закашлялся.

— Видишь — врать еще не умеешь, — заметил Айтиев, и щелчком отправил окурок в полет опять-таки над Андреевой головой. — А он сказал, что ты вербовал его в члены подпольной организации «За воссоздание Российской империи».

— Товарищ Айтиев! — вскричал тут Андрей. — Врет он! Честное слово, врет! Да ни единим словом! Ни единым духом!

В голосе его проснулись рыдания. Еще один звук — и расплачется.

Айтиев все тем же спокойным голосом сказал:

— Конечно, врет. А только как докажешь? Кто из вас двоих врет больше? Ведь ты встречался с ним на кладбище? Разговаривал?

«Пропал!» — мелькнуло в голове Андрея.

— Я же не отказываюсь, товарищ Айтиев, — сменил он тактику. — Я хотел вам доложить, да не успел...

И Андрей вкратце рассказал начальнику уездного отдела ОГПУ о том, как отец Борис отказался следить за могилой Сороки, а супруги Костиковы согласились.

— Это грубая и непростительная политическая ошибка, товарищ Анютин, — суворо произнес Айтиев. — Просить первого попавшегося прохожего заниматься слежкой в пользу ОГПУ — это должностное преступление.

— Но я... их знал... — проблеял Андрей. — Еще с гимназии.

— Тем более, — твердым голосом оборвал его Айтиев. — Еще в гимназии вы должны были увидеть, что перед вами — люди с устоявшимися буржуазными взглядами и моралью. Им доверять нельзя ни в чем и никогда.

— Я понимаю... Я виноват.

— Значит, вы согласны с тем, что вы доверили операцию человеку, который был недостоин доверия? Так, товарищ Анютин?

Андрей почувствовал, как напрягся его мочевой пузырь, а плечи охватил холод. Окончательно не навалить в штаны ему помогло то, что он обратил внимание на слово «товарищ», а не «гражданин», и тем более не «господин».

— Я никогда... Я исправлю...

Слова выскакивали из Андрея помимо его сознания, сами по себе:

— Простите... Только прикажите... Я исправлю...

— Исправишь, — вдруг согласился Айтиев, и рассмеялся. — Эх, ты... дурачок... Скажи спасибо, что не написал он об этом — забыл. А говорил одному мне, без свидетелей.

Андрей почувствовал, как в штаны потекла липкая жидкость, а железные тиски, скимавшие только что его тело, ослабли.

— Товарищ Айтиев... — чуть не заплакал он. — Товарищ Айтиев...

— Ну, хватит, хватит, — довольным голосом произнес тот. — Что знаю — умрет во мне. Если мы с тобой останемся друзьями, конечно, — и вдруг с неожиданной мягкостью в голосе спросил. — А мы друзья?

— Товарищ Айтиев! — только мог сказать в ответ Андрей, ощущая внутри себя страх вперемежку с восторгом.

— Ну, а раз друзья, то объясни: какого хрена тебе вздумалось наблюдать за могилой Сороки?

— Агент из Китая... — начал было Андрей, но тут же спохватился и взял себя в руки. — Извините, товарищ Айтиев. Я хотел сказать, что согласно вашего задания, я решил, что названная вами личность может посетить кладбище, потому что долгое отсутствие человека в родных местах подразумевает...

— Не продолжай, — кивнул Атабаев. — Мысль хорошая. Хвалю. Но болтать на улице — это все же... — и по-учительски погрозил пальцем.

На этот раз угроза не показалась Андрею страшной.

— Он просидел там всю ночь, — похвастался Андрей. — А потом весь день просидела его жена.

— Откуда знаешь? — спросил Айтиев.

Голос его показался Андрею встревоженным.

— Она сама сказала, — растерялся Андрей. — Вечером.

— Где?

— У меня дома, — убитым голосом произнес Андрей.

— Зачем?

— За мужа просила. Но я сказал...

Андрей внезапно почувствовал напряженность, которая словно исходила из Айтиева, и потому поспешил объясниться:

— Я же понимаю. Чекист должен быть чист разумом и сердцем. Нам на курсах говорили...

— Заткнись! — оборвал его Айтиев. И опять в его голосе звучало то спокойствие, от которого у Андрея похолодели ноги. — Дуй сейчас же к Костиковой — и арестуй ее. Приведи в изолятор. Допрос — утром. Ясно?

Андрей понял, что отвечать надо лишь утвердительно, ибо нарушить приказ ему и в голову не пришло, а задуматься о причинах и последствиях поступка было уже некогда.

— Исполнять! — рявкнул Айтиев.

И Андрей рванул со двора со скоростью испуганной собаки.

Уже на улице сообразил, что штаны мокры — и побежал переодеться.

Мать встретила его в сенях. Взгляд ее был испуган и жалок. Свеча светила на лицо снизу, отчего глаза ее проблескивали маленькими искорками из черных провалов.

— Все хорошо? — только и спросила она.

— Давай штаны, — ответил — Любые. Быстро.

Она исчезла, а он, скинув сапоги, снял брюки и кальсоны.

Мать вернулась с выходными брюками отца.

Он, ни мало уже не стесняясь ее, оделся, достал с полки под потолком кобуру с пистолетом.

— Квасу, — потребовал.

И в тот же миг в руке у него оказался ковш с квасом. Выпил, дохнул матери прямо в лицо:

— Ха! Воняет?

Она кивнула.

— Тогда сойдет, — сказал. — Я быстро. Срочное задание.

Он убежал и не видел, как мать медленно опустилась к брошенным им одежду и исподнему, принюхалась к исходящему от них запаху, вздохнула и, подняв все это, понесла на улицу. Там она налила воду в деревянное корыто, стоящее у дворового колодца, замочила штаны и кальсоны, долго терла их, думая горькую материнскую думу. Потом вымыла белье и повесила на ветке груши у свинарника.

Глаза ее, дотоле сухие, вдруг разверзлись — и две мокрые полоски, блестя при лунном свете, пролились до самого подбородка.

Андрей к тому времени уже добежал до улицы Электрической, что идет вдоль забора мечети, распахнул ворота и застучал в большую, изъеденную червями-древоточцами дверь. Вышедшему на шум мужчине он объяснил, что желает видеть Аллу Наумовну Костикову.

— Она съехала, — был ответ.

— Куда?

— Не знаю, — ответил заспанный жилец и попытался захлопнуть дверь перед Андреем. Но тот сунул ногу в щель и повторил вопрос.

— Говорю же, не знаю! — недовольно пробурчал мужчина. — Пришла вечером, собрала вещи — и ушла. Сказала, что навсегда.

Андрей оторопел:

— Почему?

— Вы, молодой человек, не понимаете? — ухмыльнулся жилец. — Ее мужа ЧК забрали. Если она не исчезнет — ее саму заберут. Только это между нами, — и прикрыл указательным пальцем улыбку.

Дверь закрылась — и Андрей остался на крыльце один.

Новость оглушила его. Старуха оказалась расторопней, чем он мог предположить. Явиться теперь к Айтиеву без Аллы Наумовны, понимал он, — значит, подписать себе приговор. В лучшем случае, его уволят из ОГПУ и отправят на шерстомойку, если там еще есть место. На бирже труда рабочие месяцами в очереди стоит. В худшем же... Он вспомнил рассказы более опытных сотрудников ОГПУ, обучавшихся с ним на курсах, что значит, если из рук чекиста ускользнул агент контрреволюционного подполья, — и ощутил, как по спине пробежал холодок.

Но если она решила уехать из города, продолжил он рассуждения, то может это сделать только обратившись в конно-транспортную контору. Не на вокзал же ей идти. А контора работает круглосуточно.

Андрей отправился к Зеленому базару.

Сидящий за конторкой мужчина с бородкой-эспаньолкой, похожий на кого-то из конкистадоров из учебника по всеобщей истории, сразу понял, о ком идет речь, когда Андрей принял описывать беглянку.

— Ты про Аллу Наумовну, что ли? — спросил. — Учителяницу? — и тут же ответил: — уехала.

— Давно? — упало сердце Андрея, почему-то до сих пор уверенного, что Костикова все-таки могла по каким-то причинам задержаться в городе.

— Часа три уже. Сказала, что в Пишке собралась, а сама по Кауфмановской помчалась. Я заметил.

Дорога по Кауфмановской (по-новому Коммунистической) вела не в Пишкек, а в Ташкент, а точнее даже – до железнодорожной станции Бурное, куда доходили поезда из России. Если она доберется до Бурного, то тогда найти ее среди городов и весей огромной России будет невозможно.

Можно, конечно, дать телеграммы в Бурное, в Белые Воды, в Черняев, Арысь, чтобы тамошние чекисты проверили все поезда и арестовали Костикову. Но это будет обнародованием того, что он – Андрей Анютин – совершил уже вторую оплошность – упустил преступницу.

А может, лучше кинуться в погоню самому? Предъявить конкинладору удостоверение сотрудника ОГПУ, реквизировать лошадь и помчаться по короткой дороге на перевал Куюк, арестовать Костикову?

Но вся беда в том, что, будучи сыном возчика, не имеющего собственной лошади, Андрей любви к коням не испытывал, хотя с младенчества был вынужден возиться с хозяйствами конями, ухаживать за ними, чистить их. Верхом же ездил он только на неповоротливых, сильных тягловых лошадях, на скакунах не довелось ни разу. А предполагаемый шестидесятиверстовый вояж подразумевал не только хорошую всадническую подготовку, но и знание особенностей верховой породы, умение держать нужную скорость в пути, щадящую и себя, и животного. А когда надо останавливаться и отдыхать? А случись коню в дороге пасть – тогда вовсе не оберешься проблем. Андрей уже слышал истории от курсантов о том, какими караами грозили руководители ОГПУ своим подчиненным за незаконную реквизицию лошадей, верблюдов и даже ослов.

– А вы кто будете? – внезапно спросил человек с эспаньолькой. – Не Андрей Анютин?

– Да, – кивнул юноша, – Анютин.

– Тогда для вас письмо, – объяснил свою догадку человек и протянул конверт. – Она сама оставила. Очень просила передать.

И глаза его маслянисто блеснули. По всему было видно, что работник конно-транспортной конторы решил, что участвует в некоем амурном деле и видит сейчас перед собой несчастного влюбленного, покинутого некогда известной на весь город красавицей. Ведь люди его возраста помнили еще и приезд Аллы Наумовны в Аулие-Ату с мамой, и ее бурный роман с заводчиком Мальцевым, внезапный их разрыв и не менее внезапную свадьбу с красавцем-учителем Олегом Ивановичем, изрядным дотоле ловеласом. Объяснения случившемуся были тогда разными – и, в конце концов, все они бы сформулировались в одну версию, пусть и несправедливую, но удовлетворяющую всех, если бы... Если бы не внезапная смерть Мальцева на байге по случаю какой-то киргизской свадьбы. Смерть эта сразу лишила Аллу Наумовну ореола героини, представила ее обычной женщиной, решившей не искушать судьбу и соединиться с учителем гимназии.

На конверте была фамилия Андрея, внутри письмо.

«Умоляю, простите! Я – дура, дура, дура! – прочитал он. – Не надо было мне приходить. Я уезжаю. Навсегда. Умоляю, не ищите меня. Я забуду все. Навсегда! Прощайте. И еще раз простите. Простите. А.К.»

Полный сумбур. И почему А.К., а не А.Н. – Алла Наумовна? И вдруг понял – Алла Костикова!

Он впервые подумал о ней без отчества – и от того письмо прозвучало сразу иначе, чем при первом чтении: из истерического опуса политической беглянки оно сразу превратилось в бессвязный лепет несчастной влюбленной. Если дать прочесть это письмо конкинладору, то уже завтра весь город будет говорить о последней любви бывшей любовницы заводчика Мальцева – и Андрей в глазах местных барышень разом превратится в современного Дон-Жуана.

Внезапно Андрея озарило:

— У вас сегодня были транспортные происшествия? Никто не пострадал?

— Как не пострадал? — почему-то обиделся конкистадор. — Ямщику конь ухо откусил. Пролетка опрокинулась на Арычной, — достал из конторки амбарную книгу, распахнул в нужном месте, стал читать. — На спуске с перевала Куок кони понесли, пассажир упал в пропасть.

— В котором часу? — спросил Андрей.

— В тринадцать часов, — ответил конкистадор. — Вот, пожалуйста, у нас все записано.

Андрей взглянул в протянутую книгу — и сердце его радостно екнуло: почерк размашистый, между слов большие пропуски.

— Пассажира нашли? — спросил он. — Который упал в пропасть.

— Да какая там пропасть — метров полста всего, — ответил конкистадор. — Сам ямщик за ним слазил, погрузил и доставил в город. В морге, говорят, уже опознали его. Пьяный он был — стало быть, сам и виноват, не возчик.

Это было более, чем удача! Андрей показал конкистадору удостоверение и попросил оставить его наедине с амбарной книгой.

Разом посеревший от страха бородач выскочил из-за конторки подобно пуле из ствола ружья. Захлопнул за собою дверь и громко крикнул сидящим в соседней комнате ямщикам:

— Тише, сволочи! Чтоб ни гу-гу!

И понятливые ямщики замолчали.

А Андрей взял с конторки ручку, макнул в чернила и дописал три буквы: к слову «пассажир» добавил «ка», а к слову «упал» — «а». Дождался, пока чернила высыхнут, приобретут одинаковый с остальной надписью цвет, положил ручку на место.

Встал из-за стола и вышел на улицу — чтобы в ямщицкой не видели его, а конкистадор не знал точно, когда сотрудник ОГПУ покинул его служебное помещение.

Конверт с письмом от Костиковой намеренно обронил у самых дверей конторки — пусть посплетничает старик о поздней любви дамочки из бывших к сыну возчика из шерстомойки.

8. АЙТИЕВ

Сообщение Андрея о том, что Алла Наумовна погибла во время попытки сбежать из города, не вызвала у Айтиева никакой реакции. Он только спросил:

— Вдребезги?

— Головой о камень, — не моргнув глазом, ответил Андрей.

Айтиев кивнул в сторону заднего сидения в автомобиле, сам сел рядом с шофером. По дороге лишь однажды обернулся, сказал:

— Оживет — пожалеешь.

Андрей понял, что Айтиев решил его сообщению верить не до конца.

— В журнале регистрации транспортных происшествий... — начал он, и вдруг вспомнил, что точно такой же журнал должен быть и в милиции. Ведь именно там дают документ, подтверждающий насильственную (либо в результате несчастного случая) смерть человека и позволяющий родственникам предавать труп земле. Помнится, в общежитии на курсах кто-то схомхил по этому поводу и по поводу трупа Ленина, до сих пор не вынесенного из Мавзолея. И если Айтиев захочет проверить...

Но Айтиев сказал:

— Какое нам до нее дело? Сдохла — и сдохла. Своих дел — невпроворот.

Выходя из машины, протянул Андрею ключ.

— Держи, — сказал. — А то ходишь, как бездомный. Небось, кто-то уже просил?

Андрей решил без особой нужды не врать — и кивнул.

— Комендант?

Снова кивнул.

— Ему дай, — разрешил Айтиев. — Полезный человек. Ты у него сгущенки попроси. У него запас.

Этот человек, казалось, знает все обо всех. Может, он и о сейфе знает? И Андрей поежился.

Вошел в собственный кабинет, стал раскладывать папки на столе. Чистую бумагу сунул в ящик, вспоминая, как в гражданскую войну в школе приходилось писать на полях книг, добывших из недр гимназической еще библиотеки.

Внезапно в дверях появился вестовой и сказал, что Андрея вызывает Айтиев.

Пришлось идти за вестовым, на ходу одергивая новую гимнастерку, стараясь придать лицу вид сосредоточенный и недоумевая при этом, зачем так вдруг понадобился он начальнику, с которым расстался неполных четверть часа назад.

— Доложи о ходе следствия по делу белогвардейского шпиона из Китая, — потребовал Айтиев, едва Андрей возник на пороге кабинета. — Какие документы подготовлены и каковы дальнейшие действия?

Андрей понял, что счастливая беззаботная пора окончилась. От него ждут четкой оперативной работы.

— Поговорил с дядей Пашей, — начал он отчет. — Тот категорически отказался сообщить что-либо о резиденте, даже если таковой появится.

— Меры принял?

— Какие меры? — не понял Андрей.

— Подготовь постановление об его аресте — и мне на подпись, — распорядился Айтиев. — Кстати, кто он?

— Кто? — опять не понял Андрей.

— Твой дядя Паша.

— Ну... он не дядя... Он — исправник бывший.

— А, этот, — кивнул Айтиев. — Давно пора. Зажился.

Слова эти столь четко перекликались со словами дяди Паши о себе, что Андрею стало страшно.

— Дальше, — потребовал Айтиев.

— Я надеюсь, что при допросе... — начал Андрей робким голосом.

— Хорошо, — оборвал его Айтиев. — После допроса доложишь. У тебя все?

— Все.

Вернувшись в кабинет, Андрей написал постановление об аресте банщика, отнес машинистке, которая, не глядя на него, быстро отстучала стандартный текст через три копирка.

— Фамилию сам от руки впиши, — сказала. — Остальное — про запас.

Потрясенный будничностью и деловитостью происходящего, безразличием, с которым решается судьба неизвестного здесь никому банщика, Андрей лишь кивнул и, держа в руках четыре листка бумаги, вошел в кабинет Айтиева.

Распахнул дверь и увидел там сидящего со связанными руками дядю Пашу. Старик обернулся к нему, обнаружив заплыvший в синяке правый глаз и полоску крови в уголке губ.

Однако, оставшимся глазом дядя Паша видел достаточно, чтобы сразу узнать Андрея.

— Вот и встретились, сынок, — сказал он, едва шевеля губами. — Не ожидал?

Андрей проглотил слюну и, не глядя на дядю Пашу, прошел к Айтиеву.

— Вот, — сказал, протягивая стопку постановлений. — Я приготовил, — и неожиданно робким голосом добавил. — Не поздно?

— В самый раз, — улыбнулся Айтиев, и черкнул четыре подписи подряд. — Зайди в канцелярию, поставь печати и возвращайся.

В канцелярии, пока доставали из сейфа печать и оставляли кляксовидные шлепки на постановления без фамилий, Андрей все думал: рассказал дядя Паша Айтиеву о тайнике с ключом или не сказал? Если рассказал, то Андрею следует придумать какую-нибудь отговорку. Ну, допустим, что о тайнике-сейфе он услышал вчера от старика-узбека из бани, что в выдумку эту не поверил и спросил о ключе у дяди Паши просто так, ради шутки, а потом о той шутке забыл.

Но по дороге из канцелярии в айтиевский кабинет вдруг вспомнил, что стена пристройки не просохла еще. Темное пятно на том месте, где Андрей заделал ее, выдаст его с потрохами. Что делать? Ответа не было.

Но и стоять с бумагами в руках перед дверью айтиевского кабинета — значит вызывать ненужное удивление у сослуживцев. Андрей толкнул дверь, так и не решив, что сказать, если возникнет вопрос о сейфе.

— Принес? — спросил Айтиев. — Покажи гражданину.

Андрей поднес к лицу дяди Паши постановление об аресте.

— Теперь все по закону, господин правовед? — спросил Айтиев.

Старик молча кивнул и отвернулся от бумажки.

— Советская власть чтит законы, — продолжил Айтиев. — Требуется постановление — пожалуйста. Нужен суд — тоже пожалуйста, суд скорый и правый.

— У вас не суд — у вас трибунал, — не преминул огрызнуться упрямый дядя Паша.

— Хорошо, пусть трибунал, — согласился Айтиев; достал папиросы из стола, закурил, предложил одну дяде Паше. — Не откажетесь?

— Откажусь, — ответил старик.

— И агентов белогвардейской разведки не знаете?

— Не знаю.

— И ни с кем подозрительным после Октября 1917 не встречались?

— Не встре... — начал было старик, но вдруг взмочнул головой и спросил сам. — Зачем вы это? Решили расстрелять — расстреливайте. Нынче Россия свинца не жалеет.

— Хорошая фраза, — согласился Айтиев. — Жаль, что умрет вот в этих самых стенах. Но ведь нам что от вас нужно? Явки, пароли, имена. Кстати, как называется ваша организация?

— Назовите, как хотите, господин чекист, — ответил старик. — Ведь будь против вас хоть какая мало-мальская оппозиция, вы бы здесь не сидели. Нет в России сил противостоять советской власти.

— Это так, — согласился Айтиев, докуривая папиросу и туша ее о пепельницу. — В России нет, а в Казахстане есть. Правильно, товарищ Анютин?

— Да, конечно, — кивнул Андрей, в разговор не вслушивающийся и думающий только о том, чтобы не был упомянут сейф.

— Вот видите, — снова обратился Айтиев к дяде Паше. — Если мои сотрудники говорят, что я не ошибаюсь, то значит, я должен сделать все, чтобы они не ошибались во мне. Я утверждаю, что в городе действует законспирированная белогвардейская организация, а вы — ее активный член. Других мнений быть не может.

— Прямо-таки иезуитская философия, — грустно усмехнулся старик. — Но я подыгрывать вам не стану. Забейте хоть до смерти.

— Раз просите — забьем, — согласился Айтиев, попросил Андрея. — Конвойного позови.

Андрей вышел из кабинета. В коридоре конвойного не было. Пришлось идти в красный уголок. Конвойный был там — рассматривал стенд «Ленин и теперь живее всех живых, наше знамя, сила и оружие». Муаровая лента на самом большом портрете вождя

висела только чудом. И когда Андрей окликнул конвойного, тот обернулся, вызвав движение воздуха, лента упала.

Андрей с конвойным бросились поднимать ее — и стукнулись лбами.

Раздался сочный русский мат — и Андрей полетел спиной к стене. Хотел вскочить — ствол винтовки уперся ему в грудь.

— Ты, парнишка, извини, — сказал конвойный. — Только сперва успокойся, тогда отпушу. Не нарочно я — с устатку. Цельную ночь на Карасушке бабахали.

На реке Караса расстреливали контриков.

Андрей смотрел в черный глазок ствола и слушал теплый голос конвойного. Это был тот самый мужик, что был Костикова. И ударил он Андрея, конечно, не со зла, а сгоряча (не из-за муаровой же ленты). И тогда Андрей, чтобы разрядить обстановку, рассмеялся:

— Здорово ты меня, — и протянул руку.

Конвойный поднял винтовку стволом вверх, помог Андрею подняться с пола, еще раз сказал:

— Не нарочно. С устатку.

— Пойдем к Айтиеву, — сказал Андрей и первым вышел из красного уголка.

Муаровая лента так и осталась лежать на полу.

Когда дядю Пашу увили, Айтиев сказал оставшемуся в кабинете Андрею:

— Произвести арест должен был ты. И к тому же, еще вчера. Если бы я не подстраховал тебя — банщика уже не было бы в городе.

— Товарищ Айтиев! — воскликнул Андрей. — Я же не знал! И у меня постановления на арест не было.

— А это что? — указал Айтиев на руку Андрея, в которой тот продолжал держать пачку отпечатанных и завизированных постановлений об аресте. — Сколько их там?

— Четыре... — ответил Андрей растерянным голосом. — Но одно уже...

— Стало быть, осталось три, — кивнул Айтиев. — Бумагу всегда можно написать, а преступник может успеть исчезнуть. Тебе ясно?

— Да.

— Ну, а раз ясно, то доложи о своих планах.

Меньше всего Андрею хотелось отвечать именно на этот вопрос. Какие могут быть планы, если ключ от сейфа до сих пор находится под подоконником айтиевского дома, если в милицейских протоколах отмечен труп мужчины, а не женщины, если два человека, которые могут сообщить компромат об Андрее, находятся в лапах Айтиева?

— Д-доп-прос? — нерешительно предложил он. — А когда дядя Паша признается...

— Он — уже не твоя забота, — оборвал его Айтиев. — Твоя задача найти остальных. Из Москвы пришел приказ: сроки раскрытия белогвардейского подполья сократить до пяти дней. Три прошло, осталось два.

— Как — два? — ужаснулся Андрей.

— Да, два, — вздохнул Айтиев. — Надо поторапливаться. Так что уже к сегодняшнему вечеру надо знать и арестовать всех, завтра допросить, а послезавтра с утра доложить в Москву о проделанной работе.

— Но... кто он — резидент? — спросил-таки Андрей. — Мужчина? Женщина?

— Вот ты и выяснишь, — ответил Айтиев. — Сегодня же.

Андрей вышел из кабинета шатаясь. Если он сегодня не найдет резидента, понял он, его ждет участь дяди Паши.

9. КЛЮЧ

Как ни странно, но ни скрытая угроза Айтиева, ни естественный страх попасть в застенки ОГПУ не отвлекли мыслей Андрея от сейфа. Более того, вернувшись в свой кабинет, он никак не мог заставить себя сконцентрировать внимание на плане поиска белогвардейского резидента. Мысли все время возвращались к ключу под подоконником айтиевского дома.

Просидев без пользы около часа, Андрей понял, что остается ему только плюнуть на все, добыть ключ, а там уж будь что будет. Во всяком случае, если в сейфе найдутся хоть какие-то ценности, можно нынешней же ночью посадить стариков своих на какой-нибудь конфискованный рыдван, уехать в какой-нибудь Узбекистан, завести там дело под чужим именем — и никакой уже Айтиев его не найдет. По крайней мере, это будет лучше, чем жить под постоянной угрозой разоблачения в том, чего совершать несовершил, да и совершить не в силах.

Кстати зашел и комендант. Обменяв у него ключи на две банки сгущенки, Андрей направился домой.

Мать, испуганная видом его и воспоминанием об испачканных сыном прошедшей ночью штанах, не посмела перечить его просьбе и пошла к Айтиевым с целью вызвать хозяйствку из дома под любым предлогом. Хотя бы на полчаса.

Сам же Андрей, порывшись к семейном сундуке, добыл несколько старых, времен еще своего детства, игрушек, выбрал из них те, что сохранились получше и выглядели пoyerче (фарфоровую куклу с одной рукой и голову коня из папье-маше с дыркой для палки) и пошел с ними в огород. Перелез он через плетень и позвал со двора играющих там ребятишек.

— Вот, — показал им игрушки. — Такие видели?

Все четыре казачонка (от двух с половиной лет до семи) расширили от восторга глазенки и распахнули рты. Рожденные в революционное и послереволюционное время, в годы, когда и кусок лепешки доставался не каждому, они и подозревать не могли, что на свете существует эдакое чудо: кукла и голова коня для игр.

Андрей отдал куклу девочке Алме. А Бахтияру, Бахыту и Бауржану показал, как можно воткнуть палку в голову коня и, оседлав его, скакать по огороду, словно настоящий джигит.

Восторгу детворы не было предела! Покончив быстрой дракой за право пользования конской головой, старший Бахтияр поскакал в глубь сада, младшие же, воткнув между ног простые хворостинки, помчались следом, улюлюкая и вопя что-то дикое и хмельное.

Андрей повел мальшку Алму домой, объяснив ей по дороге, что кукле нужно пальтишко. Алма, понимающая равно как по-казахски, так и по-русски, лишь кивала головой и шла рядом с Андреем, не в силах оторвать взгляда от нежданно обретенного сокровища. В доме она бросилась внутрь комнат, оставив Андрея в зале, которая почтаслась здесь за мужскую половину дома, дозволенную гостям для посещения.

Андрей выглянул в окно, увидел мать увлеченно беседующую с Гульнар-апа, удовлетворенно крякнул и бросился к среднему окну.

Сунул руку под правый угол подоконника, нашупал какую-то выпуклость, нажал.

Подоконник не пошевелился.

Андрей пробежал пальцами по низу доски еще раз — больше выпуклостей, скрывающих возможную кнопку, не обнаружил. Нажал тогда на прежний буторок еще раз и потянул подоконник на себя.

Доска сдвинулась, обнаружив между своим ребром и оконной рамой длинную узкую нишу. В ней лежал большой ржавый ключ и несколько свернутых в рулон бумаг, покрытых тонким слоем пыли.

Бумаги и ключ Андрей сунул в карман и быстро задвинул доску на место. Раздался щелчок — и тотчас в комнате появилась Алма с фарфоровой куклой в руках и огромным отрезом ткани, который весил никак не меньше ее самой. Лицо девочки было напряженным, глаза вылезли из орбит.

— Нет, нет, — улыбнулся Андрей малышке и бросился к ней на помощь. — Это слишком много, — взял из рук ее отрез и положил на один из сундуков в комнате. — Лучше пойдем с тобой к маме, попросим ее помочь нам.

Девочка, не отрывая взгляда от отреза, согласилась. Так и пошла, держась за Андрееву руку и повернув голову внутрь залы, к двери.

Гульнара-апа, увидев куклу в руках дочери, растрогалась необычайно. Она залопотала по-казахски так быстро, что Андрей едва успевал понимать смысл ею сказанного. Здесь были и благодарность, и удивление по поводу существования на свете фабричного изготовления игрушек, и радость при виде счастливого личика девочки, и многое, многое другое. В конце концов, она сказала, что даст ему за куклу целых две бутылки водки.

— Спасибо. Не надо, — ответил Андрей. — Это просто мой подарок вашим детям. Вы лучше найдите разноцветных тряпок и помогите Алме сшить для куклы платье. А то она принесла вот такой отрез ситца.

Услышав про ситец, Гульнара-апа испуганно всплеснула руками и побежала в дом. Еще бы не бежать. В прошлом году на Октябрьские праздники ударникам выдавали по два метра как раз от подобного отреза. Получившие мануфактуру плакали от радости, а не ударники кусали губы до крови. Тридцать четвертому ударнику не хватило полуметра, так какой скандал учинился, что председатель рабочкома полетел со своего места.

— Зачем отдал? — спросила мать. — Можно было на базар снести. Сейчас кукол днем с огнем не сыскать.

— Ничего, мам, — ответил Андрей, ощущая в кармане приятную тяжесть ключа. — Это — дочь моего начальника, его любимица. Смекаешь?

— Что он — куклу любимице купить не в состоянии? — проворчала она. — Каждый день ему везут, везут. Вечером везут, ночью везут.

— В состоянии или не состоянии, а не купил, — парировал Андрей, не любивший домашних разговоров о «взятках впрок» и о том, что при господине исправнике подобного мздоимства не было. — Это будет первая кукла у нее, самая любимая.

Мать покачала головой и пошла к своим воротам.

Андрей крикнул ей, что сегодня вернется поздно, и пошел по улице, покуда еще сам не зная куда. Ключ лежал в кармане, но путь в пристройку дома Айтиева был покуда заказан — мальчишки носились по саду верхом на палках.

«Может, могилу Сороки навестить? — подумал. — Чем черт не шутит?»

10. АРЕСТ

Устроившись под ракитой, где он несколько дней тому назад разговаривал с отцом Борисом, Андрей принялся разглядывать могилы. Дореволюционные обелиски черного и белого местных мраморов с золотыми буквами в канавках его взора не привлекали. Простые земляные холмики — тем более. Вот могила Антонова — соседа по улице — другое дело. Его убили во время рейда ЧОНовцев на Чаткал. Привезли в город на пушечном лафете, хоронили торжественно, обещали воздвигнуть памятник за счет город-

ской казны, но как стояла кривобокая звезда на пирамидке, так и осталась коситься над кучей полусгнивших веточек от венков. Семья ведь Антонова, знал Андрей, сразу после смерти его, покинула город, переехала в Россию.

Посетителей в тот час на кладбище не было. Монотонно гудел комар, слышались шорохи не то шуршащих между могил змей, не то снующих за насекомыми ящериц. Пряно пахло мятою со стороны арыка и полынью от холмиков. Слабое журчание воды выкlevывалось из липкой тишины и мерным звуком своим убаюкивало.

Андрей ударился лбом о собственные колени, открыл глаза. Разом ощутил, как болят икры от долгого сидения на корточках, как ноет поясница. Переменил позу, опять стал смотреть на холмик с пирамидкой. Мнимая могилка Сороки выглядела так же затрапанно, как и прочие. Глаза слипались.

Неожиданно он почувствовал некое неудобство на правом бедре, сунул руку в карман — и обнаружил взятый впопыхах из тайника в айтиевском доме рулончик бумаги.

Развернул, расправил складки... Письма. Почерк, скорее всего, женский. Стал читать.

«Дорогие друзья! Вот уже второй месяц, как мы на свободе. А в предыдущий раз я писала вам, как нам с Андреем удалось бежать с каторги, пересечь японскую границу на Сахалине. Местные крестьяне тут же выдали нас властям. Это письмо я пишу уже с острова Шикотан, куда нас отослали после трехнедельного содержания. У нас теперь статус иностранных поселенцев без права посещения иных островов японского государства.

По сути, это тоже тюрьма. Только на жизнь мы должны зарабатывать уже сами. И еще рядом нет охраны. Связи с внешним миром тоже нет. Изредка к берегу подходят рыбацкие судна и, если капитан дозволит, можно отправить с ними письмо. Получать же весточки нет никакой возможности.

Людей здесь живет мало — от силы наберется пара десятков семей. По-русски никто не понимает, с нами держатся отчужденно. Но инструмент для рытья землянки нам дали. В первую неделю даже помогали с пропитанием — давали сушеную рыбку и мясо какого-то морского животного, пахнувшего рыбным жиром и йодом одновременно. Еще здесь едят водоросли. Они здесь длинные и широкие, похожие на змей, но как они называются по-русски, я не знаю. Часто бывают туманы, и Савелий во время них кашляет кровью. Судя по всему, долго ему не протянуть.

Мы сказали властям, что мы — супруги. У него же нет никаких сил, чтобы подтвердить это. То, что в революционную бытность не предоставляло для меня проблем, здесь ощущаю пыткой. Я подозреваю, что виной тому водоросли, которые мы здесь едим изрядно...»

Андрей читал историю неизвестных ему людей, оказавшихся волею судьбы на далеком острове в Тихом океане среди чужих людей, не зная ни языка их, ни даже орудий труда. Особенно было страшно от понимания того, что все написанное в письме было правдой. Письмо обрывалось на фразе: «И при этом здесь есть даже полицейский, кото...»

Следующая пара листков была исписана карандашом и начиналось с другого полуслова:

«... канье усилилось. Он лежал на голых досках, и у нас не было чем укрыть его...»

Так что ничего об японских полицейских Андрею узнать не удалось. Впрочем, не узнал он ничего и о том, кому не удалось поспать на голых досках.

Потому что как раз в этот момент к памятнику Сороке подошла стройная женщина лет сорока в облегающем платье-костюме серого цвета, в изящной шапочке, выглядевшая столь вызывающе, что поневоле вызвала недовольство Андрея. Она склонилась к могиле, прижав к животу маленькую дамскую сумочку, и погладила пирамидку в основании, словно разговаривала с ней.

Андрей сунул бумаги за пазуху и напряг мышцы ног. В этот момент он ощутил себя готовым к прыжку хищником.

Женщина в последний раз поклонилась могилке и пошла прочь.

Андрей бросился следом. Догнал ее у склепа купцов Пафнутьевых.

— Гражданка! — окликнул, — прошу предъявить документы!

Женщина обернулась.

— Документы? — переспросила она. — Почему? По какому праву? Это произвол.

Андрей достал удостоверение и сунул ей под нос.

— Я — сотрудник ОГПУ, — представился он. — Извольте пройти за мной, — ухватил женщину под локоть и подтолкнул ее вперед, предупреждая. — Это пока не арест, а задержание. Если попытаетесь оказать сопротивление... — но сам тон его оказался достаточным, чтобы не продолжать угрозу.

Женщина покорилась. Она проследовала рядом с ним через весь город, не сказав ни слова.

Но уже в помещении ОГПУ ее прорвало:

— Отведите меня к вашему начальнику! — потребовала она. — Немедленно! Меня даже царские сатрапы так не оскорбляли!

Андрей растерялся. Одно дело арестовать простую мещанку, другое — женщину, которую когда-то оскорбляли сатрапы. Он стоял перед дежурным — и не знал, в какую сторону ему сворачивать с задержанной: к своему кабинету или к Айтиевскому?

Дежурный скалился, но помочи не предлагал.

— Безобразие! — продолжала бушевать женщина. — И это называется — советская власть? Самодурство, а не власть!

Возникший из дверей склада комендант разрешил проблему ударом кулака в ухо женщины.

— Это я — сатрап? — спросил он, глядя на поверженную скандалистку. — У, контрсанитария!

Женщина лежала на полу и, свернувшись в клубочек, ожидала пинка. Судя по всему, опять подобного обращения с ней, у нее был.

Комендант гаркнул:

— Встать! Руки за голову!

Этот приказ она выполнила быстро. Ухо ее алево и на глазах увеличивалось в размерах.

— Вперед шагом марш! — в последний раз гаркнул комендант, и тут же мирно сказал Андрею. — Вот как надо, — сунул ему в руку ключ. — Спасибо.

Направление, которое придал комендант арестованной, оказалось противоположным Андрееву кабинету, потому пришлось идти к Айтиеву.

— Проходите, пожалуйста, — сказал Андрей, открывая перед женщиной дверь. — Как просили. Начальник отдела ГПУ Айтиев Бахыт Айтиевич.

Женщина, не убирая с затылка рук, вошла в кабинет.

Айтиев, не отрывая глаз от каких-то бумаг на столе, указал им в сторону поставленного у шкафа стула.

Андрей и женщина остались стоять.

Свой звездный час Андрей представлял, конечно, не так. Но выбирать не приходилось — надо ждать, когда Айтиев дочитает бумагу и обратит внимание на них.

— А, это ты? — сказал Айтиев Андрею, подняв голову, потом перевел взгляд на женщину. — А это кто? Опустите руки.

Женщина разжала пальцы — и руки ее упали.

— Может, предложите сесть? — спросила.

— Конечно, — согласился Айтиев. — А вы кто?

— По направлению Коминтерна Мария Мюллерова, — представилась она и, достав из

сумочки, которую умудрилась не потерять, красное удостоверение, протянула Айтиеву.

— Ноделегация Коминтерна решила не посещать Аулие-Ату, — сказал Айтиев, просмотрев удостоверение, но не вернув его. — Потрудитесь объяснить причину вашего появления здесь.

— По разрешению руководителя делегации товарища Абельмана, — казенным голосом ответила она, — я прибыла сюда, чтобы посетить могилу соотечественника моего мужа, погибшего от рук белогвардейцев в 1919 году.

— Вы говорите о Сороке?

— Да.

— А вам известно, что он сам был белогвардейским шпионом и что по его вине погибли разведчики Аулие-Атинской социалистической роты?

— Этого не может быть, — твердо заявила Мюллерова. — В коммунистической партии Чехословакии свято чтут память об этом мужественном борце за справедливость.

— Он не был коммунистом, госпожа... — заглянул в удостоверение Айтиев, — Мюллерова. И это ваш первый, как говорится, прокол. Андрей, ты поймал важную птицу.

Женщина вскинула брови.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила она. — Вы подозреваете меня в каком-то преступлении? В каком?

— Всему свое время, — ответил Айтиев. — Я бы хотел, чтобы вы сами сообщили о цели и характере своего задания. Учтите, мы знаем многое, почти все.

— Тогда, — язвительно произнесла она, — если вы хорошо все знаете, верните мне мои документы и как следует извинитесь. Чтобы не произошло скандала, — и добавила, — международного скандала.

Айтиев бросил ее удостоверение в ящик стола и поднялся.

— Госпожа Мюллерова, — сказал он. — Вы обвиняетесь в том, что являетесь агентом белогвардейского подполья, отправленным в Аулие-Ату из Китая. Могила левого эсера Сороки была местом вашей встречи с членами местного филиала вашей подпольной организации.

— Какая глупость! — рассмеялась неуверенным смехом Мюллерова. — Несусветная чушь!

— Чушь? — улыбнулся Айтиев. — А чем вы объясните свое прекрасное знание русского языка, госпожа чехословачка?

— Я не чешка, я — подданная Чехословакии, да, — ответила она. — Но родом я — русская, из Тамбова. Впрочем, что говорить зря. Телеграфируйте в Арысь — наша делегация сейчас там. Товарищ Абельман подтвердит все, что я вам сказала.

— Телеграфируем, — согласился Айтиев. — Но прежде давайте оформим все документально, — движением руки предложил Андрею сесть на стул рядом со своим столом и пододвинул ему ручку с чернильницей и бумагой.

— У меня же есть, — напомнил Андрей, и достал из кармана одно из впрок заготовленных постановлений об аресте.

— Ну, так впиши, — приказал Айтиев, — Мюллерова Мария. Можно без отчества. И как раз в это время в кабинет ввели дядю Пашу.

Женщина взглянула на него и вскрикнула.

— Учительница? — удивился в свою очередь старик. — Вот и встретились.

Айтиев ткнул пальцем в строку с невысохшими еще чернилами, сказал:

— Пиши: «Кличка — Учительница».

11. ЭСЕРКА

После обеда допросов не было. Сотрудники ОГПУ в полном составе присутствовали на митинге, посвященном открытию первого в мире памятника вождю мирового

пролетариата Владимиру Ильичу Ленину — у главного входа на электростанцию.

Меркенцы, правда, обошли аулиеатинцев, успев соорудить еще при жизни вождя каменную пирамидку со звездой и надписью на русском и арабском языках что-то там о вожде мирового пролетариата и его роли в деле освобождения трудящихся Востока. Зато Аулиеатинский Совдеп первым решил соорудить бюст покойного Предсноваркома. При этом плешию голову и оплечье решено было водрузить на глиняный шар двухметрового диаметра с контурами материков планеты Земля.

Зрелище, представшее после сдергивания огромной черной кошмы с памятника, было столь неожиданным, что зрители ахнули, увидев земной шар не то в виде пузы, не то в виде задницы вождя мировой революции.

Кто-то гоготнул в растерянной тишине, кто-то пошутил, что не простудился бы Ильич на Северном полюсе. Но оторопь прошла быстро — и раздались рукоплескания.

О речах, предшествовавших моменту торжественного открытия, все тут же забыли, приглашенные на банкет отправились на электростанцию, остальные разбрелись. В толчее, случившейся после митинга, Андрей обнаружил начальника горотдела милиции. Подошел к нему с просьбой разрешить просмотреть журнал регистрации транспортных происшествий.

Тот, занятый лишь тем, чтобы его присутствие на митинге было замечено секретарем укома партии Левкоевым и представителем Верненского правительства, подозвал первого попавшегося под руку милиционера и приказал тому «оказать содействие товарищу из ОГПУ по всем интересующим его вопросам».

Не считать этого удачей было нельзя. Надувшись от важности, Андрей поспешил в управление милиции, а пожилой милиционер, испытывая великое почтение к чекисту, последовал за ним семенящими шагами — на манер походки мусульманок в чадрах, спешащих за мужьями.

В милиции Андрей попросил оставить его наедине с книгой транспортных происшествий, быстро нашел буква в букву повторяющуюся, как и в коннно-транспортной конторе, запись о происшествии на перевале Куок, вписал три новых буквы, подождал, когда высохнут чернила и, вызвав милиционера, вернул ему книгу.

— Так и знал, — сказал недовольным голосом. — Ничего у вас нет. Совсем не работаете.

А когда вернулся в ОГПУ, оказалось, что дядю Пашу допрашивать ему не придется. Так сказал ему конвойный, сидящий рядом со стариком у столика с машинисткой. Оба они курили и выглядели безмятежно.

— Что, мальчи, переусердствовал? — спросил дядя Паша Андрея. — Девку эту — учительницу — я хорошо знаю. Революционерка. По всем вашим статьям. Не Рысколов там какой-нибудь. Здесь ссылкой была. Потом в двенадцатом по моему приказу ее опять взяли. Судили в Верном, отправили по этапу. Очень интересная была история. Хочешь расскажу?

Вместо Андрея ответил конвойный:

— Расскажи, коли хочешь.

Согласно версии дяди Паши, женщина эта была сослана в Аулие-Ату за революционную деятельность. Но здесь влезла в одно крупное антигосударственное преступление, которое расследовал жандармский ротмистр Монахов. Бежала с возлюбленным с места поселения, но силами местной полиции была обнаружена и задержана. Судили ее и ее любовника в Верном. Отправили на каторгу на Дальний Восток. С каторги они вместе сбежали — об этом сообщалось в документах об их розыске, присланных дяде Паше сразу после объявления войны Германии.

— И вот теперь — гражданка Чехословакии, — заключил старик.

— Чем она занималась все это время? — спросил Андрей лишь для того, чтобы разговор поддержать, ибо что делать ему теперь он не знал.

— Это вы у нее спросите, — улыбнулся стариик. — Слышал я кое-что...

Над дверью айтиевского кабинета впервые на Андреевой памяти загорелась красная лампочка.

Конвойный встал, отобрал у старика окурок, затушил его ногой и подтолкнул старику к двери начальника.

Андрей остался с машинисткой наедине.

Она тоже слышала рассказ дяди Паши, но особого интереса он у нее не вызвал. Да Андрею и самому подобная история казалась надуманной. Вот если предположить, что бывший исправник выгораживает агента «Учительницу», то это сразу меняет всю картину. Ведь заметил же он странную усмешку на губах старика во время рассказа того о приключениях той женщины. И подумал, что если бы глаз дяди Паши не заплыл, он бы по ним мог догадаться: врет бывший исправник или нет.

— Красивая история, — сказал Андрей, обернувшись к машинистке.

Та слегка сморшилась и отвернулась к окну.

О том, что машинистка ОГПУ замужем за председателем уездного Совета, узнал он еще вчера от коменданта. Пузатый хохол обожал сплетничать и, кто знает, чего уж успел наговорить другим сотрудникам о самом Андрее.

Дверь айтиевского кабинета распахнулась, и на пороге появился тот самый старикузбек, что разговаривал вчера с Андреем в домике при бане. Следом шел Айтиев, и с трепетным почтением в голосе извинялся за «глупость подчиненных». Дядя Паша и конвойный вышли следом.

— Салам, джигит, — улыбнулся узбек изумленному Андрею. — Как живешь? — и протянул две руки.

Андрей почтительно пожал их и ответил:

— Хорошо. Спасибо, аксакал.

— Правильно, — кивнул тот. — До свидания.

— Кто не работает, тот не ошибается, — вставил свое Айтиев.

Кривая усмешка на губах дяди Паши говорила о том, что ошибки не было и быть не могло, но есть сила, которая сильнее и той власти, которую представляет Айтиев.

Проводив стариakov до самого выхода, почтительно раскланявшись с ними, Айтиев с конвойным вернулись к кабинету.

— Зайди, — приказал Андрею.

Андрей глянул на машинистку — та с безучастным видом смотрела в окно.

Айтиев уже сидел на своем месте и ждал появления подчиненного. Конвойный пристился на корточках в углу кабинета.

— Как видишь, товарищ Анютин, мы можем быть и гуманными, — сказал тут Айтиев. — Коллектив работников бани поручился за дядю Пашу — и мы поверили пролетариату. Тем более, что явными доказательствами его преступной деятельности на территории уезда мы не располагаем, а подозрения к делу не пришьешь, — глянул в сторону присевшего конвойного, улыбнулся. — Чтобы не было недомолвок между нами, сразу же скажу, что коллектив бани дал залог за бывшего исправника в размере ста золотых червонцев. Пятая часть денег по закону принадлежит нам. Делим на три части... — с этими словами он вынул из стола стопку монет и разделил на части. — Вот ваши доли, — сказал.

Андрей оглянулся на конвоира. Тот продолжал сидеть на корточках, придерживая винтовку за ремень и, казалось, совсем не слушая их разговора.

— Бери, — сказал Айтиев Андрею. — Честно заработал.

Андрей судорожно взглотнул, но деньги взял.

— Теперь расскажи, куда ты девался после митинга? — потребовал Айтиев.

Андрей рассказал, что был в милиции, проверял отметку в журнале транспортных происшествий.

— Что — погибла-таки? — спросил Айтиев без особого интереса в голосе.

— Погибла.

— Напиши отчет — подшей к делу.

Потом послал взявшего свою долю конвойного за Мюллеровой. Андрею же предложил пока прочитать секретное письмо товарища Дзержинского об усилении ответственности должностных лиц ОГПУ за получение взяток.

— Видишь как, — ткнул пальцем в подчеркнутую строку. — Вплоть до расстрела.

Когда привели Мюллерову, Андрей уже расписался у углу письма Дзержинского в подтверждении, что с ним ознакомился. Глянул на женщину с интересом и сочувствием.

Выглядела она спокойно.

— Расскажите вашу легенду, — предложил Айтиев. — Интересно, как работают со своими агентами семеновцы. Или вы — из остатков дутовцев?

— Я — член партии эсеров с 1910 года! — гордо заявила женщина. — Была осуждена и отправлена в Аулие-Ату в ссылку. Здесь против меня и местного жителя Мершиева было сфабриковано обвинение в деятельности в пользу английской разведки. После этого мы были отправлены на каторгу в Сибирь.

Все это так походило на рассказы Паши о ней, что Андрей понял, что женщина не лжет. Понял — и почувствовал, как притекает к нему страх. Семь червонцев просто жили карман.

— С каторги мы бежали в Японию... — продолжила женщина.

И тут Андрей понял, чьи письма он добыл из тайника в айтиевском доме.

— Жили на Сахалине, потом на Шикотане. Савелий умер от чахотки там. Я тайком перебралась на Хоккайдо, оттуда — в Китай, Сингапур. К концу войны оказалась в Париже. Там получила известие о ленинском перевороте 6 июля и уничтожении им моей партии. Решила остаться в эмиграции. Вышла замуж за чешского революционера, вступила в коммунистическую партию Чехословакии. Была направлена на работу в Коминтерн. Остальное вы знаете. Можете позвонить в Москву, — назвала номер телефона. — Спросите товарища Зиновьева. Он знает меня лично.

Все сказанное ею очень походило на правду, более того — было правдой. Андрей понял это не только потому, что услышанное от нее согласовывалось с известными ему сведениями, но и по тону, с каким она рассказывала о своей судьбе. Было что-то странное в том, что арестована она в следующий момент после того, как он добыл из подоконника подтверждающий ее слова документ.

Да, лежащие в кармане Андрея письма могут быть свидетельством истинности ее слов. Старые пожелтевшие письма, один вид которых вызывает больше доверия, чем сам разговор с членом Политбюро РКП(б) Зиновьевым.

Но, глянув на Айтиева, Андрей почти дословно понял, о чем думает тот. Уж кто-кто, а Бахыт Айтиевич знал, что в ОГПУ не прощают промахов своим работникам, беспощадно наказывают тех, кто посмел тронуть близких кремлевским бонзам людей. А товарищ Зиновьев был не только соратником Ленина, но и числился в списке тех, кто претендовал на место покойного, будучи одним из четырех оставшихся вождей.

— Зачем вы ходили на могилу эсера Сороки? — спросил Айтиев. — В качестве ссыльнопоселенки вы не могли быть с ним знакомы. Он попал в Аулие-Ату в качестве пленно-

го австрийской армии во время империалистической войны. Вы же, по вашей легенде, исчезли отсюда в двенадцатом году, чтобы появиться здесь в двадцать четвертом.

— Откуда вы знаете, что я была арестована в двенадцатом? — спросила она. — Я вам эту дату не называла.

— Но это так? — не моргнул глазом Айтиев.

— Да, — согласилась она. — В двенадцатом. Но если вы знаете это, то, значит, вы навели обо мне справки и понимаете, что я — это я.

— Вы не ответили на мой вопрос, — настойчиво повторил Айтиев. — Откуда вам известен эсер Сорока?

— Я его не знала, — ответила она. — Его хорошо знал мой муж. Они дружили еще в гимназии. И именно Сорока приобщил его к революционной деятельности: вместе писали прокламации против Франца-Иосифа, размножали их на гектографе и расклеивали по городу. Вместе ушли добровольцами на фронт, и вместе сдались в первом же бою русским.

— Именно этим... — вмешался тут в разговор ошеломленный Андрей, — вы объясняете интерес делегации Коминтерна к могиле Сороки?

— В общем-то, да, — смутилась Мюллерова. — Кроме моего мужа, вряд ли кто помнит уже его. Они были такими молодыми тогда! — и застенчиво улыбнулась.

Андрей и Айтиев встретились глазами. «Это удача!» — как бы сказали они друг другу. Вряд ли муж этой Мюллеровой будет искать ее в Аулие-Ате, тем более не станет делать это сам Зиновьев. Ибо первому для этого надо будет признаться в том, что использовал он служебное положение жены в личных целях, а второму снизойти до защиты нарушителей партийной дисциплины.

— Сегодня вечером вам предъявят обвинение, — заявил Айтиев. — А пока возвращайтесь в камеру. Кстати, условия содержания вас удовлетворяют?

— В сравнении с японской тюрьмой, у вас — рай, — усмехнулась Мюллерова. — Но мне бы хотелось знать, откуда вам известно про двенадцатый год, если...

Но договорить она не успела — конвойный грубо швырнул ее к двери.

— Осторожней! Я все-таки женщина!

— Топай! — рявкнул конвойный и распахнул дверь.

Когда они вышла, Айтиев сказал:

— Эсерка! — и сплюнул.

12. ЛЮБОВЬ

Андрей отписывался. Ибо Айтиев, узнав, что за дни работы стажер не удосужился написать ни одной буквы в Дело о китайском шпионе, рассвирепел так, что наорал на того в присутствии конвоира и потребовал к концу дня представить никак не меньше двадцати страниц убористого текста. Что касается дальнейших допросов госпожи Мюллеровой, то работу эту он взвалил на себя.

— К завтрашнему утру, — заявил он, — у нас должен быть готов полностью том дела.

И вот Андрей засел за стол, пытаясь припомнить все, о чем он размышлял в последние дни в связи с необходимостью поимки шпиона, выдумывая диалоги с несуществующими людьми, ибо только так можно было оправдать арест члена Коминтерна и обеспечить будущий судебный процесс необходимыми материалами.

Писать было тем более тяжело, что семь золотых, покоящихся в его кармане, не позволяли и словом упоминать о старице-узбеке из бани и о бывшем исправнике. Налицо были только бывшая эсерка да учитель Костиков, плюс якобы погибшая на перевале Алла Наумовна. Для тайной организации маловато, конечно, однако...

Андрей припомнил соседа Костиковых, который сообщил ему об отъезде Аллы Намовны. Фамилию его Андрей случайно знал — и подумал, что тот может навести Айтиева на подозрение, что стажер мог и упустить учительницу. А то, как ведут здесь допросы, убедило уже Андрея, что признание из соседа можно выбрать любое. Так уж лучше иметь то признание, которое выгодно самому Андрею — и он осторожно вписал в список подозреваемых и Костиковского соседа, учителя геометрии и астрономии.

Придумав за обреченного показания на Костикова и Мюллерову, Андрей отложил ручку и прислушался к обуревающим его чувствам. Ни стыда, ни сомнения он не ощущал. Только спокойствие и безразличие. Усмехнулся, вспомнив о выступлении Сергея Беспалова на собраниях комячейки о том, что Андрей добр и великодушен по натуре, умеет сочувствовать ближнему и политически грамотен — и решил, что прав был комсорг только в последнем: уничтожить этих безвинных людей политически необходимо, а потому они обречены.

Подумал так — и вдруг, сдерживая торжествующую улыбку на устах, вписал и самого Беспалова в члены подпольной организации «За воссоздание России». Следом вписал еще четыре фамилии — кого успел вспомнить. Если и пожалел при этом кого, так это мать Сергея — старшего сына потеряла она в девятнадцатом, теперь останется и без второго, только с дочерью Аней.

К концу дня, когда собрался Андрей уже и лампу зажечь, в кабинет его впорхнула без стука юная особа в цветастом дореволюционном платье, укороченном, правда, до современных пределов, то есть открыв ножки и приобнажив прелестные колени. Но все же главным достоинством ее костюма была ложбинка в вырезе, куда Андрей уставился голодным взором истосковавшегося по женской ласке самца.

Особа хихикнула и прикрыла грудь рукой.

— Это ты новенький? — спросила она голосом веселым, не привыкшим тушеваться от столь пристального внимания к собственным прелестям. — Андрей Анютин?

— Да, — кивнул Андрей, с трудом переводя взгляд от ее ладони к лицу.

Овал был и впрямь прелестным. Такие лица иконописцы стараются придать ангелам, но, как правило, у них это плохо получается.

— Красивая у тебя фамилия, — сказала особа. — А сам ты — ничего... — и убрала руку от груди.

— А вы... кто?

— Я? — рассмеялась она. — Я — телефонистка. И секретарь комячейки... — запнулась. — А ты почему на учет не встал? Ты ведь комсомолец?

— Да? — спросил он, и сам ответил. — Да...

Девушка рассмеялась. Не обидно, не с насмешкой, а по-доброму так, от души. И он понял, что нравится ей.

— Это я с тобой говорил? — тоже перешел он на «ты», — по телефону в первый день.

— Со мной, — ответила она. — С церковью связывала. Ты — верующий?

— Почему верующий? — растерялся он.

Она опять рассмеялась. И смех ее был столь заразителен, что Андрей не удержался — и разулыбался тоже.

— Шучу, — сказала она. — А к тебе пришла насчет учетной карточки и взносов.

— На шерстомайке, — ответил он, продолжая улыбаться. — Еще не взял... — и вдруг решился продолжить. — Пойдем на фильму, а?

— Пойдем, — тут же согласилась она. — Когда?

— Сейчас, — сказал Андрей и принял складывать бумаги в стол, дивясь про себя собственной храбрости.

Она рассмеялась еще веселее, чем прежде, и протянула руку:

— Лена.

А потом была фильма про несчастную любовь в синематографе Вильде, мороженое в кафе Чикириди, мимолетные прикосновения рук, разговоры сразу обо всем и ни о чем, какой-то нелепый извилистый путь до ее дома, что располагался неподалеку от городского казначейства, то есть, всего в двух минутах ходьбы от синематографа, а оказавшийся в целом часе пути. Словом, к указанным ею воротам подошли уже в темноте.

— Ну вот, — сказала она, останавливаясь у высокого крашеного забора. — Я и пришла. Было очень приятно.

— Мне тоже, — признался он. Рука его помимо воли сама коснулась ее руки, осмелилась и сжала ладонь в ладони.

— Не уходи... — прошептал он, боясь, что она его услышит.

И она услышала. Шагнула к нему и приподняла голову.

Губы их встретились... и он почувствовал, как затрепетало ее тело, как откликнулось дрожью его собственное. Живот ее прильнул к его бедру — и краска бросилась ему в лицо при мысли, что она ощутит его пружину.

Калитка в воротах распахнулась. Там появился красноармеец с винтовкой.

— Ой! — воскликнул он испуганно и захлопнул перед своим носом калитку.

Лена отпала от Андрея и, улыбаясь так, что он видел это даже в темноте, сказала:

— Мне пора... А ты тикай! Завтра увидимся, — отступила к калитке. — Тикай, сказала!

Андрей побежал вдоль улицы, радуясь невесть чему, слыша, как бьет ему в спину девичий смех. Свернув в один переулок, во второй, перепрыгнул через арык И, пройдя по тропинке между ним и каким-то забором, остановился.

Переулок любви. Так называли его аулиеатинцы. Официально до революции он носил имя генерала Колпаковского, сейчас — Чапаева — тоже генерала, но красного. В апреле вишни и черешни цвели здесь так, что домов за белой кипенью было не видно. Юноши, не осмелившиеся признаться избранницам в своих чувствах, приводили девушек сюда — и это считалось у горожан признанием в любви.

Крыша караван-сарай указывала ему путь к дому.

Шел Андрей и думал о странных словах, сказанных девушкой на прощание, о своей неожиданной смелости, о первом в своей жизни поцелуе, о том, что никогда почему-то в городе он раньше не видел Лены, хотя город их невелик и все как-то поневоле встречаются друг с другом хотя бы раз-два в месяц.

«Влюбился, что ли? — подумал, подходя к своему дому. — А если и влюбился — что в этом такого? Пора...»

13. СЕЙФ

Отец уже спал, а мать при свете керосиновой лампы пряла шерсть и поглядывала в сторону двери — ждала сына.

Увидела, отложила веретено, встала, стряхнув очесья в лежащее на полу решето, подошла к столу, где под полотенцем давно уже остыл его ужин.

— Не надо, мам, — ласково сказал Андрей. — Не разогревай.

Она глянула на него так жалостливо, что пришлось согласиться поесть.

Сел, сунул ложку в лапшу, да и задумался, не в силах сдержать блуждающую на губах улыбку: завтра утром он позвонит на коммутатор и услышит ее голос.

— Ты что? — встревожилась мать. — Заболел?

Андрей вздрогнул, принялся за еду.

Она же села напротив, подперла ладонью щеку и стала смотреть на сына. Что-то в лице его не нравилось ей и настораживало. Обычно спокойное и задумчивое, оно выглядело одухотворенным. Быть может и впрямь чекистская работа облагораживает, как говорят об этом с трибуны? Сама она об ОГПУ не знала ничего. Разве только, что так называется по-новому жандармерия. А раньше, в старое время, на весь уезд был один жандармский ротмистр Монахов — мужчина бравый и самонадеянный. Совсем не похож на ее сына и тем более — на Айтиева.

Лапша была куриной. Мать решила зарезать какую-то из своих хохлаток, понял Андрей, чтобы сберечь чекистские пайковые деликатесы про черный день.

— Чего сегодня поздно? — спросила она наконец. — Тут к тебе Айтиев приходил.

— Ну? — спросил Андрей, задерживая у рта ложку.

— Денег принес — целую груду. Говорит, сразу за три месяца тебе полагается. Мы посчитали — около десяти твоих жалований на шерстомойке. Может, ошиблись? Ты завтра разберись, лишнее верни.

— Все правильно, мам, — сказал Андрей. — Я считал — как раз восемь с половиной жалований. А что еще он сказал?

— ... Ничего, — подумав, сказала мать. — Сказал, что в ведомости сам за тебя расписался. А где ты был?

Андрей вспомнил, что из-за фильмы не успел дописать пары листков в дело о белогвардейском заговоре. А к завтрашнему утру документы должны лежать на столе у Айтиева.

— Мам, — спросил он, — чернила у нас есть? И бумага?

Мать ведала в доме сохранением того, что может и сто лет в семье не понадобиться, а может и вот так — вынь да положь.

— Есть, — кивнула она и встала. — Только высохли уже, пойду разведу.

Она ушла, а Андрей доел лапшу, вгрызся в куриную ляжку и вдруг неожиданно для себя самого, по-казахски отрыгнул.

«А Лена-то знает Сергея Беспалова, — вспомнил вдруг новость, поразившую его в разговоре с девушкой. — Говорит, что по укому комсомола. Вместе заседали в комячайке».

Доел мясо, а мать все не шла.

«Лена, — повторил про себя, — Ле-ноч-ка» — и вздохнул шумно, всей грудью, словно стараясь освободиться от внезапно обрушившейся тяжести.

Но освобождения не получилось. Перед глазами, словно воочию, предстало лицо Лены — чистое и светлое, прозвенел в ушах ее беззаботный чарующий смех, а губы сразу вспомнили упругую податливость ее губ.

— Ле-но-чек... — повторил он вполголоса и засмеялся.

Мать вошла как раз в этот момент. Услышала сказанное, но в слух никак не прореагировала, лишь обрадовалась в душе, что единственный сыночек ее наконец-то влюбился, что стала понятной ей отстраненность его лица. Кашлянула, сказала:

— Вот принесла, — и протянула непроливайку с ручкой и тетрадки.

— А другой бумаги нет? — спросил Андрей, положа поданное на стол — смущило его, что в отделе он писал на резанной, а здесь придется дописывать на клетчатой.

— Почтовая, — ответила она, слабо выразив голосом надежду на то, что дореволюционных пор бумагу он брать не должен.

— Тогда ладно, — понял ее Андрей, — и тетрадная сойдет.

Дождался, когда мать уберет со стола, вымоет посуду и уйдет в комнату к отцу.

Потом быстро, в полтора часа — не больше, написал все, что полагалось напи-

сать до полного завершения дела, положил последний лист написанным вверх — для просыха. Вышел во двор.

Небо чернело провалом. Луны не было, но звезды светили столь ярко, что во дворе не казалось темно. Контуры череды пирамидальных тополей вдали... кроны плодовых деревьев в саду... крыша сарая с бурной растительностью на ней... колодезный журавль с задранным в небо концом. Стояла та заполночная тишина, когда даже собаки не брешут, спят, и только майские жуки да медведки в торопливости поиска подруг снуют мимо лица, обдавая щеки ветерком и пронося суетное жужжание мимо ушей.

«Выхожу один я на дорогу, — припомнил Андрей стихи поэта-дворянина, —

Сквозь туман тернистый путь лежит.

Степь тиха. Пустыня внемлет Богу,

И звезда с звездою говорит...»

В этот момент Андрей покачнулся на носках — и неожиданно обнаружил в кармане брюк тяжесть.

«Ключ! — вспомнил он. — Ключ от сейфа!»

Ночь... ключ в кармане от сейфа, что находится в какой-то полусотне шагов...

Андрей направился в огород. Перелез через плетень, ощупью нашел дверь в сарай, вошел и стал шарить по стене руками, ругая себя за то, что поторопился, не зашел домой за спичками. Наконец, палец нашупал дырку. Перехватил ее другой рукой, достал ключ и воткнул его вместо пальца. Провернул раз, другой, почти не ощущая сопротивления замка... потянул ключ на себя.

Дверь распахнулась тяжело, со скрипом. Спящий во дворе Полкан проснулся и взбрехнул.

Андрей просунул руку в щель — ничего. Но рука до задней стенки сейфа еще не достала. Пришлось распахнуть дверь пошире.

Снова скрип — и снова лай Полканы.

Верхняя полка оказалась пустой...

Вторая... тоже...

Третья... тоже ничего...

Соседские собаки ответили Полкану слаженным брехом.

Пролазил по всем трем полкам... ничего.

Разочарование оказалось столь сильным, что Андрей с силой ударили ладонью о дверь — и та, скрипя и повизгивая, ударила в косяк с такой силой, что зашатались стены пристройки, а ключ, звякнув, упал.

Собаки устроили концерт: «Ату! Держи! — как бы кричали они. — В нашем квартале вор!.. А где это?.. Не твое дело — сами поймаем!»

Андрей присел, похлопал рукой по земле, ключа не нашел, и, то ли испугавшись лая, то ли повинувшись ему, вскочил на ноги и быстро вышел из айтиевского сарая. Перемахнул через плетень, пересек огород и уже по тропинке от уборной пошел медленно, вразвалку.

В соседском дворе мелькнул свет фонаря. Уже на подходе к свинарнику увидел Айтиева.

— Андрей, ты? — крикнул сосед.

И свет ударил стажера в лицо.

— Я.

— А мне показалось, что кто-то в сарае у меня. Не видел никого?

— Не, — ответил Андрей и, погладив себя по животу, объяснил. — Медвежья болезнь. А ударяет аж в голову.

Айтиев довольно гоготнул, пошутил по-казахски, спросил:

— Документы подготовил?

— Все написал, товарищ Айтиев, — ответил Андрей, щурясь от бьющего в лицо света. — До последней буквы.

Айтиев опустил фонарь. Глаза Андрея теперь не видели ничего, в зрачках засели желтые пятна.

— Утром принесешь, — проговорил Айтиев. — А чего рано из кабинета ушел?

— Да так... — смущился Андрей, моргая часто не столько для того, чтобы быстрее привыкнуть к темноте, сколько, чтобы скрыть смущение. — Надо было.

Айтиев опять заржал — и смех этот показался Андрею на этот раз пакостным.

— А ты молодец, — сказал Айтиев. — Видел я твое «так». Не теряешься. Окошко ей показывал?

— Что? — не сразу понял Андрей. Глаза его уже различали и контуры фигуры начальника, и освещавший им обоим ноги фонарь. Тогда уж вспомнил про хауз с проститутками за окном своего кабинета — и покраснел, радуясь, что лица его Айтиев не видит.

— Нет, что вы... — сказал. — Мы в синематограф пошли.

— Это правильно, — одобрил Айтиев. — Но будь с ней осторожней. Мало ли что...

— А что? — удивился Андрей. — Почему осторожней?

— Потому что осторожней, — «пояснил» Айтиев. — Иди спать. Завтра тяжелый день. Так, говоришь, никого в моем саду не видел?

— Нет.

Андрей, забыв о разочаровании, вызванном пустотой сейфа, поплелся домой.

Думал лишь о Лене. Почему ее надо опасаться? Зачем?

14. ЕЩЕ РАЗ О ЛЮБВИ

Утром Андрей зашел в кабинет, достал папку со вчера написанными документами, сунул туда листки, написанные дома ночью, отнес в кабинет Бахыту Айтиевичу.

Айтиев взвесил папку в руке, сказал с уважением в голосе:

— Ого! Умеешь работать.

— Служу трудовому народу! — гаркнул Андрей и, увидев поощрительную улыбку в устах начальника, спросил. — Бахыт Айтиевич, скажите, пожалуйста, где тут коммутатор?

— В другом здании, — ответил тот. — На Ленина. Что — по Леночке соскучился?

Андрей вновь почувствовал, что краснеет.

— Придется подождать, — сказал Айтиев. — Постановления на аресты все подготовил?

— По списку, — ответил Андрей.

— Правильно, — согласился Айтиев. — Что даром бумагу переводить. Ставь галочки.

Вынул из папки бумагу, глянул на свою подпись на ней, на печать, кивнул с удовлетворенным видом, протянул ее Андрею. Назвать это иначе, чем проявлением доверия, было невозможно. И Андрей покраснел, как от сказанной вслух похвалы.

— Сегодня же подпишу приказ о переводе тебя из стажеров в сотрудники, — сказал Айтиев. — Так что, бери машину, двух конвойных — и вперед.

Дежурка с конвойными располагалась во дворе. Андрею еще не приходилось быть там. Он вышел через свежепрорубленную дверь в торцовой стене и обнаружил огромный, залитый солнцем плац. Кое-где еще торчали пеньки плодовых деревьев,

а в углу, возле длинного дощатого сортира, приютилась беленая мазанка. Возле нее на скамейке сидели трое конвойных и резались в карты. От мазанки к забору у публичного дома вела широкая и глубокая траншея. Бока ее были облицованы бутовым камнем и приподняты на полтора аршина над поверхностью. Рядом лежали груды связанных в плиты тростника.

— Это зачем? — спросил Андрей, подходя к конвойным.

Он знал, что если траншею прорыли для строительства продуктового склада, то стены должны быть не каменными, а саманными, ибо тот зимой греет, а летом ступит, а от камня можно зимой и переморозить все.

— Умник, — огрызнулся один из конвойных. — Склад у нас вон где, — показал в противоположный угол двора, где виднелась длинная землянка с двумя дощатыми трубами на крыше и огромной дверью с несколькими запорами и двумя массивными замками. — А это — тир.

— Тир? — удивился Андрей.

В Ташкенте тоже водили их курс на стрельбища и в тир. Он даже заработал там оценку «удовлетворительно». Но то было большое каменное здание с опять-таки саманной стеной, чтобы боевые пули не рикошетили, впивались в глину. Рассказывали, что предыдущий курс во время субботника как раз занимался тем, что соскребал старый саман и, замешав новый, наносил его на стену.

— Ну да, — услышал ответ. — По движущимся мишеням.

— Двуногим, — гоготнул другой.

И хоть Андрея шутка эта не касалась, он почувствовал холодок страха под кожей.

Он протянул конвойным листок с постановлением об арестах и спросил, кто из них пойдет с ним.

Согласились все трое. Но вдруг один спросил:

— Реквизировать будем?

— К-как? — не понял Андрей.

— Имущество арестовывать будем?

— Н-нет, — запнулся Андрей. — Имущество не будем. Только людей.

— Тогда я не иду, — быстро сказал задавший вопрос конвойный и, уставив палец в менее расторопных сослуживцев, заржал довольно. — Га-га-га! Без меня.

Разом сникшие конвойные стали собираться: застегнули гимнастерки, поправили ремни, убрали складки с животов, огрызнулись на оставшегося и, прихватив винтовки, пошли за Андреем.

Машина их уже ждала. Не айтиевская, конечно, а грузовик. Только вместо кузова при нем был железный ящик с зарешетчатым окном и дверью на замке. Конвойные влезли внутрь, Андрей сел в кабину. Поехали.

Первым взяли соседа Костиковых. Бедняга с испугу надел поверх рубахи кофту жене. Что-то залепетал по поводу ошибки, заглядывая Андрею в глаза и все пытаясь напомнить ему, как пару лет назад выписал семье Аниотиных арбу саксаула вне очереди.

Андрей молчал и смотрел мимо.

Потом арестовали лавочника с Мучного базара. Этот и не помнил даже Андрея. Зато Андрей и по сию пору не мог забыть, как три года назад, во время постоя буденовцев (в тот месяц были выделены работающим талоны на товары первой необходимости, которые обязаны были отоваривать и частные лавочники) этот самый толстяк отобрал у него восемь талонов вместо положенных трех, а когда Андрей возму-

тился, позвал милиционера — и тот отдубасил его почем зря, заставив даже сказать спасибо за то, что не арестован, и, отобрав два из двенадцати фунтов хлопкового масла, послал ко всем чертям.

Надо ли удивляться, что третьей жертвой стал именно тот милиционер. Огромный уйгур попытался оказать сопротивление, крича о честности своей и о том, что знают его в самом Верном, но получил прикладом в затылок, успокоенно хрюкнул и, закрыв глаза, рухнул лицом в землю. Пришлось поднимать борова и затаскивать в кузов с помощью арестованного лавочника. Тот отдувался, пыхтел, что-то жалобно лепетал, но работал добросовестно — и машина уйгурского тела распласталась на полу фургона.

Четвертым арестовали Беспалова. Того вызвали из цеха через буфетчицу в тот самый красный уголок, где собрание комсомольцев рекомендовало Андрея в ОГПУ. Сергей пришел голый по пояс, в кожаном фартуке, вонючий, как козел. Увидел Андрея, широко распахнул руки для объятий, но по пути так и застыл от холодных слов товарища:

— Гражданин Беспалов! Вы обвиняетесь в участии в белогвардейской организации, действующей в городе с целью свержения советской власти!

— Ты что — одурел? — изумился Беспалов, и опустил руки., — Какой организации? Ты о чем?

Андрей молча протянул ему постановление об аресте и карандаш.

— Распишитесь здесь.

— Зачем?

— Что ознакомлены.

Беспалов прочитал бумагу, криво улыбнулся, черкнул парубукв в указанном месте.

— Глупость какая-то, — сказал при этом. — Ничего не понимаю.

— Поймете, гражданин Беспалов, — сказал Андрей казенным голосом. — Пройдите с товарищами в машину, — и указал на конвойных.

Беспалов покорно встал между двумя людьми с винтовками.

Пути назад у Андрея уже не было... Лена... Леночка... Леночек...

Остальных десятерых из списка арестовали столь же споро. Но так как пришлось возить их в машине четырьмя партиями, а одного продавца госмагазина пришлось брать прямо на похоронах, то времени на аресты потратили порядком. Остались все трое без обеда, а последнюю партию доставили в изолятор уже к шести часам.

Расписавшись у коменданта в передаче арестованных, Андрей бросился в свой кабинет. Крутил ручку телефона.

— Алло! — прокричал, — Леночка?

— У Леночки выходной, — услышал другой женский голос. — Она сегодня не работает.

— Как выходной? — ужаснулся Андрей. — Она сама сказала.

— Да мало ли что... — проворчала телефонистка. — Это для меня — дисциплина, а она — как захочет... — голос ее стал пропадать. — А кто звонит-то?

Андрей закрутил ручку.

— Андрей Анютин, — представился он. — Новый сотрудник.

— А-а-а... — услышал. — Это ты в церковь звонил? Соединить?

— С кем?

— Ну, с Леночкой.

— У нее есть телефон? — удивился Андрей.

— Даты что — с луны свалился? — ответила телефонистка, и тут же в трубке что-то защелкало, зазвенело, потом загудело.

— Да, — услышал Андрей мужской голос, — Левкоев слушает.

Какой Левкоев? Неужто сам первый секретарь укома?

— Леночку можно? — чуть ли не пропищал Андрей, услышав столь могучий, привыкший повелевать бас.

— А кто спрашивает?

— Андрей.

Прошла целая минута тишины, в течение которой Андрей сумел оценить всю глубину и бесмысленность своего поступка.

— Аиньки! — услышал в трубке голос Лены. — Ты, Андрюша? Как меня нашел?

— Я... я хочу видеть тебя, — выпалил Андрей.

— Зачем? — спросила она с явным лукавством в голосе.

— Я... — замялся он, — Я... — и решился, — Я люблю тебя.

Счастливый смех стал ослабевать.

Андрей бешено закрутил трубку — и связь оборвалась.

15. ПРОЩАЛЬНАЯ

Утром пошел Андрей на работу пешком. Хотелось пройтись, подышать свежим воздухом, развеяться перед допросами.

Вчерашний вечер весьостоял через дорогу напротив Леночкиного дома, прятясь в кустах шиповника. Раз оступился — и по колено провалился в жижу на дне арыка. По-собачьи отряхнулся и, представив какой смех вызвало бы его поведение у Леночки, увидь она его за этим занятием, вновь затаился.

Высокий крупнооконный дом стоял в глубине двора. Отсюда ему был виден лишь ладно скроенный и аккуратно выкрашенный зеленой краской забор, красные ворота с одной калиткой в одной из половин, и впридачу то и дело выглядывающий из нее красноармеец с винтовкой.

Вошло в дом два человека, а вышел один.

Который не остался в доме, прибыл вторым, почти незаметно. Шел мимо дома, и вдруг раз — свернул в калитку. Если бы Андрей так пристально за той калиткой не наблюдал, он бы не понял, что отец Борис (а завернувший в дом был именно он) шел по этой улице специально для того, чтобы на полчаса посетить этот дом. Так же внезапно появился за спиной выглянувшего красноармейца и, выскользнув из калитки, проследовал по улице дальше, словно не отлучался с нее никуда.

Второго (то есть того, кто вошел первым) привезла машина. Огромный «студебеккер» протарахтел по центру улицы, разогнав клюющих конский навоз кур, замер у ворот, кашлянув сизым дымом. Из него вышел могучего сложения мужчина. Андрею вспомнился голос по телефону, позвавший Леночку к телефону, сопоставил с пассажиром «студебеккера» — соотносится: те же солидность и уверенность в себе.

Красноармеец взял на караул.

Значит, он живет здесь? А кто Леночка?.. Его дочь?.. Жена?.. Любовница?..

«Студебеккер» чихнул пару раз, покатил от дома прочь.

Если жена, то почему в прошлый вечер красноармеец не встал перед ней смирно? А как вытягиваются при дочери?

При любовнице, конечно, не вытягиваются... Хотя, смотря какая это любовница. На курсах рассказывали, что любовница товарища Куйбышева красноармейцы вносили туфли в зубах. Да что там солдаты! Перед ней, говорят, сам начальник республиканского уголовного розыска голый плясал — очень нравился барышне его поджарый зад.

Так кто же Леночка этому великанию? Дочь? По соотношению возрастов — вполне может быть. Тогда почему товарищ Айтиев советовал ее опасаться? Как она сказала при расставании? «А ты тикай! Тикай побыстрей!» Как будто боялась, что увидят их вместе. В городе не боялась, в кинематографе не боялась, а тут... Страх, свойственный скорее любовнице... Или жене...

Так кто же она? Кто?

Думал Андрей об этом до тех пор, пока сквозь мрак ночи не сумел уже разглядеть даже ворот дома. Свет же из окон, бьющий сверх забора, был явно электрическим — от керосиновых ламп так не светит. Когда же выключили и его, понял, что выхода Леночки он не дождется, пора уходить.

Ночью не спалось. Зажег лампу, стал читать письма учительницы-эсерки невесть кому:

«Острова не возникают из воды, как, казалось бы, должны существовать они от веку, а словно сверху посажены каким-то исполином в воду. Океан на них влияет, но он им — родной. У островов своя жизнь, свой уклад, свой строгий ритм и заведенный порядок.

Между землей и водой нет внешней борьбы, и та, и другая — закономерность и порядок. Одна устремляется вулканами к небу, другая бескрайня и велика в своей невообразимой глади.

И все же идиллия не вечна. Слышатся штормы, тайфуны, цунами — и отступает океан от берегов, собирается в одну гигантскую морщину, в водяную гору, мчит, огромным пенистым валом вздымаясь под небеса, ко всем тем же островам, ставшими вдруг утыкающимися и испуганными, бьет всей массой в искореженный гранит, ломает и корежит корабли, дома, военные укрепления, разбрасывает на десятки километров вокруг человеческий скарб, обдаст брызгами вершины даже самых высоких сопок, где прячутся от гнева воды скопища обезумевших от страха людышек, чтобы затем снова вернуться в океан, но уже не с разбойничьей лихостью и веселой отвагой, а с воровским желанием забрать все разрушенное, вторично растерзать и упрятать в своей утробе, соскребнуть на дно.

И то ли груз награбленного океану не по плечу, то ли насытившее брюхо его требует сна, но только всякий последующий вал становится слабее предыдущего — и вот лишь маленький прибой притворяется, что больно стучит о гранит, да жалобные крики птиц, вернувшихся к смытым гнездовьям, напоминают о недавнем разбое.

И люди возвращаются на берег, спускаются вниз, собирают оставшуюся утварь и стараются не смотреть на Тихий океан, который по-прежнему тих. А острова все так же спускаются с неба, вонзаются в воду, стоят ровной строчкой, перекуриваясь между собой дымами незатухающих вулканов...»

Странная женщина. У нее муж умирает от чахотки, а она описывает цунами. Ей бы учебники по географии составлять, а не в революцию играть... С этими мыслями Андрей уснул.

А утром, наскоро позавтракав, пошел на работу пешком. Очень хотелось поскорее попасть в кабинет и позвонить на коммутатор, узнать — вышла сегодня на работу и не заболела ли Лена. А еще проще — хотелось ему услышать ее голос.

Ибо сообразил, проснувшись, что любовницей Левкоеву она быть не может. Об этом знали бы в городе все. А знали бы — ни телефонистка, ни Айтиев — зря бы о таком не болтали. А болтали — говорили бы совершенно иным тоном.

И женой первого секретаря укома партии она быть не может. Айтиев бы о таком сразу сказал. И красноармеец, увидевший их поцелуй позапрошлой ночью, сразу бы донес о них Левкоеву, и результат сказался бы вчера.

Дочь она — и больше никто! А это значит, что полоса везения продолжается! Он влюбился в дочь самого главного человека в уезде! И она его любит! Иначе бы не целовалась!

Придя в кабинет, Андрей пошел не к телефону, а почему-то к окну. Сдернул газету.

Около хаузы было пусто. Валялись пустые бутылки из-под водки и ситра, кусок платья красного шелка, а может и не платья, а просто материала такого кусок, но хотелось все-таки, чтобы было это платье. Рядом — мусор из ярких оберточек, объедки хлеба и колбасы, между которыми с солидной важностью ходили черные птицы — грачи, должно быть. Потухшая керосиновая банка на боку.

Ночь, по-видимому, в блудилище прошла весело. Те, кого Андрей хотел здесь увидеть с утра, сейчас отдыхали.

Может, Леночка вышла на работу? В какое время у нее начало смены? Надо будет спросить.

Сел за стол, достал из кармана письмо с Курильских островов, положил перед собой...

Позвонить или пока еще рано?

На подоконник села птица. Яркая, многоцветная. Зимородок. Почему здесь? Она должна жить у воды. И как попали письма эти в тайник бывшего дома дяди Паши? Зачем старик их хранил?..

«... море волнуется само по себе. Тихий океан действительно тих. Но не без волн. И ветра нет, а вода бугрится. И от того нет впечатления, что океан — это просто гигантская лохань. И вода в нем живая, не мертвая, ясно ощущаешь свою сопричастность с ней. Она пугает... нет, напротив — волнует, зовет, заставляет изнемогать от мысли, что невозможно навеки слиться с нею, раствориться в ней...»

Красиво. Положительно, в учительнице этой погиб поэт.

Погиб?

Слово это заставило Андрея вздрогнуть. Он вдруг отчетливо понял, осознал, что автор этих строк обречен на муки и смерть. Эта революционерка, мужественная и талантливая женщина, будет непременно признана шпионкой и расстреляна.

И это — дело его рук. Бумаги, что он сам написал и передал Айтиеву — вот и все «улики», благодаря которым она будет уничтожена. В них, как он знал сам, знал товарищ Айтиев, не могли не знать товарищ Дзержинский, товарищи Зиновьев и Рыков, не было и не могло быть ни слова правды, но они уже приобрели такую силу, такую мощь, что для того, чтобы спасти Мюллерову, одного заступничества товарища Зиновьева будет недостаточно. Она обречена.

Обречена...

Андрей достал спички, поджег одну страницу письма Мюллерову с Курил, вторую, третью...

Когда догорал последний, шестнадцатый, лист, в дверь кабинета постучались.

Андрей бросил папку поверх пепла, сказал:

— Войдите.

На пороге стояли двое конвойных — те самые, с которыми вчера Андрей ездил по адресам «участников белогвардейского подполья». За их спинами виднелось раскаптанное лицо Айтиева.

Андрей взглянул на их лицо и не удивился уже словам Бахыта Айтиевича:

— Гражданин Аниютин, вы арестованы. Сдайте личное оружие и следуйте за мной.

Андрей отстегнул кобуру с пистолетом и повесил на спинку стула. Потом сел за стол и достал из ящика постановление об аресте.

— Сам впишешь? — улыбнулся Айтиев, подходя к столу и взяв пистолет. — Правильно.

И пока Андрей вписывал свою фамилию и свое имя в документ, Айтиев покрутил телефонную ручку, назвал известный Андрею номер и стал говорить:

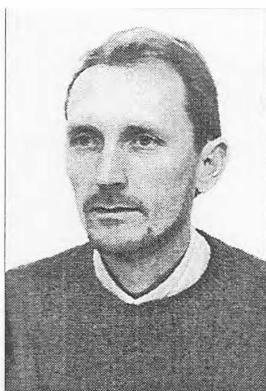
— Товарищ Левкоев, здравствуйте... Да, Айтиев... Арест проравшегося в органы ГПУ белогвардейского наймита Аниутина произведен мною лично... — принял хался, быстрым взглядом обежал всю комнату, скинул свободной рукой папку со стола, обнаружив пепел от сожженных бумаг. — Компрометирующие документы успел сжечь до ареста... Нет, пепел еще теплый, — и после почтительно выслушанного ответа, бодро прореагировал. — Служу трудовому народу!

Андрея вывели в коридор.

Машинистка, вышедшая в противоположный конец покурить у форточки, смотрела на него унылым немигающим взглядом. Дежурный у входа во внутренний двор сидел на скамейке и, не обращая ни на кого внимания, елозил палочкой по ногтям.

Солнце ударило в глаза Андрею и заставило зажмуриться его.

Когда же он глаза открыл, то увидел, как четыре арестанта укладывают камышевые маты впритык к торцовой стене подземного тира. Через день-два крыша будет готова, и тир примет первых посетителей.



Иоганн БЭР

Бонн

ДАТЫ ВСЕГДА ПРИГВОЖДАЮТ К СУДЬБЕ...

Иосифу Б.

Еще раз этот стих вдохнуть всей грудью

и больше никогда не выдыхать.

Потом придут сюда чужие люди

и будут здесь чужой роман читать.

Ты болен был. Душа еще раз спросит,
куда спешил твой ангел, бросив тень,
оставив на билете лишь: Иосиф
и дату полностью: год, месяц, день...

Я брел домой и в колокольном звоне
мне слышался торжественный твой стих.
Последней осенью ты был проездом в Бонне,
в судьбе моей оставив вечный штрих.

Такого больше никогда не будет.
И я не перестану повторять:
как хочется вдохнуть твой стих всей грудью,
и больше никогда не выдыхать.

03.1996

* * *

даты всегда пригвождают к судьбе
будто из вечности клок вырывая
жизнь на две части собой разделяя
после и до говорим мы себе
даты бывают со смыслом и без
добрье даты и роковые

нет повторений все в жизни впервые
каждое слово из сыгранных пьес
каждая нота звучала однажды
штрих на картине явленье одно
все это просто и ясно мне но
как я порой повторения жажду

25.03.1996

* * *

Я к ночи забвения снова прошусь на постой
старухой с клюкою сомнения тащится вера
рыгает огнями рекламными город пустой
где жизнь заразилась
как СПИДом нелепой химерой
дождь брызжет в лицо
я опять против ветра стою
у друга нетопленый дом и я насморк хватаю
весь день напролет зло отраву стаканами пью
с весельм азартом с судьбою я в покер играю
тетрадь на столе как наивная женщина ждет
но я импотент
и во мне задохнулись все страсти
и даже во сне я которую ночь напролет
никак не найду
мной потерянный ключик от счастья
разбудит меня своим криком мясник-каннибал
он правда ест мясо
отсюда столь меткая кличка
я так просыпаться вставать и пить кофе устал
что просто порой игнорирую эту привычку
ну ладно последнюю в баре шаром покати
я вовсе не пьян
пусть другие ругают напился
я просто
смертельно устал быть так долго в пути
и к ночи забвения сам на постой напросился

* * *

Сердитой дробью серого дождя
стучится новый день в мои ворота.
И не впустить его, увы, нельзя.
И я впускаю, хоть и неохота.

Мой крепкий кофе и холодный душ
ненужным делом громоздятся в штабель.
А зеркала огромных грязных луж
смеются дрожью падающих капель.

Я весь промок. Как мог я зонт забыть?
Автобус не идет. Такси не видно.
Зачем в такие дни, скажите, жить?
Зачем из дома выходить? Ведь очевидно,

что все, что ни начнешь, зальет дождем.
Все встречи превратятся в лужи, в лужи.
Когда сырой июнь совсем простужен,
напрасно мы, как чуда, лета ждем.

06.1996



Нина РУДНИЦКАЯ

Мюнхен

СОСЕД

РАССКАЗ

В маленьком баварском городишке Нойкеферлоо, в пригороде Мюнхена, который ничем особым не отличался от множества других баварских городков, с их тихими улицами, уютными добродушными, частными домиками, аккуратно ухоженными двориками, было необычно празднично и оживленно — все готовились к рождественским торжествам. Каждая семья по традиции устанавливала в своем садике елку, пихту или сосну, украшая ее мигающими лампочками, пекла рождественские печенья, создавала макетики со сценками рождения Христа. Подготовка к празднику заставила всех жителей городка забыть на время о своих личных проблемах, неприятностях, вражде к ближнему и сосредоточиться на поисках подарков для своих детей, поздравительных открыток близким и дальним родственникам, знакомым и соседям. Хозяйки готовили по старинным бабушкиным рецептам рождественского гуся.

Единственным исключением, пожалуй, был господин Видершпрух. Худощавый, сутулый, седой, с глубокими морщинами старик постоянно возился в своем садике при любой погоде, во все времена года и, казалось, никаких праздников для него не существовало. В городе о нем ходила недобрая слава, как о скандальном, неуживчивом, непримиримом человеке, ищущем со всеми ссор. Его все избегали и старались не иметь с ним никаких дел. Никто о нем ничего не знал и никто им не интересовался. Он же, напротив, интересовался всеми и знал обо всех все. От его «недремлющего ока» ничто не ускользало. Не было в городе человека, которому бы он не «насолил», начиная с рядом живущих соседей, почтальона, мусорщика, продавцов и кончая бюргермайстером города. Соседи справа и слева от него отгородились высокими каменными заборами, пытаясь спрятаться за ними от его «всевидящего глаза», но, по-видимому, он видел сквозь стены.

Нельзя сказать, что он был груб или невежлив, но его прямолинейность, категоричность и насмешливая манера делать замечания вызывали у всех раздражение, недовольство, враждебность и даже ненависть к нему. Старик подолгу стоял у калитки, опершись о нее всем туловищем, тоскливо и скучно смотрел вдаль, ожидая очередную жертву, и жертва непременно появлялась. На этот раз ею оказалась госпожа Шмид, живущая в последнем доме, как раз перед лесом. Старик оживился, в глазах появился озорной блеск. Приподняв слегка свою баварскую шляпу и растянув губы в широкой улыбке, он остановил проходящую мимо соседку:

— Добрый день, госпожа Шмид. С наступающим праздником. Кстати, ваша часть тротуара со стороны улицы не почищена от снега, а это непорядок.

— Когда у меня будет время, тогда и почищу. Вас это абсолютно не касается. Никто не просит вас туда ходить, — недовольно ответила она.

— Я туда и не хожу, а вот ваша восьмидесятилетняя соседка ходит мимо вашего дома в лес прогуляться, и, если она на вашем участке подвернет ногу, я буду у нее свидетелем против вас, — не переставая улыбаться, пригрозил господин Видершпрух.

Госпожа Шмид, не найдя что ответить, молча побрела домой, ругая в душе старика, взяла лопату и начала убирать снег с тротуара.

— С наступающим праздником, господин Мюллер. Что же это вы свою собачку ведете гадить под чужие калитки, а не под свою? — с каким-то внутренним удовольствием обратился господин Видершпрух к прогуливающему собачку соседу.

— Покажите, где моя собачка у вас под калиткой нагадила? — возмутился сосед.

— Я и не сказал, что у меня. Ваша собачка у соседей Гайснер нагадила вчера, а вы не убрали, — невозмутимо парировал дед.

— Вот они мне и скажут, а вы тут ни при чем, — кипятился сосед, еле удерживая на поводке собачку.

— Они люди деликатные и не хотят с вами портить отношения, а мне все равно. Я и к бюргермайстеру не поленюсь сходить, чтобы на вас штраф наложили, — наслаждался беседой старик.

— Но это же животное! Я же не моту ему приказать, в каком месте оно должно сделать свои дела!

— Тогда носите совок и целлофановый кулек с собой и, после того как ваша собачка сделает свои дела, уберите за ней. В Канаде все хозяева собак так делают. Почему ваши соседи должны за вашей собачкой убирать, а вы нет?

Господин Мюллер хотел что-то ответить, но собачка с такой силой потянула поводок в его руке, что он еле удержался на ногах, махнул с досадой рукой и побежал вслед за ней.

Старику везло сегодня на встречи с соседями. Вот и сейчас чинно приближался с министерским портфелем в руке супруг госпожи Шмид. Увидев стоящего у калитки деда, он поспешил на другую сторону улицы, но...

— С наступающим праздником, господин Шмид! — громко остановил его старик. — Я вчера ваше выступление от имени партии Зеленых по телевизору смотрел. Прекрасно говорили о бережливом отношении к природе, о загрязнении водоемов и окружающей среды. А ведь сами же и загрязняете природу: ядовитые краски в канализационные решетки выливаете и весь мусор строительный от ремонта своего доминочью в лес выбираете. Кто же будет за вашу партию голосовать после этого?

Господин Шмид оторопело уставился на старика, потеряв на некоторое мгновение дар речи, но профессиональная привычка выдерживать все атаки журналистов помогла ему тут же собраться с мыслями.

— Вы ошибаетесь, господин Видершпрух. Я ночью сплю. Вы меня с кем-то спутали. Это бывает. Ночью все кошки серые, — снисходительно улыбнулся господин Шмид.

— Нет, не спутал! Я вас хорошо разглядел в бинокль ночного виденья, который я купил на фломаркте у русских. Я не поленился и сразу же посмотрел, что вы вылили в канализацию, взял пробу. Это оказались ядовитые краски.

Зеленый партиец густо покраснел и от негодования чуть было не пожелал старику купить на фломаркте у русских автомат Калашникова и застрелиться, но опять-таки профессиональная привычка заставила его сдержать свой пыл, и он уже более миролюбиво, но осуждающе стал корить старика:

— Ну что вы за человек?! Что вы все время лезете не в свои дела и людям жизнь отправляете? Настроение перед праздником портите?

— Не травите природу и я не буду травить вас. Если мы все так поступать будем, то нашим детям в наследство мы оставим больную и голую землю, — нравоучительно возразил старик.

— У вас же нет детей, что же вы так о земле заботитесь?! — спросил старика господин Шмид, скрывая за улыбкой свою неловкость.

— У меня нет, а вот у вас есть и ваш пример не очень хорош для них, — ответил спокойно стариик, приподняв, прощаясь, свою шляпу.

Прошли все праздники. О них остались одни воспоминания. Отшумели новогодние фейерверки, салюты, карнавалы. Закончились зимние каникулы, и школьники приступили к занятиям с усердием и прилежанием, помня о своих обещаниях Николаусу. Жители городка вернулись к своим повседневным будничным заботам, хлопотам и житейским проблемам. Господин Видершпрух соскребал деревянной лопатой с тротуара талый снег и вдруг увидел проезжающую на велосипеде соседку, живущую справа, обладательницу высокого каменного забора. Она сделала вид, что не заметила старика, проехала мимо, завернула в свой дворик и стала выгружать корзину с покупками. Стариик оживился, выпрямился, отложил в сторону лопату и поспешил вслед соседке.

— Добрый день, госпожа Вилд. Можно вас на минутку? — окликнул он ее.

Соседка, держа корзину в руках, подозрительно посмотрела на него, но он не дал ей ответить и приступил к делу.

— Николаус подарил вашему сыну лук со стрелами, и, как я наблюдаю, он стреляет не в щиток, который вы ему к дереву подвесили, а в живность, в основном, в птиц.

— Неправда! — перебила его госпожа Вилд. — Мой мальчик стреляет только в щиток!

— Нет, правда! А вчера ваш мальчик выстрелил в пробегающего по улице кота господина Шмид и сильно ранил его. Если вы не научите своего сына любить живое, то он в скором времени будет целиться и в вас.

— Что вы такое говорите?! Ребенок целился в дерево, он совершенно случайно попал в кота, — испутанно оправдывалась соседка.

— Я видел, что он преднамеренно стрелял в кота и, если дело коснется суда, подтвердю под присягой, — твердо ответил стариик.

Казалось, эти неприятные для соседей разговоры были его единственным развлечением и общением с ними. Он искал людей, чтобы очередной раз испортить им настроение и вызвать неприязнь к себе. Ни высокие заборы, ни затворы, ни ответственные посты не спасали от этого назойливого вредного старца. Его появление в кабинете бургомайстера не предвещало ничего хорошего и настораживало. После короткого приветствия стариик начал по существу.

— Что же вы, господин бургомайстер, так необдуманно и не по-хозяйски общественными деньгами разбрасываетесь?

— Кто вам сказал, что мы деньги употребили на ненужные дела? — мягким голосом возразил господин бургомайстер, предлагая жестом старику сесть. — Все решения принимает община, и я один ничего не решаю, но общественные деньги мы используем только на нужды города.

— Вы хотите сказать, что построили детский садик и достроили школу? Мамаши возят своих детей в другие ближайшие городки, потому что наш бургомайстер заботится больше об удобствах зайцев в лесу, чем о своих гражданах, да еще с таким размахом! Построить бетонный мост, выдерживающий многотонные танки, в никуда, вернее в Нойкеферловский лес к зайцам! Миллионы выброшены на этот ненужный никому мост, а наши детки остались без садика. Какой же вы после этого хозяин общины? Нет, я за вас больше голосовать не буду.

— У вас же нет ни детей, ни внуков, господин Видершпрух. Зачем вам все это надо? Если вам нужна помощь, община вам поможет, — откинувшись на спинку стула со вздохом произнес бургомайстер.

— Спасибо, мне помочь не нужна. И детей у меня нет — это верно, а вот у моих соседей по улице почти в каждом дворе дети и все имеют одну и ту же проблему — как

устроить в садик ребенка. Я бы на вашем месте, господин бюргермайстер, ушел в отставку. — Старик не стал ждать ответа господина бюргермайстера, приподнял, прощаюсь, шляпу и вышел из кабинета.

На следующий день весь город говорил о старике, бюргермайстере и о «зайцевой дороге». Вскоре господин бюргермайстер ушел в отставку, но «заячья дорога» так и продолжает существовать, как нелепая достопримечательность Нойкеферлоо.

Семейство Вилд, соседи справа от господина Видершпруха, продали свой дом и уехали в другой город (по неизвестным причинам, очевидно, к более приятным соседям), и вскоре в этом доме поселилась большая семья с бабушкой и дедушкой, папой и мамой, пятью детьми, взъерошенной собакой неизвестной породы и рыжим котом. Господин Видершпрух стоял, как обычно, у своей калитки и наблюдал за въезжающими новыми соседями.

— Здравствуйте, сосед, — поприветствовал издали отец семейства господина Видершпруха.

— Здравствуйте, сосед, — повторили все члены семейства, включая и шепелявого трехлетнего карапуза, несущего в дом поперек живота рыжего кота.

Господин Видершпрух молча приподнял шляпу и поприветствовал ею въезжающих соседей.

Жители улицы вздохнули с облегчением: наконец-то появилась новая жертва, и несносный дед оставит всех остальных, хотя бы на время, в покое.

Вскоре весь город с удивлением узнал, что новые соседи развалили до основания высокий каменный забор, и нелюбимый всеми дед стал частым гостем в их доме. Дети вновь прибывшего соседа помогали старику во дворе и по хозяйству, а в свободное от работы и занятий время играли с ним в различные настольные игры. Оказалось, что у старого Видершпруха уже несколько лет парализована жена, за которой он все эти годы добросовестно и терпеливо ухаживал, и теперь жена нового соседа помогает ему в этом. А главное, он почувствовал себя кому-то нужным — он стал членом этого большого семейства, где его понимали и общались с ним с удовольствием. Он оказался интересным человеком и прекрасным собеседником.

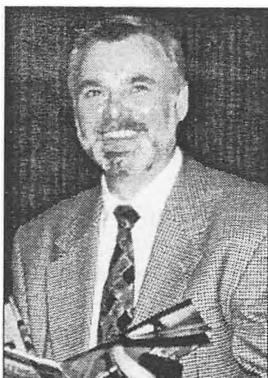
Наступили рождественские праздники, и весь город, как и во все предыдущие годы, тщательно готовился к ним. К новым соседям постучал Николаус, с длинной белой бородой, в красном длинном пальто, с посохом и с большим мешком за спиной. Радостная и шумная гурьба детей обступила его в ожидании сюрпризов и подарков, рассказывая ему стишкы, сказки и даже маленький трехлетний Ханс спел песенку. Николаус, припомнив каждому из детей о совершенных ими шалостях, взял с них слово в новом году вести себя хорошо и раздал долгожданные подарки.

Когда Николаус вернулся домой, в соседний двор, он обнаружил на ступеньках целлофановый кулек, в котором лежали упакованные в красивую со звездами цветную бумагу подарки, поздравительная открытка от «Николауса» и приглашение в гости. Глаза старика засияли от счастья. Он поспешил с ним в дом, к своей жене.

— Посмотри, Мария, нам Николаус подарки принес, — смеясь говорил дед, вынимая из кулька пакетики и разворачивая их. — Это тебе мягкий плед, чтобы было тепло в коляске во дворе сидеть. Да тут и книга для тебя! Теперь не скучно будет, я буду тебе ее читать вслух.

Вот спасибо Николаусу, — хихикал старик, сощурив в улыбке глаза, и старуха, глядя на него, ласково улыбалась подаркам и удовольствию мужа, раскрывающего свой подарок.

— Ты только посмотри, Мария, какая красивая баварская кофта! Я о ней всю жизнь мечтал! Руками связана и я знаю чьими... — Он прижал ее к щекам, и на глазах его появились слезы. — Спасибо, вам, мои соседи-Николаусы..., — прошептал старик.



Вячеслав СУКАЧЕВ
Фрайбург – Хабаровск

УРОКИ ЖИЗНИ

РАССКАЗ

1

— Восстание Емельяна Пугачева явилось следствием ужесточения эксплуатации, — монотонно говорит Валентина Ивановна, как продолговатый приплюснутый маятник раскачиваясь вдоль черной доски. Ее красная кофта в черный горошек рябит у Коли в глазах, и он невольно сжимает веки. А от доски, как из глубокого сна, глухо доносятся слова учительницы:

— Невозможно было и дальше выносить все притеснения крепостничества, выражавшиеся порой в самой ужасной форме...

Голос учительницы все отдаляется, словно бы она вместе с классной доской медленно отъезжает на бесшумных роликах, а на смену ей появляется робкий синичий свист. Коля никак не поймет, где же это попискивают синюшки-повертушки, как называет он их, крутит головой и вдруг с облегчением видит высокую, пушистую березу, густо наперченную маленькими, серо-зелеными комочками, старательно и неумолчно поющими в один голос. А за березой, чуть оторвавшись от земли, медленно разгибается после сна большое, красное солнце, освещая маленькие, пухлые облака багровым светом. Синюшки-повертушки суетливо перелетают с ветки на ветку, вначале по одной, а потом сразу все вместе, и вскоре их шумный и веселый полет напоминает Коле карусель, которая кружит и кружит перед его глазами. И теперь уже больно смотреть на мельтешащих перед ним птиц, виски начинает ломить, и Коля отворачивается, но птицы вместе с березой, а за ними и солнце, вдруг пересекаются вправо, вновь больно бьют по его уставшим глазам...

— Галочкин, — откуда-то издалека, с другого конца земли, проникает в его сознание сердитый голос учительницы. — Ты слышишь меня, Галочкин?

Коля хочет вскочить и ответить учительнице, но, оказывается, что теперь он лежит на широкой маминой постели, придавленный горой чьих-то шуб и шапок. Коля очень боится пошевелиться, чтобы не уронить все это на пол. Из кухни к нему заглядывает красная и усатая физиономия с маленькими злыми глазами, протягивает руку и под шубой больно хватает его за хлипкое плечо.

— Галочкин! Да что же это такое? — вздыхает над ним Валентина Ивановна. — Проснись немедленно...

— А я и не сплю, — широко разевая стянутые сном глаза, как можно живее отвечает Коля.

— Что ты говоришь? — притворно удивляется учительница, и тишина классной комнаты вдоль и поперек разламывается от дружного смеха засидевшихся на уроке ребят.

— Повтори, в таком случае, — повышает голос, перекрывая смех развеселившихся учеников, Валентина Ивановна, — что я сейчас говорила?

Коля откидывает крышку парты, медленно встает и пристально смотрит на блестящую от черноты доску. Правая щека, на которой он спал, покраснела, в самом уголке широкого, мальчишеского рта, запекласьмутно поблескивающая слюна. Смешно и трогательно топорщится на затылке непокорный вихор.

— Емельян Пугачев, как руководитель восстания, — отчаянно шепчет с первой парты Валя Калинкин...

— Можешь не продолжать, — говорит ей Валентина Ивановна и неторопливо идет между рядами к своему столу. Под толстой вязаной кофтой спина ее кажется Коле необычайно широкой и уютной, как у бабушки. — Галочкин, садись, — вновь вздыхает учительница и закрывает тетрадь с конспектом. — И запомни, пожалуйста, завтра я тебя спрошу...

Коля не садится, а лишь часто-часто смаргивает, переводя взгляд на окно, за которым в холода и легко струящейся снежной крупе живет зима.

2

Обед. Проехал на колесном тракторе с тележкой для Ваня Зыкин, обронив на дорогу несколько клочков желтой соломы. Ветер, было, забрался в эту солому, ворохнулся в ней пару раз, поудобнее укладываясь, но, перепугавшись сухого соломенного шума, побежал дальше, взвихривая над тракторной колеей мелкие снежные пушинки. Низко пролетела горластая ворона, свесив между гибкими крыльями тяжелую голову. «Ух, кощей бессмертный! — сердито подумал ей вслед Коля Галочкин, все еще не простивший вороньему роду-племени трех заклеванных летом цыплят. — И летает, и летает, гадина, кого бы слопать высматривает». И он тут же начинает мечтать о ружье, которое у него обязательно когда-нибудь появится, и вот тогда он отомстит за маленькие, желтые комочки на тоненьких черных палочках-ножках, успевшие лишь то-ненько пискнуть в страшных вороньих лапах.

Тусклое солнце, едва пробивая снежную мглу, медленно вращается, словно глобус на стальной игле, зависнув невысоко над вершинами деревьев, свежо и празднично заляпанных снежными кляксами.

Но вот и береза, которую он видел во сне. Голая, серая, стоит она одиноко и высоко над землей, темнея старой, морщинистой кожей, по этим складкам и морщинкам любят летом бегать муравьи. Смешно смотреть на них и думать, что они играют в прятки. Но учительница говорит, что им не до игр — прокормить бы себя и своих детишек... Может, и в самом деле так, совсем как у людей, но тогда до чего же скучно им живется.

— Колька, ты чего рот разинул? — издалека кричит Валя Калинкина. — Опять домой не хочешь идти, да?

— Отвяжись, — хмурился Коля и, утопая валенками в снегу, сходит с тропинки, пропуская Калинкину.

— Влетит же, Коля! — сочувственно смотрит на него Валя.

— Не твое дело, — он отворачивается и независимо чертит сумкой по снегу.

— Ладно, — проходит мимо Калинкина, — только не забудь историю выучить, завтра учителька спросит.

3

Дома тишина. Коля раздевается, аккуратно ставит в угол подшитые валенки с кожаными напятыниками. Потом проходит в горницу, отдергивает старенькие, ситцевые занавески и сочувственно разглядывает свернувшиеся листья герани — опять мама утром открыла форточку и подморозила цветок. Он приносит ковш воды и заодно с геранью поливает маленький колкий кактус и жирно распустившееся алоэ. Слабые солнечные лучи разломано лежат на неприбранной маминой постели, слабо блестит пряжка от ремня на отцовских выходных брюках. Коля вздыхает и принимается наводить порядок.

Он уже подтер пол, накормил поросенка, сыпнул зерна курицам и голубям, растопил печку и поставил варить картошку, когда звонко хлопнула калитка. Коля насторожился и весь обратился в слух. Скрипнули доски на крыльце, звякнула щеколда в холодных сенях, простонали крашеные половицы, и дверь на кухню тяжело и неохотно отошла от косяков. Вместе с клубами морозного пара, запахом снега и промерзшей одежды вошла мать.

— Дома? — спросила она безо всякого выражения и, не дожидаясь ответа, снова спросила: — К нам никто не заходил?

— Нет, — хмуро отвечает Коля.

— А ты уже поел? — она сбрасывает фуфайку на пол, наступая на носки, стягивает валенки и смешно дрыгает ногой, стряхивая портняки. — Не слышишь, что ли?

— Поел, — отвечает Коля.

— В горнице приbral?

— Приbral...

— Ну, молодец... А я что-то устала нынче, — мать проходит к столу и тяжело опускается на табуретку. Под глазами у нее большие, темные полукружья, губы безвольно расслаблены, кожа нехорошего, бледного цвета. — Ну, чего уставился? — вдруг замечает она упорный Колин взгляд. — Давно не видел?

— Давно, — тихо отвечает сын и отводит взгляд.

— Ну ладно, Коля, ладно, — вдруг потеплевшим голосом говорит мать. — Ну, извини ты меня, дуру малахольную...

— Ты не малахольная.

— Как же — панька я! — с удивленным притворством вспыхивает она. — Посиди под коровами пять лет, кто хочешь малахольным станет...

— Мама, — совсем тихо и напряженно говорит Коля, — не пей больше, а?

— А кто пьет! — вскакивает с табуретки его мама. — Кто пьет-то, я тебя спрашиваю?! Ну, пришли вчера гости, так что, нам с папой их в шею гнать? Не дорос еще — матери указывать. Мы что, пьяницы какие?.. Тебе одеть нечего? Может быть, ты голодуешь у нас или босиком в школу ходишь? — она нервно хватает предметы со стола и вновь ставит на место. — Ты лучше, вон, уроки свои учи, понял? А то он маму учить взялся...

Она еще долго говорит, но так ни разу и не взглядывает сыну в глаза, затем вдруг с размаху шлепается на табурет, тыльной стороной ладони вытирает слезы и жалобно просит:

— Коль, иди ко мне, а?

4

Прошло три часа. Давно стемнело: Коле казалось, что кто-то черной кистью замазал их окна снаружи. В ночь разгулялся ветер и изредка, когда на кухне почему-то стихали голоса, он слышал, как уныло и жутко подвывает в печной трубе. Он представлял, как мотаются сейчас голые вершины деревьев, и ему становилось зябко.

«Восстание Емельяна Пугачева, — читает Коля в книжке, а строчки качаются, плывут перед глазами, голова кружится, и он вынужден сильно встряхивать ее, чтобы остановить пляску строк и снова начать читать. — Восстание Емельяна Пугачева, несмотря на небывалый размах и упорство борьбы, представляло собой цепь самостоятельных... цепь самостоятельных ограничений»...

— А я не хочу! — донесся из кухни особенно громкий голос отца. — Я не намерен терпеть у себя в бригаде всякую шваль! Д-да... Возьму и попрру его из бригады... Запросто. Потому как сегодня не те времена. Я и вообще могу себе ферму взять, собственную...

— Ну, с ним запросто не совладать, — глухо отвечает мужской голос. — Он не таkovский, чтобы тебе запросто в руки...

— Хватит вам, — вмешивается мама, — Володя, разливай, кого ждешь? — просит она отца и следом слышится, как звякает горлышко бутылки о стаканы.

«Цепь самостоятельных, — вновь начинает читать Коля, — самостоятельных, ограниченных определенной местностью, локальных восстаний...»

— Я тебе говорю — не потянет! — вновь вскрикивает отец и шумно двигает табуретку. — Ты кому веришь, Ваня? Я сельхозинstitут окончил с одной четверкой, а он...

Коля возвращается к началу текста и вновь упорно читает: «Тем временем Пугачев подступил к Оренбургу и начал его осаду. Однако шестимесячные усилия... шестимесячные усилия осажде... осаж... осажда-ю-щих... не принесли успеха...»

Дверь на кухню распахивается, и в горницу легко впархивает мать. Она раскраснелась, похорошела, глаза ее задорно блестят, губы влажны и подвижны. Следом за нею в горницу тягуче вплываются запахи крепкого табака, пролитой водки и старого винегрета.

— А ты все сидишь, учишь? — удивленно спрашивает мама и небрежно взлохматывает волосы на голове у сына. — Смотри, Колька, заучишься —шибко грамотный станешь, как отец наш.

Коля уворачивается от ее руки и хмуро смотрит в книгу.

— Ну-ну, Федул — губы надул, — легко смеется мама, склоняется и крепко целует его в губы.

Коля, задыхаясь от водочного перегара, смешанного с прогорклым запахом помады, с силой вырывается, книга падает на пол, из нее вылетают страницы.

— Чего пристала? — спрашивает он и смотрит исподлобья.

— Что-о? — вспыхивает его мама. — Ты как со мной разговариваешь, сопляк, ты это что себе позволяешь? Посмотрите на него...

Она вдруг цепко хватает сына за ухо и сильно выворачивает его. Глаза у нее потемнели, на щеках проступили белые пятна, ноздри широко раздулись.

— А ну, марш спать, шпион проклятый! — уже громко кричит она. — Сиди здесь и подслушиваешь, что взрослые говорят.

Коля, с ярко пылающим, оттопыренным ухом, молча идет к постели и разбирает ее.

5

Он просыпается в шесть часов утра, когда на кухне громко начинает говорить радио. Некоторое время лежит молча и прислушивается. По хрому определяет, что отец на этот раз заснул на полу, бросив, как всегда в таких случаях, под себя полушубок. Потом Коля различает рокот работающего дизеля — дядя Ваня уже завел трактор.

За ночь дом основательно выстыл, и Коля с ужасом тянет с себя одеяло. Холод тут же плотно прилипает к спине и голым ногам.

— Ма-ам, мама-а, — начинает он звать, в первую очередь, натягивая на себя рубашку. — Опоздаешь ведь, мама...

Однако мать не слышит его, разметавшись в постели, со спущшимися на лбу волосами.

Переступая босыми ногами на холодных половицах, Коля нерешительно смотрит на нее, потом торопливо выскакивает на кухню, толкает в топку легкие березовые поленья, подсовывает под них газету и разжигает спичкой. Он смотрит, как чернеет и сворачивается газета, как белое пламя облизывает дрова, они расползаются в стороны, дымят и вдруг вспыхивают разом. Дым пахнул было в дверцу, но тут же отыскал более удобную дорогу и потянулся в трубу, придавливая и расталкивая задние языки пламени.

Коля с грохотом сдвигает кружки и ставит на плиту большой зеленый чайник, потом вытряхивает из заварника старую заварку, ополаскивает его под умывальником и ставит на припек.

Схватив небольшой эмалированный таз с черной полоской отбитой эмали на дне, он сваливает в него грязную посуду со стола, заливает водой из фляги и, с трудом оторвав от пола, взгромождает на плиту. Сор и крошки со стола он сметает варежкой, так как тряпку не смог найти и тут же бежит в горницу — на дойку мать уже опаздывает.

— Мама! Мама! — трясет он ее за голое плечо, — вставай, мама...

Она со стоном поворачивается на бок, резко сбрасывает Колину руку и сердито спрашивает сына:

— Ну, чего пристал-то?

— Скоро семь часов, — глуховато говорит Коля.

— Как — семь! — мать вскакивает и тут же хватается за голову. — Боже, трещит-то как! Ф-фу, зар-раза. — Патлатая, опухшая после сна, с крутыми, голыми плечами, она растерянно и жалко смотрит на сына. — Колька! — кричит она вслед уходящему сыну, — ты чай-то поставил? А поросенка накормил? Смотри, кур не забудь еще покормить, слышь...

6

Начинает светать, когда Коля выходит на улицу. Редкие, тусклые звезды, прокаленные за ночь морозом, словно бы вдавливаются в небо и постепенно гаснут. И только Венера все еще ярко горит невысоко над горизонтом, обжигая зеленоватым светом бесконечные снежные поля, медленно пропадающие из серого сумрака. Далеко впереди маячат темные силуэты школьников, деловито спешащих на первый урок. Стайка воробьев срывается с веток акации и летит куда-то вперед, в сторону механических мастерских, куда ходит работать отец. Коля прикрывает калитку, смотрит на темные окна родного дома, на голую, неуютную ограду с покосившимся сараев в дальнем углу и споро припускает по тропинке, хорошо утоптанной после минувшего снегопада. Мороз пошипывает щеки и уши, пробует забраться и под воротник, но Коля прогоняет его, плотнее укутывая шею коротеньkim синим шарфиком.

— Итак, сейчас нам Коля Галочкин расскажет о восстании Емельяна Ивановича Пугачева, — учительница открывает журнал, проставляет в нем дату и поднимает взгляд. — Мы ждем, Галочкин...

— Емельян Иванович Путачев был родом из простой семьи станицы... станицы, — споткнулся Коля и умолк.

— Зимовейской, — ободряюще подсказывает Валентина Ивановна.

— Станицы Зимовейской... Юношей он помогал отцу обрабатывать пашню...

Валя Калинкина, повернувшись вполоборота к стоящему у доски Коле, в такт его словам покачивает головой, скашивая продолговатые глаза в раскрытую книгу.

А Коля вновь умолкает, низко опускает голову с большими оттопыренными ушами и теребит пальцами нитку от оборванной на курточке пуговицы.

— Хорошо, — грустно смотрит на него Валентина Ивановна. — В каком году началась крестьянская война?

Валя роняет руки на парту и быстрыми комбинациями пальцев показывает Коле две семерки и тройку. Он понял ее, но молчит, переводя взгляд за окно, где день уже и полно солнечного света, от которого радостно блестит и посверкивает снег.

— Ну, что же, Галочкин, садись, — вздыхает учительница, — ставлю тебе слабенькую тройку.

Валя облегченно вздыхает и провожает взглядом не по-детски сутулую, усталую фигуру Коли, который, шаркая подшитыми валенками, медленно проходит к парте и, ни на кого не глядя, садится на свое место.

В это время все оглядываются на резкий стук в оконное стекло: вцепившись тонкими, когтистыми лапками в переплет рамы, синичка с любопытством заглядывает в класс. И Коля, перехватив ее быстрый взгляд, вдруг широко улыбается, обнажая подетски розовый, щербатый рот.

БОС - Библиотека Одного Стихотворения

Наталья ФРОЙНД
Мюльхаузен

МОЯ ДУША В ПОЛЕТЕ ЗДЕРЖАЛАСЬ

Я родилась во времени чужом
И прижилась... Мотивы, ритмы, чувства
Живут во мне ненужным багажом
Какого-то нездешнего искусства.
Мне ближе струн гитарных перебор,
Иль саксофона клекот глуховатый,
Плыущий, синий блюзовый аккорд,
Рожденный от бетховенской сонаты,
Где бирюзова талая вода
Сквозь аметист сиреневого снега.
Течет рекой неведомо куда
В испарине искристых брызг от бега.
В то время сильных, пламенных мужчин,
И фантастических, прекрасных женщин,
Где бьют мечты пресветлые ключи,
Мотив капели звонко переменчив.

Где нет флаконов дорогих духов,
И носят в ведрах утреннюю свежесть
На коромыслах радуг, из стихов
Сплетает грусть сонатовую нежность...
Я напрягаю мозг до тошноты,
Чтоб осознать мотив несовпадений,
Нащупать звуки нужной частоты,
Причины наблюдаемых явлений.
В пустых словах ищу источник тайн
Непреходящих образцов сознанья.
Стремлюсь вписаться в нынешний дизайн,
Шепча слова молитв, как заклинанья...
Но нет границ нелепости моей —
Я чаще неуклюжа, неуместна.
Я отдаю синии за журавлей,
И норовлю попасть туда, где тесно.

...Ищу себя в толпе знакомых лиц,
Не нахожу... И сердце болью скжалось —
При переходе временных границ
Моя душа в полете задержалась...

Октябрь 1998 г.

Даниил ЧКОНИЯ
Кёльн

* * *

Жил по соседству маленький портной,
По вечерам он ел свой скромный ужин,
Справлял в субботу грустный выходной,
Искал для дочки выгодного мужа.

А в церкви золотились образа,
Переминался странник, спину горбя,
И все глядел Спасителю в глаза,
Исполненные вечности и скорби.

У Господа — прямая борода,
Какой у смертных сроду не бывает,
И чудится, что странная звезда
Над головою Господа сияет.

Неколебима вера и чиста,
И на устах благоговеет Слово.
И дела нет, что рисовал Христа
Художник с mestечкового портного.

Александр УМАНСКИЙ

Нойс

**ПИСЬМО ·
К ЛЕЧИЦУ РАДСКОМУ ДРУГУ**

Соки, ветчины, сосиски, колбасы, конфеты,
 Брюки, блузоны, рубашки, костюмы, пальто,
 Кольца, сапфиры, янтарь, ожерелья, браслеты,
 Курсы, квартира, работа, семья и авто.

Банки, гешефты, шпаркассы (простые и бау-),
 OVB, Kaufhof, C&A, Otto Mess,
 Шарпинги, Герцоги, Шредеры, Коли и Рау,
 Парки в цветах и бульвары — густые, как лес.

Улицы — в людях, щебечут, хохочут, смеются,
 Курят, шагают, едят, отдыхают и пьют,
 Пенятся, брызжут, бурлят, разливаются, льются,
 Только цветов не ломают и стекол не бьют.

Невский проспект, Эрмитаж, Петергоф, колоннады,
 Мойка, Фонтанка, колодец родного двора...
 Только не здесь, а на Севере, там, за оградой.
 Снились всю ночь, но, увы, на работу пора.

Клара КИЕВМАН

Франкфурт-на-Майне

Поэзии	падать
витающая ткань	с высоты,
опознана,	восторженный и бессловесный.
но все ж	Но,
неуловима,	сможешь ли
как не поймать	подняться
стремительную лань	еще раз
изодранной	в такую высь
котомкой пилигрима.	и хватит ли
И ты замрешь	дыханья?
от странной немоты,	И вновь
когда	не оробеет ли
смиряет звуки	твой глас,
гром небесный.	когда настанет
И долго	время
будешь	испытанья?

Геннадий ПОКРЫВАЙЛО
Франкфурт

* * *

Ну что ты смотришь на меня, старик,
Безрадостным сочувствующим взглядом!
По-прежнему терзаешься? —

Не надо.

Ты знаешь, я почти уже привык
К тому, что с каждым днем теперь все круче
Никем еще не пройденный маршрут,
И прошлое нас ничему не учит,
И там

за перевалом,

нас не ждут.

Твои глаза усталые пророчат
Очередную общую беду.
Нам хватит бед.

Уйди, старик.

Не хочешь?

Тогда я сам от зеркала уйду.

Мария ЛИТВИНА
Берлин

* * *

Вещи собраны. Ветер. Холодно.
Вечер. Серые небеса.
Положи на колени мне голову
На последние полчаса.

Мы расстанемся в Шереметьево,
В неначавшуюся грозу,
На минуты ли, на столетья ли —
Сквозь нейтральную полосу.

Суматохою сердце спаяно.
Улететь бы скорей тогда,

И сказать: «Господа, Германия!
Мы в Германии, господа!»

Вижу — плачешь. Один. Потерянный.
Не такой, как всегда. Немой.
Нет, не смерть это, я уверена.
Это жребий у нас такой.

Ну, глотни эту боль безмерную,
И забудешься вроде бы...
Только, Господи, как уверовать
В справедливость такой судьбы?..

Графика



Книжные
знаки
художника
Валентина
ВАСИЛЬЕВА
Псков







Светлана МАЙНАЕВА
Саарбрюкken

ПЛАЧ ПО СЛАВИСТИКЕ

В Германии почти два миллиона студентов, в то время как учебных мест вдвое меньше.

До середины 70-х годов Германия проводила политику, нацеленную на предоставление образования максимальному числу желающих. На сегодняшний день положение резко изменилось — стало неинтересно иметь дипломированных специалистов, потому что рынок перенасыщен и рабочих мест для получивших высшее образование нет. Видимо, это тоже стало одной из причин незаинтересованности оснастить высшую школу по требованиям сегодняшнего дня. И оснащенность университетов осталась на уровне семидесятых.

Университетский курс в Германии один из самых длинных. Проблема еще в том, что на первый курс поступают преимущественно молодые люди 22 лет и выше.

Гимназический курс тоже длинный — 13 лет. Правда, в Европе, это не исключение. И в Германии он варьируется, в разных землях неодинаков. В новых, например, 12 лет. И многие до поступления уже владеют какой-нибудь специальностью, отслужили в армии или имели альтернативную службу. Это все вместе становится причиной относительно позднего получения образования.

В среднем учеба в высшей школе длится семь лет. Минимум — четыре, максимум — девять. Это не всегда зависит от студента, но и от количества семестров. Например, на экономическом надо учиться не менее одиннадцати семестров, а географию изучают 14(15) семестров.

Процесс учебы в чем-то одинаков, а в чем-то различен, если его сравнивать с системой обучения в бывших советских учебных заведениях. Нет обязательного посещения лекций, но зато очень строго с посещением семинарских занятий. На некоторых отделениях после трех пропусков нужно предоставить медицинскую справку. Отсутствие таковой может грозить недопуском к экзамену. Выбор предметов свободный. Некоторые университеты дают возможность студентам сдать экзамен в течение семестра, и если студент «провалился», провал не засчитывается. Благодаря этому удалось добиться значительных результатов, не неся при этом никаких расходов. Обязательное изучение двух дисциплин. Они могут быть параллельными (как языки, например). Случается, выбирают и абсолютно разные направления — юриспруденцию и информатику, математику и социологию и так далее.

Университеты Германии издавна пользовались заслуженным уважением в системе

мировой высшей школы и, прежде всего, в общественных, естественных и гуманитарных науках – в этой области они до последнего времени занимали одно из ведущих мест в мире. Увы, чего нельзя сказать о сегодняшнем дне. Сегодня престижными дипломами считаются американские, английские, французские – в порядке их перечисления.

Процент иностранных студентов, обучающихся в германских высших школах, не высок, если его сравнивать с другими странами. При выборе школы предпочтение отдается Великобритании, США, Франции. И дело не столько в большей престижности, а в некоторых сопутствующих обстоятельствах, непобуждающих ехать в Германию: обучение на немецком, а в других странах, кроме родного, предпочтение отдаетя английскому, несколько бюрократическое отношение к иностранцам, начиная от германского законодательства и кончая сложностями со снятием комнаты для жилья. Причем, это все наряду с тем, что в целом страна заинтересована в иностранных студентах и в планах иметь число, доходящее до 15%.

Высшие школы пользуются взаимообменом студентов. Комиссия Европейского Союза поставила целью заинтересовать, по меньшей мере, 19% студентов проучиться один семестр за границей.

Сегодня обучение почти или совсем бесплатное (естественно, речь идет о гражданах Германии), но сохранится ли эта модель в будущем, сказать сложно, потому что возникают проблемы, которых не решить, даже если бы каждый студент ежегодно платил, скажем, тысячу марок. Это только слегка облегчило бы положение высших школ, но одновременно и усложнило бы жизнь большей части студентов.

В одной из земель Германии попробовали ввести платное обучение, обязательное для всех, но оно просуществовало не дольше двух семестров и решением суда было отменено.

Вызывает озабоченность отход от естественных и инженерно-технических наук – число студентов в данных областях сократилось на треть по сравнению с 1990 годом. Происходящее – обычная реакция на конъюнктурные процессы, но это как-то не успокаивает.

Университет – один из самых крупных культурных центров в маленькой земле Саар. Начало созданию университета было положено в 1946 году, когда в городе Гомбург, что близ Саарбрюккена, был открыт Медицинский институт, филиал французского университета города Нанси.

Девятого апреля 1948 года в Париже было принято решение о размещении в бывших казармах, расположенных в окрестностях Саарбрюккена, независимого университета с четырьмя факультетами. Сначала начались занятия на юридическом и философском факультетах, а затем открылись факультеты математики и естественных наук.

В 1948 году был создан Институт переводчиков. В качестве иностранных языков преподавались поначалу французский и английский, позже включаются испанский и русский языки.

Университет растет, пополняется и расширяется. Углубляется его научно-техническая база, он обогащается за счет притока новых, хорошо подготовленных кадров, приходящих в университет на конкурсной основе. Университет растит специалистов для себя и щедро готовит их для страны, Европы, мира.

Общая численность студентов, например, в этом году 20300. Иностранных 11 %. Процент количества иностранцев чуть превышает общую цифру по Германии. В том составе: французы, итальянцы, люксембуржцы, испанцы, турки. Первых чуть больше трехсот (Франция близко), остальных меньше сотни в каждой группе. Из Африки – 200, из Америки – 100, из азиатских стран 500 студентов. Русских, то есть имеющих русское гражданство, 40 человек. Возраст студентов колеблется от двадцати до сорока пяти лет. Здесь учится 598 человек, которым сорок и выше.

Самый популярный факультет – информатика. И хотя учеба здесь довольна сложна, желающих изучать эту дисциплину много. Затем следует юриспруденция.

На английском отделении учится 2000 человек. Подавляющее большинство поступивших в этом году – 200 – выбрали английский язык. Интерес к английскому вполне понятен. Но кафедра переполнена. Занятия проходят при большом скоплении студентов, что затрудняет, конечно, и работу, и учебу. И количество профессоров не рассчитано на большое количество студентов.

Популярен французский язык, что, видимо, объясняется еще и близостью Франции. На территории университета, помимо кафедры французского как литературного, отделения французского языка в Институте переводчиков есть еще и Институт, который существует, в основном, на свои собственные деньги, то есть он, практически, на самоокупаемости. Преподаватели – в основном работающие на гонорарной основе, хотя есть и те немногие, кто состоит на так называемой государственной службе и оплачивается, естественно, организациями, которые финансирует образование: часть дает город, часть – государство.

А вот итальянскому, увы, грозит закрытие из-за малого количества поступающих.

Популярен экономический факультет. Вероятно, после окончания его студентам видится большая перспектива.

Физика и химия сегодня не пользуются интересом у поступающих. Кстати, небезызвестный политик, многолетний, но уже бывший лидер SPD и экс-министр финансов Оскар Лафонтен – выпускник университета в Сааре, физик по профессии.

Не в особой чести по количеству студентов естественные и гуманитарные науки. С каждым годом все меньше желающих их изучать. Странно, что это коснулось и такого направления, как биология – науки, за которой, несомненно, будущее. А ведь в университете собраны прекрасные научные силы, известные далеко за пределами Саара, много известных ученьих, в их числе с мировым именем, такие, например, как Макс Мангольд. Это один из уникальнейших людей, знаток 400 языков, активно владеющий 40 языками.

Философский факультет Саарского университета построен по старой греческой системе. Он включает в себя разные направления, не имеющие, на первый взгляд, ничего общего между собой: институт музыки, отделение истории, фонетики, сопоставительной индоевропеистики, ориенталистики и так далее. В факультет входит отделение, занимающееся новыми языками, куда, опять же, как отдельная ветвь, относится отделение Славистики.

Славистика, на мой взгляд, в университете – это нечто особое. Впрочем, если речь идет о языке или литературе – это всегда для филолога особая статья. Но здесь, право, объективная позиция человека не со стороны.

На Славистике, действительно, царит такая атмосфера, что хочется подольше задержаться, копаясь в книгах, листая газеты и журналы, перекинуться новостями с зашедшими в библиотеку. Здесь хочется задержаться, потому что здоровый климат, творческая атмосфера, дружелюбность, неназойливое внимание к каждому, кажется, в самом воздухе.

Гордость славистов – библиотека, которая за относительно короткий срок пополнилась прекрасными книгами. Книги, выписанные из России, или пополненные издательством «Kubon und Sagner». На полках книги, привезенные со всех сторон сотрудниками кафедры, нередко ком-то подаренные. Со всей земли съезжаются сюда люди, желающие почтить свежие периодические издания на русском языке. Библиотека выписывает журналы, множество специальных, но есть и популярные, такие, например, как «Огонек», «Новый мир». Есть свежие (и многолетние) подписки на «Литературную газету», «Московские новости», «Независимую газету», «Семь дней» и так далее.

На факультете подобралась, что называется, хорошая команда, возглавляет которую профессор, доктор наук Ролланд Марти. Это известный лингвист, автор нескольких книг и учебников. Знаток всех европейских языков. Господин Р.Марти родом из Швейцарии. Руководить Славистикой стал после выигрыша в конкурсе на это место. Его выступление единодушно сочли блестящим и неоспоримо отдали ему предпочтение.

Господин Р.Марти человек спортивный. Он покрывает нешуточные расстояния на велосипеде. Играет и возглавляет команду регбистов Саара. И одинаково на высоком уровне справляется на обоих полях. Про него студенты говорят: «А разве есть то, что не знает господин Марти?» Не правда ли, прекрасный риторический вопрос?

Профессор открыт и доступен, с удовольствие поможет любому пришедшему к нему за помощью. С удовольствием шутит сам и понимает щутки. Ни одно его выступление, (а говорит он всегда коротко, и самые большие и крайне редкие совещания на факультете длиной в сорок минут) не обходятся без улыбки и легкой иронии, и по отношению к себе тоже. Это действительно руководитель, о котором можно мечтать и пожелать каждому: студентам – наставника, коллегам – шефа.

На кафедре существуют традиции, как в дружной семье. К примеру, ежегодно на встречу летнего Николауса коллектив кафедры в полном составе собирается в доме господина Р. Марти. Он на правах хозяина стоит у грильни, готовя мясо всех сортов в разных вариациях. А коллеги только дружно поедают вкусно приготовленное жареное. Разъезжаются далеко за полночь после жарких дискуссий, воспоминаний о прошлом учебном году, устав от еды и смеха.

Коллеги – команда приблизительно из пятнадцати человек. Цифра эта колеблется, потому что почасовики иногда работают только один или два семестра, в зависимости от предложенных предметов. Постоянно работающих на кафедре всего пять человек, в том числе и секретарша. Несколько ассистентов профессора: по литературе, языку, контракт которых рассчитан приблизительно на два года, с возможностью продления. По существующему неписаному закону ассистенты должны, в принципе, к концу контракта закончить свою работу, защититься и продолжить контракт с уже новым назначением по должности, или искать другое место.

«Русской фракцией» шутливо называют команду преподавателей русского языка. Ее опекуном и сердцем является господин Йорг Райнike. Для господина Й.Райнike «команда» означает прямую и совершенно бескорыстную помощь, которую он оказывает приезжающим русским доцентам на временную работу в Германию. Между университетами Саарбрюккена и Ростова-на-Дону существует давняя дружба и взаимообмен как студентами, так и преподавателями.

Й.Райнike чрезвычайно скромный человек. В университете он работает тридцать лет. Является одним из ведущих переводчиков в Германии (русский-английский-немецкий), работающим в течение многие лет на правительственном уровне. М.Горбачев и Г.Зюганов, правозащитник В.Ковалев и М.Жванецкий, Е.Евтушенко и А.Вознесенский – далеко не полный перечень людей, с кем приходилось работать и общаться господину Й.Райнike. «Изучение русского языка было целью моей жизни», – говорит Йорг Райнike, а мне кажется, что все на Славистике одержимы работой в самом лучшем смысле этого слова.

Последние годы факультет переживает не лучшие времена. Кризис и нехватка финансов коснулись и потрясают маленький творческий коллектив. Общее положение на рынке профессий оказывает влияние на число студентов на Славистике, неумолимо сокращая его.

Факультет в течение ряда последних лет буквально трясет от постоянной угрозы закрытия. Основная причина – отсутствие денежных средств. То есть, деньги как таковые существуют. Только идут они стороной, мимо Славистики. И угроза закрытия дамокловым мечом висит над всеми самыми благими начинаниями работников факультета, кажется, уже лет десять.

С одной стороны, можно поприветствовать преподавательский состав: они терпеливо продолжают работать, не разбегаясь с корабля, который, несмотря на старания профессорско-преподавательского состава, все-таки, действительно, в бедственном состоянии. А кто без сомнения пожелает стать матросом, заведомо зная, что корабль в бедственном положении, о чем твердят все вокруг?!? И студенты-матросы не спешат на борт. И каждый год факультет продолжает работать с малым количеством студентов. Соответственно, каждый год снова и снова разговоры о закрытии непродуктивного факультета: малое количество студентов, отсутствие комплекта профессуры, отсутствие перспектив.

При университете есть и еще один институт, занимающийся русским языком – Институт переводчиков. Он тоже не может похвастать большим набором студентов на русское отделение. А последние годы здесь учатся все больше приехавшие из России, бывших республик, которые, являясь носителями языка, владеют им подчас лучше, чем те, кто преподает на факультете. И поступив на переводческий факультет или на Славистику, такие студенты не занимаются, конечно, русским – они штудируют как второй предмет немецкий язык. Вероятно, они правы в своем выборе, не нам об этом судить, но это совсем не интересно преподавателям, которые теряют *своих* студентов.

В это же время на территории университета в только что отстроенном здании открывается Институт языков, в котором должно играть не последнюю роль отделение русского языка. Институт языков – это часть всеобщей университетской программы, так называемая, необходимая единица, запланированная часть университета. Подобные институты имеют целью обучение не столько студентов-языковедов, а как помощь в обучении языкам студентов других профессий или приходящих извне.

Для маленького Саара наличие Института переводчиков с русским отделением плюс открывшийся Институт языков составляют серьезную конкуренцию. И дело даже не в ней, а во множестве дополнительных проблем, которые не в состоянии решить маленький коллектив без поддержки со стороны. А ее, похоже, никто не окажет, пока не изменится политика, рассчитанная на что угодно, только не на науку.

Слависты оказываются ненужными, и факультету грозит закрытие и частичный переезд на базу Трирского университета. Это рабочее решение, которое вполне возможно очень скоро войдет в силу. Это означает, что прием студентов на Славистику будет прекращен. Вакансии и финансы сокращены, пока не сойдут на нет с выпуском оставшихся студентов, которым дадут, конечно, возможность закончить образование в университете Саара.

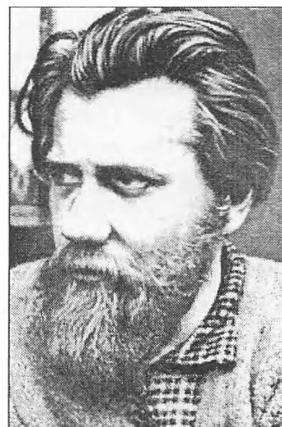
Обратите внимание, что предложение о соединении не на базе Славистики университета в Сааре, а в Трире. И это несмотря на то, что есть серьезные аспекты на Славистике Саара, и их немало, которые значительно превышают по уровню Славистику в Трире. Но это, кажется, никого уже не волнует...

После уже поставленного многоточия автор статьи узнала решение о закрытии Славистики.

Эрвин НАГИ
Дюссельдорф

Пицунда, Москва, далее – везде...

*Доброй памяти
Андрея Донатовича Синявского посвящается*



*Конечно, вся кому жить хочется,
но как подумаешь, что Леонардо да
Винчи вот тоже умер, так просто
руки опускаются.*

Абрам Терц «Гололедица»

Летом 1954 моя будущая жена Иля и я, еще студенты, решили поехать в каникулы в Пицунду.

Соседями по купе оказалась супружеская пара старше нас на несколько лет — приятная женщина Инна и ее муж Андрей. С первых же слов стало ясно, что нам повезло с попутчиками — людьми в высшей степени интеллигентными.

До Гагры поезд шел три дня и две ночи, и все время, свободное от сна, прошло у нас в обсуждении самых разнообразных проблем, особенно об изменениях в государстве, связанных со смертью Сталина, и разговорах о событиях жизни. Инна Гильман — химик-технолог — работала на одном из московских предприятий, Андрей Синявский — филолог, изучающий русскую литературу и поэзию конца XIX — начала XX веков — читал лекции студентам старших курсов филфака Московского университета.

Недавно защитил кандидатскую диссертацию.

Его четкая речь, высокий, чуть ломающийся голос, жестикуляция с живым участием пальцев, мальчишеское лицо, немного тронутое смущением, умение слушать собеседника и стараться понять, становясь на его точку зрения, создавали образ человека обаятельно-го и доброжелательного. Он уже прошел армию и смешно рассказывал о службе в войсках ПВО, о том, что он совершенно чужд технике, и это являлось наиболее тяжелым для него обстоятельством. Оказались похожими и судьбы наших отцов — оба были репрессированы в тридцатые годы. Но если разговор касался литературы, его вдохновение увлекало присутствующих, и часто разговор переходил в лекцию о сущности и особенностях литературы, поэзии, искусства вообще, о том, как и чем литература и искусство воздействуют на людей и как мы вместе с автором входим в мир созданного им произведения.

— Конечно, — говорил Андрей, — если мы соприкасаемся с произведением действительно искусства!

Иля, всегда интересовавшаяся литературой, задавала вопросы, и очень скоро Андрей убедился, что мы вообще имеем весьма слабое представление об искусстве этого периода.

— Это неудивительно, — сказал он, — литературу и поэзию «серебряного века» у нас старательно замалчивали. Я взял с собой несколько старых изданий поэтов той поры, и если мы будем отдыхать вместе, вы сможете их почитать. Да и я бы вам кое-что рассказал. Мы едем в Гантиади, это последняя станция перед Гагрой, — поехали с нами!

Нам стало ясно, что терять возможность провести лето в обществе Инны и Андрея никак нельзя.

— Нет, — ответил я, — мы едем в Пицунду, это южнее Гагры, и я точно знаю, что это место гораздо лучше Гантиади. Поехали лучше с нами.

Я рассказал Андрею и Инне, что в Пицунде прекрасное море, сосновая роща, а главное — полное безлюдье. Что жить там можно в совхозном поселке, а магазин, совхозная столовая и почта — обеспечат полноценный отдых «диким способом». Рассказал о грузинском храме IX века и раскопках древнеримского города Пициус.

Иля меня горячо поддержала и стала уговаривать Инну.

— Но это невозможно, нам в Гантиади уже приготовили жилье.

Андрей смущенно смотрел на нас своими светлыми выпуклыми направленными в разные стороны глазами. Он очень не хотел подводить знакомых, схлопотавших им комнату.

— Ну, хорошо! Если вы не против отдыхать с нами вместе, сделаем так: вы едете с нами в Пицунду. Осматриваетесь. И если вам там не понравится, мы вместе с вами едем в Гантиади. Дело идет, в худшем случае, о потере одного дня.

Идея показалась Андрею и Инне приемлемой. Я же считал предложенный вариант беспрогрышным. Так оно и оказалось.

Инна и Иля, попав в Пицунду, сразу же оценили ее достоинства, и особенно малолюдность, и сразу же сказали, что останутся подыскивать жилье, а мы — мужчины — привезем за это время наши вещи.

Мы легко и недорого сняли по комнате в соседних домах, и началась совершенно независимая «дикая» жизнь вдали от московской сути и повседневных забот. Утром — через лес на широкий залив, обращенный на юг. На берегу — мельчайшая галька. Ко всему берегу на протяжении нескольких километров почти вплотную подходит сосновая роща невиданно высоких сосен с бугристой серовато-розовой корой. Под ними — сплошной ковер высохшей хвои. Длинные пожелтевшие иголки, накопившиеся за много лет, упруго и ласково щекочут ноги. Кристально чистое море, и — главное — абсолютное безлюдье на пляже. Устраивались поближе к опушке. Купались, плавали, обсыхали на солнце, загорали, валялись в лесу на хвое и смывали ее в море, играли в «кинг» или «в дурака» и, конечно, читали. Мы читали книги, привезенные с собой, и те, что давал нам Андрей. На пляжной подстилке у него всегда лежали тетрадь и несколько книг. Он заглядывал то в одну, то в другую, делал короткие записи, иногда что-то негромко проговаривал или, наоборот, призывал нас послушать какой-нибудь отрывок и объяснял, чем он привлек его внимание. От него мы услышали стихи Блока, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама, Пастернака, Северянина, Бальмонта, Мережковского и других поэтов, о которых мы и понятия не имели. Андрей обращал наше внимание на мелодию стиха, на сочетания слов, казалось бы несовместимых, но именно поэтому несущих подтекст. Сравнивая стихи разных поэтов, рассказывал об их психологических особенностях.

В то лето Андрея особенно привлекало творчество Велимира Хлебникова. Его поэзию и сегодня, когда стихи поэтов авангарда доступны, воспринимать нелегко. А в те годы о нем знал только узкий круг литературоведов, и рассматривали Хлебникова исключительно как поэта-экспериментатора. Андрей обратил наше внимание на статьи самого Хлебникова, в которых поэт разъяснял свои подходы к творчеству. Андрей очень

любил анекдоты. С удовольствием их слушал, рассказывал сам и не избегал при этом крепких слов и выражений:

— Главное, чтобы рассказанное было по-настоящему остроумно! — говорил Андрей. — Смех должен быть вызван не собственно крепким словом, а его оправданным использованием при сложившейся в анекдоте ситуации.

Андрей рассказывал анекдоты образно. Перед глазами возникал зримый эпизод, что-то вроде современного видеоклипа. Некоторые байки, рассказанные им, мы с Илей помним и сегодня*.

С большим интересом осматривал Андрей и памятники старины, имеющиеся в Пицунде. Так в старинном храме он обратил внимание на следы пуль во лбу изображения Христа-Пантократора в центральном куполе — следы революционно-воинствующего безбожия.

На местах раскопок мы искали и находили следы улиц римского города и, чтобы рассмотреть участки пола с древней мозаикой, приподнимали тяжелые щиты из досок, покрытые толем.

Неподалеку, в совхозе — «Цитрусовый» (раньше — имени Л. П. Берия), на месте бывшего имения или монастырского хозяйства находился большой хорошо распланированный и совершенно заброшенный парк. Прогулки по нему наводили печаль утрат прелестей прошлого. Увиденное — будь то природа, архитектура, остатки древностей — всегда вызывало у Андрея ассоциации с литературой, искусством.

Он обычно немедленно делился своими впечатлениями. Иногда его соображения вызывали наше несогласие, и тогда разгорались дискуссии. Дискуссии нужно быловести строго по правилам: прежде всего, — определить понятия и установить сущность разногласия; после этого участники дискуссии должны выслушать каждого собеседника, обязательно понять его точку зрения, и только тогда высказать контраргументы; при изложении своих взглядов избегать повторений и не злоупотреблять вежливостью (точнее — терпением) собеседников. И главное условие: никакая дискуссия не претендует на установление истины в последней инстанции, а является средством нахождения и формирования взглядов, общих для участников беседы. Часто случалось, что после определения понятий предмет дискуссии пропадал, и мы приходили к общему мнению.

Добрые отношения с супружеской парой, имевшей уже, по нашим понятиям, существенный опыт семейной жизни, провоцировали Илю на вопросы об их знакомстве, об отношениях с родственниками, с кем из родителей и на каких условиях они

* Вот, например, такая, (сегодня, возможно, известная, но тогда, более сорока лет назад, в той политической обстановке, воспринимавшаяся по-иному).

Действие происходит в период наивысшего «расцвета» взаимоотношений между странами социалистического лагеря — в пятидесятые годы.

Советско-польская граница. Ночь на исходе. По обе стороны нейтральной полосы, каждый у своего столба, стоят приятели-пограничники. Наши и польский. Иван и Вацек. Уже давно перешли границу все шпионы, о которых договорились службы разведок обеих стран; уже обсудили приятели все события, произошедшие дома у каждого из них, а до смены дозора еще не меньше часа. Некоторое время они молчат. Слышен только шелест листьев. И Иван, мечтательно глядя на тонкий серпик месяца в светлеющем небе, спрашивает:

— Вацек, а Вацек, а как по-вашему, по-польски, — жопа?

Вацек, также глядя в небо:

— Дупа.

Иван, вздохнув, задумчиво:

— Тоже красиво!

живут. И вот, на пляже Инна и Андрей, вспоминая подробности и перебивая друг друга, рассказывали историю своего знакомства. Оказалось, что знакомы они со школы, что учились вместе. Смешно рассказывали, как еще в седьмом классе целовались под партой на уроках, и как поженились по возвращении Андрея из армии. Живут на Арбате в квартире Андрея. Просили, в свою очередь, рассказать о себе. Но в то время нам еще почти нечего было о себе рассказать.

Андрей не испытывал пристрастия к спиртному. В Пицунде на крохотном базарчике мы иногда покупали легкое самодельное вино «Изабелла», и пили его с удовольствием. Но в отношении пищи Андрей проявлял энтузиазм истинного исследователя. Он не стремился наесться «от пуга», ему были интересны особенности национальных кухонь, и при любой возможности он заказывал неведомые ему блюда. Так, в ресторане на озере Рица, увидев в меню «почки в мадере», знакомые ему только по литературе, он непоколебимо заказал именно это, несмотря на внушительную цену.

Полтора месяца беззаботной жизни пролетели быстро, и к началу учебного года мы вместе возвратились в Москву. Обменялись адресами. Андрей дал нам свой телефон, и мы условились в ближайшее время встретиться. Ни у Или, ни у меня телефона не было, поэтому инициатива должна была исходить от нас.

Встречи в Москве были уже не столь частыми. Обычно, созвонившись предварительно по телефону-автомату, мы приезжали к Инне и Андрею на Арбат. Жили они в коммунальной квартире многоэтажного дома по адресу Хлебный переулок 9, на высоком первом этаже. К их подъезду — крайнему левому во дворе — проще было подойти с улицы Воровского (ныне опять Поварской). Приезжали и они к нам — ко мне в Лось и к Иле в Лосинку. Им нравилось гулять по заснеженным улицам московских пригородов.

Однажды, придя к ним, мы увидели за столом пожилого человека, читающего газету. В глаза бросились густая седая шевелюра, светлая в полоску сорочка и темные широкие подтяжки. Андрей представил нас, сказав, что это его отец — Донат Сергеевич, вернувшийся из мест заключения*. Короткий внимательный взгляд из-за толстых очков остался единственной реакцией на наше появление. Андрей и не стремился вовлечь его в общую беседу. Позже он рассказывал, как трудно отец вживается в нормальную московскую жизнь. Для меня же это было сигналом, чтобы начинать выяснение судьбы моего отца. Но это совсем другая история.

Тем временем Андрей перешел работать в Институт мировой литературы. Однажды он рассказал о сенсации, имевшей место в их институте.

— Представляете, к нам на работу пришла Светлана Сталина! Раньше она работала в Институте истории. Почему она перешла к нам — понятия не имею!

Это была пора, когда еще негласно, но уже вполне ощутимо началась критика Сталина, первым явным признаком ее служило освобождение и реабилитация репрессированных в годы его правления.

Андрей рассказал, как Светлана Иосифовна на ученом совете делала первое сообщение. На совет пришли буквально все, кто имел возможность.

— Смотрели на нее и слушали, затаив дыхание.

— И что же интересного она сказала?

— Особенного ничего, в основном о том, что нельзя полностью пренебрегать про-

* Возможно, память мне изменяет, и отчество в действительности другое — мы видели его один-единственный раз. В этом случае приношу свои извинения.

шлым, что и там есть много полезного для нынешних дней. Говорит она хорошо, речь – литературная.

Позже Андрей говорил, что Светлана Иосифовна вела себя скромно. В приятельские отношения ни с кем не вступала. И скоро ее перестали выделять среди других сотрудников института.

Шло время. В силу наших семейных обстоятельств к 1959 году у Или и у меня резко сократился круг общения. Выпали из него и Инна с Андреем.

Наступили вольные ранние шестидесятые. Проходя по проезду Художественного театра, на противоположной стороне я увидал Андрея, стоящего в дверях Школы-студии МХАТ. Длинные волосы, борода – все с проседью. Узнал я его только по взгляду: глаза направлены вверх и немного в разные стороны. Как будто он смотрел в окна верхних этажей дома за моей спиной. У него был вид озабоченного человека. Я постоял немного, надеясь, что он заметит и окинет. Но тщетно. Подойти к нему я тогда не решился.

Зимой 1965 года, когда наша семейная жизнь уже устойчиво вошла в нормальную колею, мы с Илей вспомнили Пицунду, Андрея, Инну... И решили попытаться восстановить знакомство.

В старых записных книжках нашли телефон и уже из своей квартиры в районе ВДНХ (не из автомата!), позвонили. Женский голос, определенно не Иннин, поинтересовался, кто звонит. Назвавшись, я спросил Андрея. Отозвался Андрей с энтузиазмом, сказал, что к телефону подходила его новая жена Маша, чтобы мы обязательно к ним приехали и сожалел, что так давно не виделись.

В условленный вечер мы с бутылкой грузинского вина приехали в Хлебный переулок. Андрей был искренне рад нашей встрече, ну, а Розанова Мария Васильевна – так она представилась – держалась с нами настороженно. Видно было, что скоро она должна стать матерью.

– Да это она так, с непривычки, – заметил Андрей, – зовите ее просто Маша!

Мы быстро привыкли к его новому облику, сквозь который скоро стал проглядывать знакомый нам Андрей. Обменивались рассказами о событиях жизни за прошедшие годы, впечатлениями о поэзии и литературе этих лет, новостями театра и, конечно, политики. В разговоре не касались семейных проблем, и почему расстались Инна и Андрей, мы не знаем.

Маша, узнав, что Иля детский врач, скрупультно переговорила с ней о будущем материнстве. Андрей же с удовольствием рассказывал о своем новом увлечении, в котором Маша его активно поддерживала, – о знакомстве со старинной русской культурой и прикосновении к ее сохранившимся памятникам. Это было время, когда власти стали исподволь поощрять интерес к российской старине. Впервые широко объявили об открытии и демонстрации сохранившихся фресок XVII века в церкви на Никитниках (рядом с ЦК КПСС). Интеллигенция стала интересоваться древнерусской национальной архитектурой и живописью, образцы которой сохранились в виде икон. В печати, радио и на телевидении зазвучало слово «реставрация» применительно к древним церквам и иконам. Многие усматривали в этом возможность уйти от официальной, подавляющей все тоскливой коммунистической пропаганды к более интересной и богатой духовной жизни. Андрей говорил о деревянных церквях на Севере, об интереснейших старых иконах и замечательной природе. Маша и Андрей приобрели разборную байдарку и путешествовали на ней по северным рекам. И, как память об этих поездках, на стенах комнаты красовались старинные расписные прялки и темные иконы.

Это была очень теплая встреча. Немного огорчала отчужденность Маши, но мы надеялись, что это со временем пройдет. Андрей записал наш телефон и, прощаясь, заметил:

— Вот только на будущее — не надо приносить вино, это баловство. Лучше — водку. Еще одна новая черточка в его пристрастиях.

Мы с Илей возвращались домой, обсуждая эту встречу. Да, Андрей изменился. Стал мужественней, жестче, уверенней в себе. О работе говорил мало, — видимо, она его не очень занимала. Но встреча с ним оставила самое приятное впечатление, и мы оба были рады восстановлению старого знакомства.

В очередное посещение Маша была уже мамой. Родила она сына, и назвали его Егором. Андрей сказал, что имя это дали мальчику в честь обнаруженной ими на Севере большой иконы Святого Георгия письма XIV века. Маша и Иля обсуждали детали выкармливания и воспитания грудничков, а Андрей увлек меня в дополнительную жилплощадь, которую выделили ему в полуподвале подъезда. Эту комнату с облезлыми сырьеватыми стенами и окном, почти целиком утопленным в обложенную кирпичом яму, он важно называл «мой кабинет». Здесь он и писал свои труды по литературе начала века. С немалой гордостью Андрей сообщил, что скоро выйдет том стихов Бориса Пастернака в голубой серии поэтов, и сборник выйдет с его — Андрея — предисловием.

Разговоры в «кабинете», вкупе с водкой, создавали впечатление отрыва от привычного окружения и касались самых разнообразных тем, и главным образом — литературы. В пору «оттепели» появились молодые поэты и прозаики. Имена Евтушенко, Ахмадулиной, Вознесенского, Аксенова, Гладилина, Семенова и многих других были на слуху. Старая гвардия привилегированных литераторов, борясь за свои места под солнцем, агрессивно противостояла молодым. Андрей рассказывал о разделении пишущих кругов на прогрессивный — «Новомирский» — авторов, группирующихся вокруг журнала «Новый мир» во главе с Твардовским, и реакционный — «Октябристов» — возглавляемый Кочетовым, главным редактором журнала «Октябрь».

К этому времени я работал в ОКБ, косвенно связанным с оборонной техникой, а значит, автоматически, с секретностью, госбезопасностью, военным представительством. Охранители государственных тайн, нередко проявляя техническую тупость, просто мешали работе. Андрей высказывал откровенное пренебрежение к представителям госбезопасности, уверяя, что ему приходилось с ними сталкиваться после встреч с иностранными славистами.

— Перед ними, — говорил он, — нельзя пасовать. Чем уверенней с ними держишься, тем скорее они отстают. Поверь, я имею опыт.

Однажды Иля, Андрей и я в «кабинете» в очередной раз обсуждали результативность нашей работы. Иля говорила о сложностях работы детского врача на участке, я — о бюрократическом торможении технического прогресса. Андрей же, выслушав нас, произнес:

— А я уже сделал достаточно. Даже если я сегодня умру, мне не страшно — меня уже не забудут.

Нас это немного удивило. Мы знали, что у Андрея есть литературоведческие труды, опубликованные в специальных журналах, критические статьи в «Новом мире». Его наивысшим достижением полагали предисловие к сборнику стихов Бориса Пастернака в престижной голубой серии. Вдаваться в подробности не стали, полагая, что Андрей говорит, сколько считает нужным. В преувеличениях или даже в самом малом хвастовстве мы его никогда не замечали, и именно поэтому сказанное им запомнили.

Тем летом один из товарищей по туристским походам собрался в байдарочный поход по северным рекам. Он обратился ко мне с просьбой помочь найти человека, знающего эти места. Я заверил его, что такой человек есть. Договорившись о встрече, мы отправились к Андрею.

Шел август месяц. Чтобы растить маленького Егора на свежем воздухе, Маша и Андрей приобрели старый покосившийся домик на окраине Москвы. Это была их, с позволения сказать, дача. На крохотной терраске мы разложили схемы и обсуждали различные варианты маршрутов. Андрей, как настоящий знаток русского севера, сыпал подробностями, где и что можно увидеть, где лучше начинать и заканчивать маршруты, как добираться к исходному пункту и выбираться с конечного. Полученные у него сведения были очень полезными. Андрей же просил по возвращении из похода обязательно поделиться впечатлениями. Конечно, дело не обошлось без заздравных рюмок с перекусом, и, после чая, договорившись о встрече примерно через месяц, мы уехали.

Я не мог себе представить, что видел тогда Андрея в последний раз.

Через месяц, в сентябре, в центральной печати появилась информация об аресте Андрея Синявского и Юлия Даниэля.

Газеты и радио сообщали, что «компетентные органы» вскрыли проводившуюся в течение ряда лет антисоветскую деятельность «злостных двурушников» и «мораль-ных разложенцев» Ю.Даниэля и А.Синявского. Эти «негодия» пересылали для публикации в капиталистических странах свои «ничтожные пасквили», порочащие коммунистическую идеологию, Советскую власть и все наше общественное устройство. Особое внимание уделяли тому, что русский Андрей Синявский скрывался под псевдонимом «Абрам Терц», а еврей Юлий Даниэль подписывал свои измышления «Николай Аржак». Шло долгое следствие. Печать обливала «подонков» грязью.

Примерно через год состоялся суд. Якобы открытый. Специально подобранный публикан на каждом заседании бушевала негодование и требовала самой суровой кары «предателям». Знаменитый писатель М. А. Шолохов публично сожалел, что сейчас не времена военного коммунизма, когда этих молодчиков судили бы не по каким-то там законам, а исходя из «революционной целесообразности».

На суде Даниэль и Синявский виновными себя не признали. В истории подобных судебных процессов в нашем государстве это было впервые. Тем не менее, Даниэля, фронтовика, имеющего ранения, присудили к пяти годам исправительно-трудовых лагерей, Синявского – к семи годам.

«Оттепель» – закончилась. Наступили морозы. И надолго.

В 1970 году тихо, без шума, освободили Даниэля. Выехать из Союза он отказался. В Москве ему жить было запрещено. Поселился в одном из близлежащих городов, кажется, Калуге.

В 1973 году, после освобождения, Синявский со своей семьей эмигрировал в Париж.

Связи с Андреем, естественно, не было никакой. По «вражеским голосам» иногда доходили слухи об Андрее и Маше. Из них было понятно, что они благополучны, что Андрей является профессором славистики в Сорbonne. Читает лекции. Узнали также, что Маша Розанова издает журнал «Синтаксис», где Андрей публикует свои работы. Иногда, сквозь бульканье глушилок, удавалось выловить отдельные фразы из произведений Николая Аржака и Абрама Терца, но составить впечатление о них возможности не было. Доступа к их печатным изданиям у нас, разумеется, не было.

* * *

В 1994 году наша семья эмигрировала в Германию. Мы живем в Дюссельдорфе. До Парижа шесть часов езды. Никаких специальных оформлений — бери билет и езжай. Есть и экскурсии, вполне доступные.

— Давай съездим в Париж, попробуем и к Андрею зайти!

— Конечно, давай, вот только... — и находилась какая-нибудь причина, поездка откладывалась, ведь можно в любой момент!

Возможность — вещь коварная: есть она, — можно и отложить на пару дней, да так и не успеешь.

Весной 1997 года пришло сообщение: В Париже в возрасте семидесяти двух лет скончался писатель, публицист и ученый-славист Андрей Синявский.

Вот и не успели.

Горько очень...

Передо мной двухтомник Абрама Терца (А.Синявского), изданный в Москве. Читаю. Слышу голос и интонации Андрея. Нахожу отрывки, которые как будто прорывались по радио сквозь глушение. Удивительно. Многое Абрам Терц писал в то время, когда мы поддерживали дружеские отношения с Андреем Синявским.

Мы благодарны судьбе, одарившей нас знакомством с Андреем Синявским, но очень жаль, что Андрей не познакомил нас с Абрамом Терцом. Нам было абсолютно ясно критическое отношение Андрея к советскому режиму, коммунистической идеологии, совершенно подавлявшей личность. Но мы и не подозревали, что его мысли и переживания по этому поводу так смело и образно выражал Абрам Терц. Возможно, он просто ограждал нас от излишнего и далеко небезопасного знакомства.

И если в мировом демократическом сообществе стали понимать, что представлял собой общественный климат Советского Союза, в этом немалая заслуга Абрама Терца.

И хорошо бы, вблизи старого Арбата, на стене дома № 9 по Хлебному переулку появиться мемориальной доске с лицом Андрея Синявского.

Июль 1997 года

Револьд БАНЧУКОВ

Хамельн

ТРОПОЙ ПАСТЕРНАКА

ПАСТЕРНАКОВСКИЕ СЮЖЕТЫ И ОБРАЗЫ
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ ПОСЛЕДНИХ
ДЕСЯТИЛЕТИЙ



Еще в 1926 году выдающийся немецкий поэт Райнер Мария Рильке написал Леониду Осиповичу Пастернаку, отцу поэта, о том, что прочел «очень хорошие стихи» Бориса, а через десять лет Анна Ахматова воздаст великому поэту уже по вселенской мерке:

Он награжден каким-то вечным детством,
Той щедростью и зоркостью светил,
И вся земля была его наследством,
А он ее со всеми разделил.

«Поэт и царь» – вечная проблема русской литературной истории, и посему власти и Пастернак – явления, взаимоисключающие друг друга, взаимопонимания здесь быть не может. Вспомним известную еще по «самиздату» строфи Наума Коржавина (Манделя), за которую поэт при жизни «вождя народов» угодил в ссылку:

А там в Москве, в пучине мрака,
В шинели он смотрел на снег,
Не понимавший Пастернака
Суровый, жесткий человек.

Далеко не все поэты шли тропой Пастернака, так определившего свое кредо:

Я не рожден, чтобы три раза
Смотреть по-разному в глаза.¹

Однако нас в этой статье заинтересуют не нравственно-политические аспекты, а то, как пастернаковские мотивы и образы отразились в русской поэзии последних десятилетий.

Долгие годы общественная жизнь в нашей многострадальной стране была похожа скорее на политические игры, на неудавшийся спектакль, на театр абсурда. Именно об этом запрещаемое в течение долгих лет стихотворение Бориса Пастернака «Гамлет»:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отолоске,
Что случится на моем веку.

¹Думаю, что именно от этих пастернаковских строк «отталкивался» Александр Архангельский в своей знаменитой эпиграмме:

Все изменяется под нашим зодиаком,
Но Пастернак остался Пастернаком.

На меня наставлен сумрак ночи²
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.³

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

На фасаде театра «Глобус», где играл Шекспир, были такие слова: «Весь мир лицедействует», всем также известен крылатый образ-афоризм Шекспира: «Весь мир — театр, в нем женщины и мужчины все — актеры». Пастернаковское стихотворение «Гамлет»⁴ с первой же строки нацелено на дальнейшее развитие именно этого шекспировского образа; пастернаковский «Гамлет», однако, связан уже с нашей эпохой.

Как бы продолжил пастернаковский сюжет Илья Габай — поэт трагической судьбы, бывший узник Кемеровского лагеря, в тридцать восемь лет (уже в послесталинские годы!) ушедший по своей воле из жизни:

Слова! Слова! Весь этот хлам —
Не соучастье ль, друг Гораций,
В постыдной смене декораций
И париков — без смены драм?

В этом же ключе написано Владимиром Корниловым стихотворение о самоубийстве Хемингуэя:

Если детство без цели
И дермо режиссер,
Рухнуть прямо на сцене
Доблесть, а не позор.

Думаю, что знатоки поэзии Вознесенского вспомнят строки из «Монолога Мерлин Монро»:

...ведь нам, актерам,

² Ночь как символ сталинского мрака не раз встречается в русской поэзии разных лет: Мандельштам: «Помоги, Господь, эту ночь прожить...»; Ахматова: «И ночь идет, (Которая не ведает рассвета»; Тряпкин: «Какие ветры прощумели! Какая ночь тогда была!..»; Чичибабин: «...и ноши не преодолеть, /и ночи не перебороть».

³ З и 4 строки второй строфы почти дословно воспроизводят слова Христа из молитвы в Гефсиманском саду: «Авва Отче! Все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо Меня...» (Евангелие от Марка, гл.14, ст.36), сказанные в ситуации, вошедшей в мировую культуру как последнее искушение Христа, который знает, какие муки предстоят ему, и, заколебавшись, хочет просить Отца, дабы отвел от него чащу страданий.

Б. Пастернак «обиграл» эту ситуацию по-иному: поэт просит Бога о спасении души, ибо быть фарисеем в политической драме своего времени он не хочет.

⁴ Эти стихи В. Высоцкий положил на музыку и пел под гитару в самом начале спектакля «Гамлет» в Театре на Таганке.

жить не с потомками,
а режиссеры — одни подонки...

Да не о Шекспире, не о Хемингуэе, не о Гамлете и его друге Горацио написаны все эти стихи, а о наших временах, о нашей жизни.

Помните строки из «Зимней ночи»:

Мело, мело по всей земле
Во все пределы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Как летом роем мошкара
Летит на пламя,
Слетались хлопья со двора
К оконной раме.

Метель лепила на стебле
Кружки и стрелы
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Зажженная свеча — центральный символический образ в «Докторе Живаго», куда вошли двадцать пять стихотворений Пастернака, в том числе и «Зимняя ночь», как стихи главного героя. Кстати, одним из предполагаемых названий романа было — «Свеча горела».

И хотя это стихотворение — о ночной встрече, о близости двух сгорающих от жаркой страсти людей («Скрещенья рук, скрещенья ног,/Судьбы скрещенья»), оно настраивало большинство читателей на героико-романтический лад, воспринималось как символ негасимого огня жизни, борьбы, творчества, чуть ли не перекликаясь с хрестоматийными строками Маяковского: «Светить всегда, светить везде...», отзывалось, словно эхо, в целом ряде поэтических произведений:

Может быть, тому порукой
Был огарок восковой,
Освещивший столько муки,
Столько боли вековой.

Варлам Шаламов.

В том равновесье меж добром и злом
был он повинен. И земля летела
неосторожно, как она хотела,
пока свеча горела над столом.

Белла Ахмадулина

Я мог бы привести и другие примеры — напомню лишь об известной песне Андрея Макаревича с неоднократным повторением строки: «Пока не меркнет свет, пока горит свеча».

Начало стихотворения Андрея Вознесенского «Нас много. Нас может быть четверо...», повторяющееся в измененном виде в последней строфе: «Нас мало. Нас может быть четверо...», — все это вариации стихотворения Бориса Пастернака «Нас мало. Нас, может быть, трое...» (1921)⁵. Но суть стихотворения разная. У Пастернака — растерян-

ность поэта в первые послереволюционные годы, бешеный ритм эпохи, когда, пытаясь слиться со вздыбленной революцией массой, поэт терял ощущение собственного «я»:

Мы были людьми. Мы эпохи.
Нас сбило и мчит в караване,
Как тундру, под тендера вздохи
И поршней и шпал порыванье.

В стихотворении Вознесенского, посвященном Б.Ахмадулиной, – радостный ритм жизни, радость первооткрывателей, которых – здесь, по моему глубокому убеждению, Вознесенский ошибается – только четверо⁶:

Что нам впереди предначертано?
Нас мало. Нас может быть четверо.
Мы мчимся –
а ты божество!
И все-таки нас большинство.

«Четверо» – это Евтушенко, Окуджава, Ахмадулина, Вознесенский. И все?!

За год до написания Вознесенским этого стихотворения Анна Андреевна Ахматова в стихотворении «Нас четверо» определяет свою «обойму» имен: эпиграфами к стихотворению поэтессы избрала строки Мандельштама, Пастернака и Цветаевой – поэтов, о которых она с грустью и любовью вспоминает, забыть которых не может:

Все мы немного у жизни в гостях,
Жить – это только привычка.
Чудится мне на воздушных путях
Двух голосов перекличка.

Двух? А еще у восточной стены,
В зарослях крепкой малины,
Темная, свежая ветвь бузины...⁷
Это – письмо от Марини.

Хотелось бы отнести к этим «пересекающимся орбитам» и строфу Маяковского из «Разговора с фининспектором о поэзии»:

Эти

⁵ Ольга Ивинская в книге «В плена времени. Годы с Борисом Пастернаком» свидетельствует, что это стихотворение адресовано Цветаевой и Маяковскому.

⁶ Ср. со строками Б.Ахмадулиной из «Подражания» (своеобразная «перелицовка» пушкинского «Ариона»):

Грядущий день намечен был вчерне,
насущный день так подходил для пенья.
И четверо, достойных удивенья,
гребцов со мною плыли на челне.

На ненаглядность этих четверых
все бы глядела до скончанья взгляда...

⁷ У Цветаевой было стихотворение «Бузина» (1931–1935). Помню, как в апреле 1978 года в Харькове А.Вознесенский на своем вечере на ходу придумал концовку для стихотворения «Смерть Шукшина», к сожалению, не вошедшей в сборники поэта:

У Марини была бузина,
У него это было калиной.

сегодня
стихи и оды,
в аплодисментах
ревомые ревмия,
войдут
в историю
как накладные расходы
на сделанное
нами —
двумя или тремя⁸ —

и в значительной степени полемическое стихотворение Надежды Кондаковой «Счет» — о тех поэтах (конечно же, их больше, чем четверо!), которые, подобно здровому семени, прорастали «сквозь корку корости»:

Нас мало. Нас, может быть, тысяча
иголок, зарытых в стогу.
Но время найдет и отыщет,
а я отыскать не могу.

В русской поэзии последних десятилетий есть немало почти дословных отзывов пастернаковских мотивов. Один из примеров связан с пастернаковским стихотворением «Ночь» (1956), которое венчает такие строфы:

Не спи, не спи, работай,
Не прерывай труда,
Не спи, борись с дремотой,
Как летчик, как звезда.

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты — вечности заложник
У времени в плуню.⁹

Именно эти две строфы «аукнулись» в известном стихотворении Николая Заболоцкого, написанном в 1958 году, незадолго до смерти:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

Все, кто жил в Переделкино, знают, как поздно гас огонь в окне пастернаковского

⁸ Не оправдания ради, а только правды ради скажу, что тот «счет» («трое», «четверо», «двумя или тремя») был не выражением высокомерного зазнайства или претензий на лидерство в литературе, а возникал как закономерная реакция на травлю или в лучшем случае замалчивание в условиях тоталитарного общества, когда сотни бездарностей официозной критикой расхваливались на все лады.

⁹ Вспоминаются строки Юрия Левитанского:

Но три эти слова — не спи,
художник! он так выговаривал,
как будто гореть уговаривал
огонь в полуночной степи.

кабинета. Таким же великим тружеником был Заболоцкий: «Николай Алексеевич работал с утра до вечера, от зари и до зари» (Б.Слуцкий).

Ольга Ивинская, которая последние четырнадцать лет жизни поэта была его музой и любовью, вспоминает то страшное время, когда Пастернака (за роман «Доктор Живаго», за Нобелевскую премию!) исключили из Союза писателей: «Многие друзья тогда перестали бывать у нас. Создалось чувство, что мы в загоне...»

Последнее чувство стало, пожалуй, опорным, главным, в стихотворении «Нобелевская премия» (1959), половину которого я процитирую:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу ходу нет.

Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду,
Будь что будет, все равно.

И Высоцкий в «Охоте на волков», написанной в 1968 году, после появления серии статей, шельмующих песенное творчество поэта, уподобляет себя волку, которого обложили вельможные охотники:

Идет охота на волков. Идет охота!
На серых хищников — матерых и щенков.
Кричат загонщики, и лают псы до рвоты.
Кровь на снегу и пятна красные флагжков.

Подтекст стихотворения «Охота на волков» настолько обнажен, что его и подтекстом можно назвать с большим трудом: да, идет охота, но «охота» на людей — на писателей и поэтов.

Отзвуки пастернаковских строк и строф мы найдем во многих стихах русских поэтов. Приведу несколько примеров:

Пастернак:

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица...

Е. Винокуров:

Берегите лицо человеческое...

Пастернак:

Во всем мне хочется дойти
До самой сути...

А. Вознесенский:

Добирайтесь в вещах до сути...

Пастернак:

Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем...

В. Соколов:

Нет школ никаких, только совесть...

Как не вспомнить проницательные строки Анны Ахматовой о том, что, «может быть, поэзия сама одна великолепная цитата».

Конечно же, прием цитат и полуцитат еще не говорит о глубинных поэтических традициях. Я думаю, что первым среди наследников пастернаковских традиций следует назвать блистательного Андрея Вознесенского, еще шестиклассником пославшего письмо с стихами Пастернаку, учеником которого он себя считал уже в самом начале пути:

Несется в поверья
верстак под Москвой,
а я подмастерье
в его мастерской.

Великий поэт написал Андрею из больницы: «Я всегда любил Вашу манеру видеть, думать, выражать себя». Приметы этой манеры – и пастернаковское умение видеть (не отсюда ли видеообразы и видеомы Вознесенского?!), и требующие немалых умственных усилий метафоры, и перенасыщенность стихов звукописью, и многое другое – все это роднит двух замечательных русских поэтов.

Я уже не говорю о стихотворении «Любимовская рапира», рассказывающем о том, как Пастернак пригласил юношу Вознесенского в театр и как вырвавшаяся из рукости рапира вонзилась между их кресел, о посвященных Пастернаку страницах в книге «На виртуальном ветру» (Москва, изд-во «Вагриус», 1998), о вырезанной цензурой финальной строфе «Книжного бума».

Желают люди первородства,
И в этом есть великий знак.
Ахматова не продается,
Не продается Пастернак.

Правда, однажды, во время травли Пастернака после присуждения Нобелевской премии, Вознесенский как-то незаметно отодвинулся в тень, сошел со сцены. И по воспоминаниям Т.Ивановой в книге «Воспоминания о Борисе Пастернаке», Борис Леонидович грустно шутил: «Андрей, должно быть, эмигрировал на другую планету...»

Мне лично очень больно, что мой любимый поэт (пусть и однажды!) свернулся тропы Пастернака...

В заключение (здесь мне придется несколько отойти от главного аспекта статьи) скажу, что в поэзии последних десятилетий есть немало стихотворений – спутников разных вех пастернаковской жизни. О том, как расправлялись с Пастернаком «коллеги» по писательскому цеху писали Александр Галич:

Мы не забудем этот смех
И эту скуку!
Мы поименно вспомним всех,
Кто поднял руку!

и Глеб Горбовский:

В середине двадцатого века
На костерозвели человека.
И пытали его, и томили,
Чтоб он стал невесомее пыли.

Пастернак похоронен на холме у трех переделкинских сосен, на которые он смотрел из окна своей рабочей комнаты:

В Переделкине
в мареве света
Три печальные вижу сосны
Что стоят над могилой поэта,
Словно три неразлучных сестры.

*Расул Гамзатов
(Перевод Я.Козловского)*

Потом случайно обнаружили возле могилы поэта подслушивающие устройства, а потом случилось то, о чем с горечью написала Римма Казакова:

...Уезжают русские евреи,
покидают отчий небосвод.
И кому-то, видно, душу греет
апокалиптический исход.
Расстаются невозвратно с нами,
с той землей,
где их любовь и пот.
Были – узы, а теперь
узлами,
словно склад, забит аэропорт.

Что сказать, что к этому
добавить?
Это чья победа, чья беда?
Что от них нам остается?
Память.
Памятники духа и труда,
Удержать их, не пустить
могли ли?
Дождь над Переделкиным дрожит.
А на указателе к могиле
Пастернака
выведено:
жид.

Позорное слово убрали, а тропа к могиле осталась, народная тропа.



Григорий КРОШИН

Дюссельдорф

ВЛАСТИ-МОРДАСТИ»

Григорий Крошин – писатель-сатирик, фельетонист и драматург, многолетний корреспондент журнала «Крокодил», а с начала горбачевской перестройки – парламентский корреспондент... «Крокодила» (такое вот неестественное сочетание)... Был аккредитован в этом качестве вначале – на союзных Съездах народных депутатов и в Верховном Совете СССР, потом – на депутатских и правительственные тусовках России и Москвы. За годы работы аккредитованным корреспондентом и, следовательно, постоянного и весьма близкого, к сожалению, общения с избранниками народа, у автора накопилось множество историй – смешных, а значит, по сути, печальных – о нынешних политиках, от Горбачева и Ельцина до наших дней. Из этих историй собралась книга под названием «Власти-мордасти», отрывки из которой и предлагаются читателю.

НЕ НАПЕЧАТАЮТ...

Шла сессия того еще Верховного Совета Союза ССР. Пока все депутаты в зале, в коридоре пустынно, стоит гулкая тишина. За одним из столиков в фойе, спиной ко мне, сгорбившись, сидит известный тогдашнему избирателю парламентарий, диссидент-историк и говорит по телефону, зная, что вокруг никого нет:

– А ты что, все еще с этим пьяницей Ельциным?.. Да он же запойный!.. Все знают!

Через пару дней другой известный депутат, маршал, распространял среди избранников народа письмо с такими словами: «...новый глава России, пьяница Ельцин»...

У меня вызрела в голове тема о сплетнях и наветах в депутатской среде. Я решил предложить ее редакции «Крокодила», где тогда служил. Зашел к заму главного редактора, чтобы заранее обговорить будущий материал. Зам, выслушав, понимающе закивал головой:

– Да-а, ужасно. Дикость какая-то!

Потом спросил меня:

– Ты сейчас-то прямо оттуда? С сессии? Ну, как там наш Борис Николаевич?

– В каком смысле?

– Ну... как он вообще?.. Трезвый?

Я понял, что материал мой в журнале не напечатают.

Я ВАМ РАЗРАБОТАЮ!

На Съезде народных депутатов России объявлен перерыв. В Георгиевском зале Кремля, где проходили эти съезды, окруженный солидной толпой народных избранников, – завсегдатай всех последних депутатских форумов (тогда еще лишь в качестве гостя или аккредитованного корреспондента газетки «Либерал», а не так, как сейчас, – дважды депутата и дважды кандидата в президенты России) лидер либерально-демократической партии Советского Союза **В.В. Жириновский**. Гость вещает свое, а среди избранников народных то и дело хохот. Слыши:

– И Жванецкого не надо, когда есть Жириновский, верно?..

Подхожу поближе. Оказывается, главный либерал-демократ всего Союза читает избранникам-россиянам популярную лекцию о том, какой должна быть, по его разумению, новая Конституция Российской Федерации. Не устраивает Жириновского ни «ельцинский» вариант, ни «хасбулатовский», ни «румянцевский».

– А вы посмотрите, – разошелся уже В.В., – кто разрабатывает вам *русскую Конституцию!* Смех, да и только! Смотрите: ответственный секретарь комиссии кто – Румянцев, да? Но как его зовут, помните? Во-во: Олег Германович! *Германович!!!* А я разработаю вам истинно *русскую Конституцию*. А не ту, что Олег *Германович*, – пообещал депутатам Владимир *Вольфович*.

ГЕНЕРАЛ – НЕ ДИКАРЬ

В Кремле давали обои.

Да, именно в Кремле, на одном из последних Съездов народных депутатов Верховного Совета России (того самого, вскоре благополучно разогнанного), давали обои. Обычные обои, которыми обклеивают дома стены. И именно «давали», а не продавали. То есть абсолютно даром. Ну, по-русски, – халява.

Правда, не подумайте плохого, давали не подряд всем и каждому, так не бывает в жизни. Давали исключительно всенародным нашим избранникам.

Избранной публике, словом. Как бы в подарок, на долгую память. Нет, не о Съезде этом последнем: в те дни еще никто не догадывался, что он последний. И не о Кремле. Нет. На долгую память о... Гехте.

Поясняю: *Гехт* – это фамилия. Был такой, сейчас уже, конечно, всеми забытый, народный депутат, стойкий коммунист-ленинец, а по совместительству еще и директор Серпуховской бумажной фабрики. Которая эти халявные обои как раз и выпускала.

Почему этот самый Гехт ту халяву решил для коллег устроить? Кто его знает, может, место себе в депутатском руководстве «столбил» (а в те дни как раз какие-то высшие органы съезда формировались дополнительно), а может, просто-напросто такой добрый был этот директор-ленинец. Дело не в этом даже.

А в том, что большинство избранников нашего народа, этих абсолютно бескорыстных политических бойцов за народное благо и всеобщую социальную справедливость, смотрю, организованно кучкуется в перерыве у прилавка.

Терпеливо, без лишней паники, ждут своей очереди у раздачи. Вперед не лезут, привилегий себе дополнительных не требуют. Тут, как говорится, все равны. Как в бане...

Время от времени отходят, довольные, каждый – с полагающимся ему по статусу депутата рулоном обоев: тут и сердитый на всех аппаратчиков мира радикальный демократ Челноков (который через пару месяцев будет клеймить Чубайса и прилюдно,

на сессии парламента, бросать ему в лицо ваучеры), и неистовый борец за права угнетенного русского народа, сподвижник Бабурина Павлов, тут и сам Сергей Бабурин, вождь Российского общенародного Союза, тут и гордый телекомментатор-демократ Тихомиров, и совестливый Сергей Адамович Ковалев. Словом, всех Гехт попутал.

Здесь и там слышатся взволнованные депутатские диалоги о самом сейчас для них насущном:

— Вань, а ты-то взял обои?

— А как же! — доволен приобретением тогдашний коммунист — лидер коммунистов, а в недалеком будущем, как мы уже знаем, спикер новой Думы, потом секретарь Совета безопасности, вице-премьер ельцинского кабинета и прочая, прочая... **Иван Рыбкин**.

— Уф-ф, все! — облегченно вздыхает, выбираясь от прилавка с алкаемым рулоном в руках **Анатолий Шабад**, член фракции «радикальных демократов», в свое время доверенное лицо академика Сахарова: — Та-ак, теперь надо бы надписать... — Тут же достает авторучку и действительно надписывает свой рулон на упаковке. И правильно! А что, если позарится на это бесплатно доставшееся богатство кто-то из уважаемых коллег-оппозиционеров, которым не досталось.

Кстати, не всем досталось той халявы. И тут, стало быть, сказался дефицит. Кто-то опоздал к халявиной раздаче.

— Скажите, где-то тут обои давали, а? — подбегает к опустевшему прилавку запыхавшийся председатель Комитета по печати (впоследствии неудавшийся председатель Гостелерадио) **Вячеслав Брагин**, демократ:

— Что? Кончились?? Уже-е!? Они уехали!?! А-а-а...

Мимо него с гордой военной выпрявкой шествует раскрасневшийся от удачи генерал и одновременно депутат-патриот **Борис Тарасов**, известный заместитель скандального генерала (потом — в октябре 93-го штурмовавшего Останкино, отсидевшего свое в Матросской тишине, а затем в Госдуме) Альберта Макашова.

— И вы, значит, Борис Васильич, обои взяли?

— Да! — говорит генерал гордо. — А что ж, мне теперь дикарем ходить, что ли?

В самом деле. Какой же генерал без дармовых обоев-то? Дикарь, да и только.

«ЕЛЬЦИНА ТАК И ТЯНЕТ НА ПЕЧКУ»

В одной из бесед с известным белорусским писателем-публицистом, депутатом первой демократической волны **Алесем Адамовичем** (ныне покойным) зашла у нас речь о президенте Ельцине. Спрашиваю Адамовича:

— Александр Михайлович, как вы вообще относитесь к Борису Ельцину?

— Знаете, некоторые из моих друзей-интеллигентов говорят и пишут так: «Ельцин?.. Ну, ведь он же не читал Шопенгауэра! И Достоевского, наверняка, не прочитал всерьез...» И так далее. И по этой причине смотрят на Ельцина свысока. Что тут можно сказать? Да, наверное, он много не читал, что читали мы. Но все мы, читавшие, уверен, на его месте, на его посту очень мало чего бы стоили. У него перед всеми нами есть неоспоримые преимущества: он прежде всего человек дела, волевой, нацеленный и по-хорошему самолюбивый. Кроме того, что немаловажно, — упрямо честный: действует методом «проб и ошибок» и если ошибается, то признается в этом открыто, честно.

— С вашей точки зрения, каких качеств не хватает Ельцину-президенту?

— Кто-то про него сказал: «Он слишком русский». А я вот и представляю себе та-

кого русского, как Илья Муромец, который тридцать три года лежал себе на печке, а потом слез с нее и пошел добиваться блага для Руси и защищать ее интересы. Так вот, как я вижу, в Ельцине есть эти симпатичные черты былинного Ильи Муромца, которого, помните, все время тянет на печку. Вот он сделал дело, так сказать, закрутил колесо, оно пошло-поехало, а он — на печку, с чувством исполненного долга. Так и Ельцин: ему иногда не хватает желания *дожать* какие-то начатые им действия — ЕГО ВСЕ ВРЕМЯ ТЯНЕТ НА ПЕЧКУ!.. Помните, как после августа 1991-го он, сделав главное дело, преспокойно уехал себе в отпуск. Есть такие решающие моменты, когда нашему Илье Муромцу ни в коем случае нельзя лезть на печку!..

ЭТО НЕ ДЗОТ, А ... КУРЯТНИК

В другой раз, после очередного гневного, разоблачительного выступления кинорежиссера **Станислава Говорухина** (ныне — депутата Российской Госдумы, председателя парламентского Комитета по культуре) против «ельцинского режима», прошу Алекса Адамовича прокомментировать политические метаморфозы, происходящие с его коллегой по Союзу кинематографистов. Он вдруг хитро улыбается:

— Говорухин... Я где-то уже рассказывал об образе, пришедшем мне в голову в связи с его нынешними метаниями в политике. Знаете, про некоего белорусского писателя, долгое время строившего из себя диссидента, говорили, что он напоминает человека, который вроде ползет к дзоту, чтобы закрыть его своей грудью. Ползет долго, упорно, поднимается в пяти шагах от амбразуры и — отважно закрывает ее грудью! А в этот момент из амбразуры... со страшным кудахтаньем вылетают куры!.. Оказывается, дзот этот давним-давно превращен в колхозный курятник. И, самое интересное-то в том, что он ведь уже прекрасно ЗНАЛ, когда полз, что это никакой не дзот, а курятник, а тем не менее всех нас пытался убедить и всячески делал вид, что ползет именно на амбразуру.

К чему это я? А вот как раз к тому, что и Станислав Говорухин сам-то прекрасно знает, что дзот, который он с лицом камикадзе на наших глазах пытается закрыть своей грудью, уже давно не стреляет.

И когда я вижу с телевизионного экрана трагическое, смелое, мужественное лицо Говорухина, я все время представляю себе того человека, «диссидента» нашего, ползущего к курятнику и закрывающего его своей грудью.

КОРОВЬИ ТАБЛЕТКИ ДЛЯ РУЦКОГО

В бытность свою вице-президентом России нынешний губернатор Курской области генерал **Александр Руцкой**, которого одно время президент Ельцин — с глаз долой — бросил на подъем сельского хозяйства, встречается как-то с российскими народными избранниками в Белом доме. Щедро делится своими планами мгновенного и резкого подъема села. Говорит зажигательно, демонстрируя залу графики и расчеты, но депутаты-агарии слушают его как-то недоверчиво.

— Александр Владимирович, — спрашивают сельские начальники ехидно, — а что вы-то *практически* лично делаете? Конкретно?

Они, избранники, вероятно, полагали, что у боевого генерала не найдется ответа. А он-то как раз и находится:

— Ну, вот, смотрите, — вице-президент откладывает в сторону указку. — Один только

пример. Мои специалисты-консультанты сказали мне недавно, что в Израиле разработали и собрали любопытный кормоуборочный комбайн: он косит траву любой высоты, тут же прессует ее в брикеты и выдает — готовые большие таблетки! Их потом остается только развести в теплой воде — и корми своих коров сколько душе угодно.

— Так то ж, Александр Владимирович, в Израиле, не у нас!..

— Да, в Израиле! Ну и что с этого!? — генерала не смутить такой мелочью. — А тут, как нельзя кстати, я узнаю, что наш знаменитый певец Иосиф Кобзон собирается туда с успешными гастролями. Я встречаюсь с ним и говорю: «Иосиф Давыдович, не попросишь ли заодно для меня у израильтян на пробу хотя бы несколько штук этих самых кормовых чудо-таблеток?» Кобзон, конечно, соглашается. И после своей успешной поездки привозит мне аж целых два мешка этих замечательных таблеток! Ну, едем мы с ним в одно знакомое село, у меня там в приятелях председатель колхоза, даем его чахлым, дышащим на ладан коровам израильские таблетки, предварительно разведенные в теплой воде.

Так, что бы вы думали? Эти несчастные голодные коровы нас всех чуть с ног не посыпали в драке за корм! А запах какой! Как настоящая трава, ни больше ни меньше!

Вот так, с одной стороны, удалось, наконец, с пользой применить талант певца Кобзона, а с другой — приобрести ценный опыт мгновенного подъема сельского хозяйства, который в то время, однако, так ничего и не дал, но, наверняка, пригодится теперь бывшему вице-президенту, бывшему узнику «Матрёсской тишины», а ныне — губернатору в практической реализации неосуществленных в свое время грандиозных планов преобразования российского села.

«ВСТРЕТИМСЯ В ЗАСОС!»

Год 1990-й. Еще СССР. Ярославль, час ночи с пятницы на субботу. Мы с коллегой только что сошли с ночного московского поезда. В это время суток даже на привокзальной площади довольно пустынно. Редкие случайные прохожие, почти нет машин, в том числе и такси. Озираемся по сторонам, пытаясь сориентироваться в ситуации, решаем, как добираться до гостиницы, вдруг...

Тишину ночного Ярославля взрывает шумная компания, появившаяся неизвестно откуда. Компания — человек пятнадцать взрослых обоего пола — явно навеселе, бегут по пустынной площади вприпрыжку, преувеличенно громко хохочут, перекрываются друг с другом, обмениваясь репликами, возятся, гоняются один за другим, но... при этом ведут себя как-то странно: оглядываются то и дело на одного из своей компании — высокого стройного, с узкой талией мужчину в папахе и кожаном расстегнутом пальто, и кричат время от времени одно и то же: «Махмуд! Махмуд, давай сюда!» Мужчина, однако, внимания на них почти не обращает, а делая руками всевозможные пассы, танцующей походкой движется к центру площади, прямо на нас с приятелем, одиноких на этой площади командированных с кейсами, растерянно озирающихся по сторонам в поисках такси.

— О-о! Какая встреча, ребята! — обращается мужчина в папахе к нам. — А мы только что с концерта. Знаете, очень хорошо принимали! Меня, правда, всегда очень хорошо принимают, верно ведь!?

— Конечно, еще бы, — сказал я, неожиданно узнав в танцующем знаменитого **Махмуда Эсамбаева**.

— Да? Правда? Вы ведь меня узнали, правда?!? О-о, постойте, постойте, так мы ж

с вами знакомы! Скажите на милость, кого только не встретишь в час ночи в провинции! Мы же с вами, кажется, по Кремлю вместе прогуливаемся, я вас запомнил, ха-ха-ха!!! А вы?

— Ну, конечно, — успокоил я народного артиста, лауреата всех премий и депутата всех созывов. Собственно, близко увидел я его впервые именно как депутата. Народного депутата СССР, члена Верховного Совета, Героя Соцтруда...

— А вы-то, братец, как здесь оказались? Ночью? В Ярославле? Мы-то хоть обязаны — надо танцевать, раз ты артист, а вы-то...

— Мы с коллегой приехали в командировку.

— Но мы же с вами знакомы! По Кремлю. Вы там что делаете, в Кремле? Я вас часто вижу, лицо знакомое.

— Я парламентский журналист, аккредитован на ваших съездах и сессиях.

— А-а, журналист, ясно. Я люблю журналистов. Я вообще добрый человек. Да-а... А чего я там вообще делаю, в этом Кремле, и сам не знаю. Выдвигают меня везде, вот я и иду, заседаю. Но я же там — вы же прекрасно знаете — только себя показываю, свою походку, помните? Смех, ха-ха-ха!.. В перерывах хожу на высоких каблуках взад-вперед по фойе, помните, несу свою роскошную фигуру, а?! Ха-ха-ха!!!

Он был определенно в отличном настроении после концерта, да еще явно успел чутЬ «подогреться». Вдруг наклоняется ко мне и, хитро сощурившись, шепчет:

— А хотите, журналисты, сейчас народ ко мне сбежится?

— Так нет же вокруг никого, поздно.

— Сейчас нет, а захочу — все сбегутся! Спорим?!

— Конечно, если сам Махмуд Эсамбаев станет танцевать... — пытаюсь отшутиться.

— Не верит он мне, — крикнул Махмуд куда-то в темноту, где продолжали шуметь его попутчики. — Ну, журналисты, смотрите, сейчас толпа сберется.

И он тут же, народный артист СССР, депутат Верховного Совета Советского Союза, Герой Социалистического Труда и прочая, и прочая... скинулся с себя на землю роскошное кожаное пальто. Потом — пиджак, потом своими знаменитыми на весь мир руками стал ... расстегивать брюки, всем своим видом показывая, что вот-вот разделется догола.

— Махмуд... — Я попытался как-то удержать депутата от необдуманных шагов, но ... тут он расхохотался на всю площадь.

— А-а, вы, значит, поверили, что я им сейчас покажу тут все свое богатство?! Ха-ха-ха!!! Мальчики, что вы, милые, вот им всем! А ведь все бы сбежались, точно? Или все же не верите?

— Конечно, конечно, точно бы сбежались. Еще бы не сбежаться — сам Махмуд Эсамбаев раздевается на площади, — поспешно поддержал я его шутку, чтоб, не дай бог, она не воплотилась в реальность.

— Ладно, мальчики, пошутили и хватит. Нам тоже пора спать. У нас был очень тяжелый день сегодня. Счастливо вам в Ярославле!

— Спасибо, и вам успехов.

— А мы с вами в понедельник встретимся, правда? Там же, в Кремле. Я опять буду там прохаживаться в перерыве. Ха-ха-ха! Мы с вами теперь встретимся взасос, верно?

— Конечно, Махмуд. Всего вам доброго!

— Встретимся взасос! Взасос!!!

И, накинув пальто, народный депутат всех созывов, 66-летний Махмуд Эсамбаев, раскинув крыльями свои знаменитые руки, затанцевал в темноту площади к своей компании.

А В 1917-М ЭТО БЫЛИ НЕ ВЫ?

Российские депутаты обеих палат собрались в Белом доме, чтобы обсудить печальные итоги коммунистического митинга 23 февраля 1991 года, прошедшего со спровоцированными потасовками.

Отстаивая свое предложение по недопущению подобного впредь, слово от микрофона взял **Владимир Комчатов**, народный депутат от движения «Демократическая Россия» и по совместительству – полномочный представитель президента России в Москве:

– Поймите, я же имею некоторый опыт в этом деле! Я ведь организовывал все митинги, начиная еще с 1989 года!

Председательствующий перебивает его:

– Это, извините, не довод. Я, например, организовывал такие митинги еще раньше – с 1988 года.

Голос с места:

– Можно вопрос? Скажите, а случайно организаторы митингов 1917 года здесь не присутствуют?..

А НУ, ПРЕЗИДЕНТ, ДЫХНИ!

До того октября 1993-го, когда российский Верховный Совет был за ненадобностью ликвидирован выстрелами в упор из танков, там кипели страсти. Страсти увлекательной борьбы на уничтожение между спикером всей Руси и президентом России. В омут политических разборок с удовольствием ринулись и председатель Конституционного суда, и вице-президент, и все депутаты разом, хотя и по разные стороны баррикад.

И вот последний, как потом выяснилось, Съезд народных депутатов. Ехидные обвинения спикера в адрес главы государства, мгновенные хлесткие ответы на публике литературно подкованного президентского пресс-секретаря Костикова, «чемоданы с компроматом» вице-президента, «миротворческие» пассы судьи Зорькина, нервные ерзанья тогдашнего спикерского зама Рябова то в одну, то в другую сторону между воюющими, улюлюканье коммунистической оппозиции от всех микрофонов сразу.

Вдруг, как снег на голову для заседантов, увлекшихся борьбой с отсутствовавшим противником, – и в зал после перерыва входит... президент страны **Борис Ельцин** и просит внеочередного слова. А как не дашь? По регламенту положено. Дают.

Президент по-хозяйски выходит на трибуну и начинает активно, без всякой бумаги, выговаривать избраникам за их несговорчивость и склонность к интригам. В зале – шок, мертвая тишина.

Но постепенно, по мере выступления Хозяина по рядам начинается сначала легкий шумок, потом гул, недоуменные перешептывания, злорадные усмешки. Причина? Непривычный внешний вид главы государства на трибуне. В самом деле: где его прекрасно сидящий костюм? Почему сбит набок галстук? Где всемирно знаменитая укладка седой президентской шевелюры? Почему вместо нее – растрепанные, спадающие то и дело на лоб волосы? Почему, наконец, у президента такое красное лицо? Да и речь-то, если внимательно прислушаться, какая-то... сбивчивая, негладкая...

«А-а, все я-а-а-асно!» – моментально догадалась обрадованная оппозиция, потирая руки от предвкушения грядущего скандала и окончательного загнания Хозяина в угол.

Тем временем Хозяин завершил короткую эмоциональную речь и решительно покинул зал: разбирайтесь, мол, сами, а я свое сказал.

А в коридоре, у дверей зала, президента, естественно, уже караулила вездесущая пресса. Мы кинулись к Ельцину, вытягивая ему навстречу свои диктофоны. Наши вопросы – его ответы. Один из коллег-газетчиков набрался смелости:

– Борис Николаевич, извините, но... Тут такое дело... Скажите, почему вы вдруг так неожиданно пришли на съезд, хотя вроде не собирались? Вон даже Костиков, говорит, ничего не знал... И вообще, вы сегодня как-то...

– Ну, вы же журналист! – говорит ему Ельцин. – Чего ж вы не спросите прямо: Борис Николаевич, а ты не пьян ли? А? Вы ведь именно это хотите узнать, да? Ну, подходите ближе, а я – дыхну! Подходите, что же вы! – повторил он к ужасу охраны.

Что ж, подошли мы. Президент дыхнул. И ... ничего плохого не выдыхнул!

А просто, оказывается, был в бане, и ни на какой съезд, действительно, не собирался. Но вдруг услышал по своему транзистору, какую депутаты на него «бочку катят», не выдержал, наскоро прибрал себя и – на высокую трибуну.

Какая уж тут прическа, когда такие страсти...

А ЗАВТРА РОДИНУ ПРОДАСТ?

На заседании Верховного Совета России – еще при Хасбулатове – идет утверждение на посты министров в правительстве. Обсуждается кандидатура **Леонида Арнольдовича Бочина** на должность главы Госкомитета по антимонопольной политике. Поначалу все вроде шло гладко, по обычной схеме: зачитывались отличные профессиональные характеристики соисканта, свидетельства авторитетов отрасли о его безупречной деятельности, заслушали – для порядка – самого кандидата, вяло задали несколько обязательных вопросов, вяло выслушали столько же обязательных ответов. Видно было, что все идет по инерции, для проформы.

Спикер всея Руси Руслан Хасбулатов монотонным голосом, как заученную роль, предлагает поставить кандидатуру на голосование, так как все, дескать, и так ясно, вопросов нет. Вдруг голос с места:

– Есть вопрос! – кричит депутат-коммунист **Любимов**. – Вопрос к кандидату.

– Ну, что-о-о-о вы, ей-богу! – недовольно ворчит спикер. – Что, такой уж важный вопрос, так, понимаете, ну?.. Ну, ладно, Любимов, пожалуйста, зада-а-айте, так...

Депутат выбегает к микрофону в зале:

– Я вот тут запросил вчера материал на кандидата. Из Иркутска, где он в свое время университет кончал. Так вот у меня вопрос такой к вам: а какая была в то время фамилия у вас, товарищ Бочин?

Шум в зале. Смех без причины. Потом – тишина. Бочин отвечает:

– Тогда была отцовская – Ройзберг.

– Ага-а! – как-то даже обрадовался депутат-коммунист. – А почему же сейчас другая?..

Как будто депутат не знает, почему.

Шум, выкрики, смех. Спикер говорит в микрофон:

– Ну, так... думаю, в общем-то, так,уважаемый кандидат, если он, так... не желает, может и не отвечать на подобные вопросы, так...

– Нет, почему же, – говорит Бочин, – я отвечу. Все просто: отец от нас ушел, развелся с матерью, я и взял ее фамилию. Все сделал официально, по закону.

— Ну, вот, хорошо, — сказал Хасбулатов, — вот все и разъяснилось, так...

Ничего, оказывается, хорошего. И ничего не разъяснилось депутатам. Снова шум, крики из конца в конец зала, перепалка демократов с коммунистами.

Один за другим стали выбегать к микрофонам ораторы. Один говорит, что тут для него что-то подозрительное, что-то, мол, не так:

— Как это можно — фамилию сменить!? Не женщина же!

Другой поддерживает:

— Как же я могу доверять министру, если он — СМЕНИЛ ФАМИЛИЮ !?

Третий добавляет с патриотическим пафосом в голосе:

— Сегодня он предал родного отца, а завтра — РОДИНУ ПРОДАСТ!?!..

Четвертый вообще поставил под сомнение все представленные документы на кандидата.

Лишь один депутат-демократ робко попытался намекнуть на истинные причины, побуждающие в этой стране менять фамилию Ройзберг на русскую, и подоплеку столь активного неприятия депутатами-коммунистами кандидата, оказавшегося неожиданно евреем.

Правда, в конце концов кандидатуру все же утвердили. Хасбулатов, как всегда, дождал депутатов. С пятого голосования...

ГОРБАЧЕВ ЛЕЖАЛ НА СТОЛЕ

Ирэн Андреева, союзный депутат, зампредседателя Комитета по депутатской этике, рассказала мне как-то про то, как, оказывается, президент СССР переживал свои взаимоотношения с академиком Сахаровым. В частности, когда в нашем с ней разговоре я спросил:

— Неужели на заседаниях своего Комитета вы ни разу не обсуждали грубое поведение Горбачева по отношению к Сахарову, его унизительную для последнего перепалку в присутствии всего съезда?

— Нет, не обсуждали... Но я сейчас вам расскажу один случай, который может кому-то не понравиться, но — это было лично со мной, поэтому я не могу не рассказать.

Итак, закончился съезд. Собираюсь уходить, вдруг оборачиваюсь на стол президиума, вижу: Горбачев, прощаясь с депутатами, смотрит с мою сторону и ... протягивает свой длинный палец, бросая мне: «Подожди!»... Он повернулся ко мне и вдруг... лег животом на стол, и его лицо мгновенно оказалось прямо возле моего лица, и загорал бешеным голосом:

— Вы соображаете, что вы делаете?! Вы когда-нибудь людей жалеть научитесь? Вы о чем-нибудь, кроме своих страостей, думать будете или нет??!

И вот постепенно, с его криком до меня начало доходить, что я для него — представитель московской группы. А он тем временем продолжал кричать мне в лицо:

— ... Вы будете жалеть старика?! Или так и будете везде продолжать выставлять его тараном для пробивания своих идей?

Я, поверите, сначала не могла даже понять: какого старика? А он мне:

— Вы что думаете, я — идиот? Я что, зала не знаю?! Да запомните вы: я каждую пару глаз в этом зале вижу и знаю реакцию зала наперед, а вы, ни черта не соображая, гоните человека на трибуну, чтобы погубить его! Вам его не жалко?!!..

И тут только до меня доходит, наконец, что он говорит о Сахарове. Он же ни разу не назвал его ни по имени, ни по фамилии, никак...

— ... Я делаю все, чтоб не дать им затоптать его! А вы!!!...

Вы представляете себе эту картину и мое состояние: глава государства лежит передо мной на столе, головой прямо чуть ли не в лицо мне, да еще пальцем своим длинным машет перед моим лицом, знаете, как он умеет... Сам весь красный!..

Что я хочу этим сказать? Очень трудно со стороны оценивать поступки людей.

... И ЗА ТУ ДЕВКУ

После обеденного перерыва в один из дней пленарных заседаний российского Верховного Совета тогдашний «спикер всея Руси» **Руслан Имранович Хасбулатов** начал парламентские бдения такими словами:

— Продолжим...так... работу. Очень мало людей... Куда делись слева сидящие все люди?.. Ну вот вы видели... так... вот здесь сидели, утром сидели, так, теперь куда же они делись? На митинге, что ли?...

На этих словах Хасбулатова мы, сидящие на балконе журналисты, понимающие переглянулись, потирая руки от предвкушаемого спектакля: мы-то знали точно, с чего это он вдруг завел речи о том, что «мало людей».

Каюсь, грешен: это именно я, периодический обитатель парламентского балкона, на депутатов, избранников наших народных, самому спикеру «накапал». Не далее как вчера вечером.

Дело в том, что как раз накануне во второй половине дня мы, несколько членов Гильдии парламентских журналистов, были высочайше приглашены лично председателем Хасбулатовым для теплой и непринужденной беседы власти с прессой.

Ну, беседа состоялась, прошла она в уютной обстановке просторного кабинета, с чаем, кофе и печеньем, вероятно, из представительских ресурсов Верховного Совета. Но, как волка ни корми... Словом, несмотря на всю эту притупляющую бдительность «хаялью», на проявленное хозяином демонстративное гостеприимство и радушие по отношению к ненавистной им прессе, я возьми да и совсем неблагодарно, хотя и вполне витиевато, ляпни вслух:

— Руслан Имранович, а как это так получается, что иные аномальные традиции бывшего антидемократического союзного парламента, оказывается, в нашем с вами, наоборот, весьма демократическом, российском парламенте не только успешно внедряются, но и в еще более аномальном, даже, я бы сказал, уродливом виде процветают?

Хозяин кабинета вздрогнул, насторожился, вынул даже трубку изо рта и повернулся наконец в кресле в мою малозначащую сторону, но меня уже было не остановить:

— Не считаете ли вы, уважаемый Руслан Имранович, что законы, принятые российским парламентом, таковыми, то есть ПРИНЯТЫМИ, подчас вовсе ... не являются? Фикция. Обман зрения...

— Не понял, так... Как это?

— А так: за них, за эти законы, голосуют... пустые кресла. Вместо живых депутатов.

Спикер еще раз хитро посмотрел в мою сторону, словно запоминая физиономию настырного корреспондента, но... возражать не стал. Правда, и не ответил ничего. Просто предложил не стесняться, закусывать, пить чай.

Конечно, эта дикая ситуация с методами голосования была ему слишком хорошо известна. Как и всем вообще, не только самим депутатам и не только журналистам, и не только российским. Иностранные корреспонденты, сидящие обычно рядом с на-

шими на том же балконе, тоже смеются, наблюдая, как эти «длиннорукие» многостакончики-избранные жмут кнопки голосования не только за себя, но и «за того парня», и «за ту девку», и за двоих-троих-четверых отсутствующих коллег по фракции. Некоторым «сидельцам» поручается проголосовать аж за весь отсутствующий ряд, в столах которого предусмотрительно оставляются манкирующими заседание их красивые карточки.

(Известны весьма забавные, прямо-таки фантасмагорические факты голосований по принципу «за того парня». Например, зарегистрирован случай, когда голосовавший депутат того же «хасбулатовского» парламента Муса Манаров отсутствовал в этом момент на своем месте, так как пребывал в командировке ... в космосе! А успешно продолжают «традицию» депутаты Государственной Думы: например, известно, что депутат Гусарова из фракции «Новая региональная политика», судя по стенограмме, исправно голосовала, нажимала кнопку на своем месте в зале — то «за», то «против», то «воздержалась», а сама в это время, оказывается, благополучно возглавляла делегацию в ... Америке).

А, кстати, то пленарное заседание, с которого мы начали рассказ, Руслан Имранович, подзуженный журналистами накануне, все же попытался «закольцевать», хотя и безуспешно:

— Давайте мы вот что сделаем. За три неявки, неучастие в работе Верховного Совета налагать соответствующие денежные санкции, вычет заработной платы... Прошу голосовать Внесем в соответствующий регламент... Так. Отклоняется. Ясно. Не хотите, значит, работать...

Странно, право же. Как будто он не знал.

«НЕ ГАВКАТЬ!»

Случилось это на публике, при всем честном народе, то есть при нас, журналистах, в российском Верховном Совете, а конкретно — на заседании одной из его двух палат — Совета Национальностей, которым руководил тогда **Рамазан Абдулатипов**, автор знаменитой «шестерки», выразившей недоверие Борису Ельцину. А вот теперь, на этом самом заседании палаты, члены ее собирались выразить уже недоверие самому Абдулатипову, то есть, выслушав для порядка его отчет, обсудив для проформы его деятельность, снять его с должности главы палаты. А чего церемониться-то, верно?

Все поначалу происходило так, как и планировалось депутатами, недовольными членами Совета: был отчет председателя, было обсуждение, было недоверие. Но, к сожалению недовольных, было и доверие. И, между прочим, надо отдать должное герою высокого собрания, адское терпение, железное хладнокровие, невозмутимое спокойствие и прямо-таки бетонные нервы были продемонстрированы Абдулатиповым в ответ на то, что ему инкриминировалось от всех микрофонов. Все было прилично, вежливо, дипломатично и куртуазно: «спасибо за вопрос», «спасибо за ответ», «благодарю вас за ценное замечание», «заранее благодарен за подсказку»... и так далее. Ни один мускул у председателя не дрогнул!

Словом, обошлось на этот раз: хотя и не одобрили депутаты отчет своего начальника, но все же до открытого выражения недоверия дело пока не дошло — не набрали требуемого большинства голосов противники главы палаты.

Но не до конца довольных тоже, конечно, осталось достаточно. После окончания заседания стали они подходить к красному от всего этого хладнокровия председате-

лю. Видимо, хотелось доспорить, дообвинить. Подошли к столу президиума и депутаты, и гости приглашенные, и журналисты настырные. И вот средь шумного этого бала слышу вдруг такое продолжение дискуссии со стороны стола:

— Ну что, Рамазан Гаджимурадович, говорит серьезный депутат-демократ Вячеслав Волков (ныне, кстати, — один из руководителей администрации президента Ельцина), — не хватило у вас мужества самому подать в отставку, а? Не хвати-и-ило...

Ну, мы уже знаем железного бойца Абдулатипова, видели его только что, так сказать, в деле, этого не собьешь. Ждем все, что ж он ответит на депутату Волкову. Скажет, наверное, свое привычное «спасибо за вопрос,уважаемый депутат». Нет. Председатель Совета Национальностей Верховного Совета РСФСР ответил иначе. Проще:

— Да пош-шел ты!

— Куда? — опешил народный депутат Волков.

— А туда! — уточнил председатель палаты и добавил спокойно так, хладнокровно, почти куртуазно: — И не гавкай.

Не гавкай!? Мы, оказавшиеся случайно в непосредственной близости к главным действующим лицам, переглянулись, думая, что ослышались. А стоявшая рядом коллега обоих лиц — столь же народный, как и они, депутат Валентина Домнина ахнула, не выдержала слабая женщина:

— Ни-че-го-се-бе!.. А я-то к нему подошла, хотела посоветоваться, но теперь... «Не гавкай»!... Нет уж, пойду, пожалуй, домой.

И ушла. Решила, видимо, не гавкать. И правильно. От греха подальше.

«ПРАВИЛЬНО ТЕБЕ РОЖУ БИЛИ!» —

крикнул через весь зал заседания депутату-националисти **Николаю Лысенко** «депутат Балтики» от ЛДПР (партии Жириновского) **Вячеслав Марычев**. В тот день он был в очередном маскарадном костюме: поверх пиджака надел бутафорские голые женские груди...

— При чем тут эти груди, господин Марычев? — спрашиваю у избранника народа в перерыве.

— Заостряю проблему проституции в стране. Вызываю тем самым омерзение у депутатов и телезрителей. После этого наверняка уже никто не будет смотреть по ТВ ночную порнуху.

— И вы не смотрите сами, конечно?

— Конечно. Зачем мне это? Один раз только смотрел. Чтоб узнать, чем дело кончится. Он ее там так драл, избивал, насиловал, снимал штаны, орал!.. Поэтому я так и оделся в Думе и протестую против порнографии.

— Есть мнение, — говорю, — что весь этот ваш ежедневный маскарад в парламенте — это неуважение к коллегам-депутатам...

— Наоборот, я абсолютно всех коллег уважаю! Всех. Без исключения!

— И Николая Лысенко, которому сейчас в зале кричали.

— Кроме Лысенко. Кроме этого подонка! Он — вставленный депутат.

— Что это значит — вставленный? Кем?

— Внедрен сюда явно. Органами, видимо... Выполняет задачу. Печется вроде о русских, а на самом деле — дискредитирует нас, русских, русскую идею своим открытым антисемитизмом. Ну, скажите, чем ему евреи-то помешали?!

— А вам-то не мешают?

— Абсолютно не мешают! Я ни одного еврея в своей жизни не тронул! У меня вообще много друзей евреев. Вот Лева Урицкий, например. Я у Левы дома был, ел то же, что и он, и — ничего! Вкусно. И Юлия Соломоновича Гусмана уважаю. Нормальный мужик, мой коллега — я директор клуба и он директор Дома кино... И Аллу Гербер тоже уважаю — нормальная бабка! Критик, писатель. Ну и что же, что она назвала себя еврейкой? Это ее вопрос, не мой. Всех я уважаю, всех. Кроме этого Лысенко, негодяя.

А ОН ВСЕ ЗАОСТРЯЕТ...

Это опять о **Марычеве Вячеславе**, питерском депутате, «клоуне» российского парламента. Я люблю с ним беседовать в перерыве, а то и во время заседаний: он почти всегда в коридоре, скучно ему на заседаниях. Особенно скучно, когда телекамер в зале нет. А депутаты ему завидуют и жалуются спикеру: почему, мол, телевидение никого, кроме Марычева не видит, только его показывает.

Спрашиваю Марычева:

— В самом деле, как вы думаете, почему?

— А кого ж им еще показывать-то? Все ж их законы, речи с трибуны, поправки разные — это ж дико скучно! А Марычев необходим как человек, ЗАОСТРЯЮЩИЙ проблемы — пусть костюмированно, пусть анекдотично.

— А когда вам пришло в голову, что в парламенте — так можно?

— С детства.

— ?!..

— Я играл в драмкружке и уже тогда импровизировал вовсю. Вообще я потом всю жизнь играл, потом — Московский хор, потом — училище Ипполитова-Иванова, армия...

— Вы служили?

— А как же. В ансамбле песни и пляски. Теперь вот — в Думе...

— Где берете костюмы, реквизит? Неужели покупаете?

— Не-ет. Красный пиджак, правда, купил на командировочные в Югославии. А, в основном, в театрах беру, задаром. А иногда заинтересованные лица помогают...

— Какие это заинтересованные лица?

— А разные чиновники из правительства. Говорят, например: «Вячеслав Антонович, помоги заострить проблему пожаров». Или вчера прокурор подходит: «Поставь вопрос. Создай климат».

— И что, заостряете и создаете климат?

— А что мне, трудно, что ли? Раз людям надо? Беру у него пожарную каску, надеваю на себя в Думе, меня снимают телевизионщики и — по всем каналам Марычев в пожарной каске!...

— А коллеги к этому ведь неоднозначно относятся.

— Ну и что? Я тоже, может, к ним неоднозначно отношусь. Но, в основном, я всех уважаю.

— И Хакамаду, о которой вы говорили, что она аморальная?

— Она приехала в Петербург встречаться с избирателями, а вместо этого — пошла в ночной клуб! Играла там какого-то Буратино, в ночной рубашке и прочее. И всем рассказывает, что третий раз замужем!

— А вы, конечно, один раз женаты?

— Коне-ечно! Один раз! Мораль-то должна быть, верно? Пожалуйста, занимайся многоженством, но — НЕ ПОКАЗЫВАЙ этого людям! Скромнее надо быть. Нам надо равняться на тех, кто всю жизнь живет с одной женой и одним мужем. В этом — вы-

сочайшая культура! А Хакамада... Вон Гундарева — она тоже была замужем два раза, но она же не говорит об этом! Два раза была. Но — ведет себя скромно! Не говорит! И отца Глеба Якунина уважаю за его халат... то есть за эту его форму, которую он для себя удачно нашел: без нее не было бы никакого отца Глеба в парламенте. Всех коллег уважаю. Кроме Николая Лысенко.

— Но многие из коллег считают вас шутом, психически ненормальным.

— Да, я — шут и клоун. Такие шуты необходимы в нашем парламенте, чтоб заострять проблемы для народа! Я — единственный депутат в Ленинграде, которого слушают и уважают. Я точно знаю, что многие включают телевизор только из-за меня. Меня нет на экране — выключают. Я — *уличный оппозиционер*, меня в Ленинграде все знают. Я даже предложил бы, чтобы этот состав Думы поработал еще два года, и я с ним вместе. А то ведь в будущую Думу — и если еще меня не будет — такое фуфло придет! Пусть прислушаются.

Нет, не прислушались к Марьчеву. Не продлили срок Думе. Да и его не выбрали в следующую. Прямо беда.

БЕЗОБРАЗИЕ, АНАТОЛИЙ ИВАНЫЧ!

Процесс прощания с мандатами у депутатов-мандатоносцев прошлой Думы шел порой болезненно. Взять хотя бы знаменитую дискуссию-драку, когда прыткий национал-республиканец **Николай Лысенко** средь бела дня при свидетелях-избраниках и миллионах уважаемых телезрителей просто-таки спер с применением силы серебряный крест с отца **Глеба Якунина**, годявшегося прыткому в отцы, да потом еще этим тяжелым крестом — по голове отца, а, как всегда, вовремя подключившийся к дискуссии Владимир Вольфович принялся тут же, без подготовки, публично доставлять удовольствие сразу двум избранницам народа, разнимавшим прыткого с отцом, оттаскав одну за волосы и дав нечаянно изо всей силы в челюсть другой... Неслабо?!

— Ну, не безобразие, Анатолий Иваныч? — возмущается, слышу, на следующий день одна депутатша, стоявшая за мной в очереди в столовой вместе со своим коллекой-мандатоносцем **Лукьяновым**. Который поэт Осенев.

— Конечно, безобразие, — согласно кивает головой Анатолий Иванович. — Безобразие! Чтоб так нас, депутатов народных, на весь мир по телевидению показать! Безобразие!!!

«ДУРАЧОК ТЫ!»

В Думе идет дискуссия по вопросу о войне в Чечне. Член фракции «Выбор России» **Анатолий Шабад** предлагает срочно вывести федеральные войска из Чеченской Республики, прекратить массовое нарушение прав человека, что и записать в постановлении Думы.

У микрофона — заместитель председателя парламентского Комитета по обороне, член фракции Жириновского, офицер-депутат **Логинов** (это, кстати, тот самый, про которого другой избранник, член «Выбора России» Осовцов сказал как-то: «Ну, если уж Логинов не антисемит, то я тогда — Майя Плисецкая»). Завершает свою речь Логинов так:

— А Дума идет на поводу у всяких там шабадов...

Бдительный спикер **Иван Рыбкин** бросает реплику:

— Не «всяких там», а «депутат Шабад»!

— Я, — кричит в уже выключенный микрофон жириновец-офицер, — гражданин России, а это — Иуда!

— Дурачок ты!.. — не выдерживает с места тишайший «выбороссовец» **Михаил Молостов**.

Дискуссия на этом, впрочем, не заканчивается. К трибуне — от имени фракции «Выбор России» выходит заместитель Гайдара **Борис Золотухин**:

— Если депутат Логинов офицер, а не трус, пусть докажет свою правоту в суде!

Офицер Логинов на это с места:

— Я вас со штыка кормить буду!

— Объявляется перерыв до 16 часов, — говорит в микрофон спикер Рыбкин и уходит в буфет.

ГРУДЬ УЖЕ НЕ НУЖНА

Как-то на улице, встречаясь с народом в предвыборную кампанию, президент **Борис Ельцин**, иллюстрируя, видимо, мысль о том, что теперь все в жизни зависит от самого человека, сказал:

— Вон, у нас мэр города Москвы **Юрий Лужков** две коровы держит у себя, его жена за ними ухаживает. Я у него беру молоко. У меня внук родился, уже вырос, грудь ему уже не нужна.

На заседании Совета Федерации, членом которого по должности является Лужков, подхожу к мэру Москвы:

— Юрий Михайлович, это правда, что у вас есть две коровы и что сам Ельцин у вас молоко берет?

— Конечно! А кроме двух коров у меня еще есть и свинья!

— Что, и свинину у вас президент берет?

— Нет, свинину не берет пока. А молоком моим президент пользуется. И мне это очень приятно!

Еще бы.

ХАКАМАДА НИЧЕГО НЕ ЕСТЬ

Сколько ни хожу в думскую столовую — никогда не встречаю там **Ирину Хакамаду**.

— **Где же вы, Ира, обедаете?** — интересуюсь как-то.

— Нигде. Я целый день в Думе пью чай. Если нет переговоров с партнерами, значит, нет и обедов. А вечерами — сплошные приемы, презентации, деловые встречи, дружеские посиделки вочных клубах, где надо быть очень избирательной в еде, чтоб не погубить свой организм.

— **Кстати, оочных клубах. Известно, что вы — большая любительница этих заведений. Я слышал даже такую версию: мол, у Хакамады с мужем нелады, так она и ходит по очным заведениям, ищет себе нового мужа.**

— Да-да, я тоже наслышана обо всяком таком. Это, конечно, смешно. Ночные клубы я действительно люблю, это для меня отдых, причем активный. Есть ведь разный отдых. Можно слушать классическую музыку в консерватории — вы отдохните душой, но работает интеллект. Можно заниматься спортом — тогда вы отключаете подкорку, но работаете физически. А очные клубы — это способ провести время со своими друзьями. Я люблю обстановку очных клубов, люблю рок-музыку, люблю и умею танцевать рэп... Это просто мое состояние души.

— **В этой вашей очной жизни ни муж, ни сын не участвуют?**

— Нет. Сын уже вырос, ему 18 лет, он учится в МГУ, увлекается компьютерным каратэ. У него своя компания, свои друзья. Он со мной часто общается, но никуда не пойдет, потому что я очень известный человек — он не хочет, чтобы на него показывали пальцем: «Вот это сын Хакамады».

— А муж?

— Муж мой Дима просто другой человек. Я действительно почти нигде с ним не появляюсь. Мы ходим вместе только на высокие приемы типа посольских, или когда приезжает королева. Дима — волк-одиночка, у него мало друзей, он не переносит светской жизни, не любит классической музыки, не любит толкаться рядом со мной. Мы с ним совершенно разные и смирились с этим. Это дополняет нас еще больше.

ЗЮГАНОВ С ПРЕССОЙ НЕ ШУТИТ

На одной из пресс-конференций задаю лидеру коммунистов **Зюганову** шутливый вопрос:

— Геннадий Андреевич, а ваша семья еще не сошла с ума от ваших речей и программ?

Думал, и ответит лидер соответственно вопросу, иронично. Ах нет:

— Да-а-а... А вы все со своими анекдотами. И нас в анекдот пытаетесь превратить. Моя семья полностью поддерживает мои взгляды. И даже кот, и тот внимает моим словам, не волнуйтесь, никто еще не сошел с ума.

В другой раз, перед началом пресс-конференции, Геннадий Зюганов идет к столу, плотно окруженный свитой. Вокруг, естественно, масса журналистов. Один из них, с фотоаппаратом, — к вождю коммунистов:

— Геннадий Андреич, один кадр для «Московских новостей»!

— Прекратите сейчас же! — становится красным лицо коммуниста.

— Ну почему, Геннадий Андр...

— Уходите, говорю вам! Ваша газета так меня снимает все время, что страшно смотреть. Специально такие ракурсы выбираете, чтобы унизить человека!

Действительно, кто дал право искажать светлый образ?..

БЕЗ ШАПКИ ПО КРУГУ

Украли мою шапку. В Кремле, не где-нибудь. В гардеробе.

В один из дней Съезда народных депутатов еще Советского Союза прихожу в раздевалку, чтоб одеться и идти домой — нет моей шапки. Причем все остальное есть, спокойно висит себе на крюке — куртка на меху, кашне, даже авоська с книгами. А вот шапки нет как нет! Среди старушек-гардеробщиц, естественно, легкий переполох случился: пропала шапка. В ДНИ СЪЕЗДА! Да еще у кого — у ЖУРНАЛИСТА! Да еще у какого — из «КРОКОДИЛА». Настоящее «чп».

В общем, обыскали все вокруг, перевернули вверх дном всю кремлевскую раздевалку, даже шарф чей-то нашли, кому-то лишним оказался. А шапки моей нет! Испарились.

На следующий день пришел, по совету гардеробщиц, специальному пораньше, чуть свет: может, думаю, кто-нибудь из народных избранников по ошибке не ту шапку украл, вернет? Ах нет. Никто не украл, все, видать, честные. Что делать в такой ситуации? Только и остается — искать сочувствия...

Смотрю, приближается к гардеробу известный белорусский писатель **Алесь Адамович** (ныне, к несчастью, покойный). Подходит, раздевается, слышит мои стенания о пропаже. Интересуется по-писательски:

— А что, дорогая шапка, что ли?

— Да нет, — говорю, — так себе, обычная, ничего особенного. Да вот, кстати, такая же, как на вас.

— Нет-нет, это моя, — и ушел от греха подальше.

Тут я вдруг увидел идущего к гардеробу известного борца с «кремлевской мафией», знаменитого следователя по особо важным делам **Тельмана Гдляна...** Вот уж, думаю, удача так удача. Говорю ему, поздоровавшись:

— Тельман Хоренович, у меня к вам как раз особо важное дело: шапка у меня пропала...

— Как, то есть, пропала? — смотрит на меня по-следовательски, прищурившись строго. — Украли, что ли?

— Ну... я не могу так категорически утверждать... В общем, была — и нету.

— Та-ак, я-а-а-асно. Значит, все-таки украли. Украли шапку. У советского журналиста.

Чувствую, он уже начинает крутить в голове какую-то версию. Вынашивает что-то явно.

— И что, говорите, прямо здесь вот украли? Во Дворце Съездов?

— Да, Тельман Хоренович, именно здесь она пропала, вчера.

— В Кремле? — следователь уточняет детали.

— В Кремле.

— Ну, правильно — я же всегда говорил: **кремлевская мафия!**

НЕ ХОТЕЛОСЬ, А ВСЕ ЖЕ...

18 августа 1993 года президент **Борис Ельцин** вручал в Кремле группе журналистов медали «Заштитнику свободной России» за участие в событиях августа 91-го года. Среди награжденных был и автор этих строк. После вручения и речей раздали шампанское. Появился редчайший случай выпить с самим президентом. Подхожу с бокалом к главе государства:

— Борис Николаевич, а что все-таки, по-вашему, будет с Верховным Советом? (А как раз это был период жаркой схватки Ельцина с Хасбулатовым и компанией).

— С Верховным Советом? — Борис Николаевич хитро сощуривается и, подумав, выговаривает:

— Ну... знаете... Разгонять — не-хо-те-лось бы!..

Через месяц после этого, 21 сентября 1993 года, вышел знаменитый Указ №1400 о распуске Верховного Совета.

Хотя и не хотелось, но...

КТО В КАКОМ ВАГОНЕ?

В нынешнюю Госдуму опять выбрали **Тельмана Гдляна**. Того самого, который, помните — «Гдлян-Иванов». Хотя, правда, на этот раз и без Иванова. Иванов провалился на выборах в Петербурге.

— Не провалился, а провалили, — поправляет меня Тельман Гдлян, с которым мы,

как старые знакомые еще по перестроенным съездам Союза, встретились теперь в коридоре Думы.

— Что-то вы, Тельман Хоренович, не тот нынче боец, — подкалываю бывшего не-примиримого борца с «кремлевской мафией». — Тихий какой-то стали. В тень на целых пять лет ушли. Что, запал пропал?

— Вы знаете, какая штука... Если эти красные опять придут, нас всех вспомнят. И нас, депутатов, и вас, журналистов. В первом вагоне «на Север» отправят.

— Нет, Тельман Хоренович, — говорю ему. — Это вас — в первом. А нас уж — во втором...

— Да, — смеется Гдлян. — Хорошие шуточки.

САМИ ВИНОВАТЫ

Как-то на одном из депутатских собраний известный митинговый лидер фракции кадетов **Михаил Астафьев** поделился воспоминаниями начала перестройки:

— Осенью 1991 года российские депутаты встречались с тогдашним мэром Москвы, большим демократом и столь же большим ученым-экономистом **Гавриилом Поповым**. Речь, помнится, шла о реформах, о частной собственности, о приватизации и тому подобном. И кто-то из депутатов российских сказал ему, что, мол, «с вашей приватизацией и вообще так называемой реформой все пенсионеры, старики, немощные люди от такой жизни просто-напросто перемрут».

И что же, как вы думаете, ответил им уважаемый Гавриил Харитонович? Вот его слова:

— Ну что же... Они сами виноваты: семьдесят лет голосовали за коммунистов.

БОТИНКИ КУПИТЬ НЕГДЕ

Итак, по порядку, как все было.

Скандално известный некогда народный депутат Союза, от русского населения Латвии, полковник **Виктор Алкснис** (сегодня он один из лидеров Национально-патриотического фронта России), выйдя в очередной раз на высокую трибуну Верховного Совета, этак прозрачно намекает на весь мир в микрофон, что, дескать, Межрегиональная депутатская группа (помните, конечно, что была такая — первые советские демократы во главе с академиком Сахаровым, Гавриилом Поповым, Юрием Афанасьевым, Борисом Ельциным), то есть просто его, Алксниса, коллеги, столь же народные, как и он сам, депутаты, оказывается, являются пособниками ... ЦРУ США! Ни много ни мало.

Конечно, шум в зале, аплодисменты, выкрики, смех без причины.

Вслед за Алкснисом, полковником, на трибуну выбегает другой такой же полковник, тоже весьма известный своей разоблачительной страстью избранник народа **Николай Петрушенко**. И, естественно, режет свою правду-матку тоже в микрофон и телевизионный экран:

— Надо, видимо, очень тщательно проверить все имеющиеся связи Межрегиональной депутатской группы с ЦРУ.

Конечно, опять шум в зале и аплодисменты смельчаку-полковнику. Правда, и смех все равно есть. Спикер Лукьянов объявляет перерыв. Все идут в буфет.

В курилке, перед входом в буфет к полковнику Николаю Петрушенко робко подходит его тезка, депутат из Литвы **Медведев** и доверительно так говорит:

— Послушайте, вы... не могли бы и меня... напрямую связать с кем-нибудь... из ЦРУ, а?

— Что?! — чуть опешил Петрушенко, полковник. — В каком смысле?

— Да вот, понимаете... какая беда: ботинки нигде не могу купить приличные. Может, посодействуете? Вы все-таки там ближе.

Глядь вокруг — никакого Петрушенко нет. А тут и звонок. Все — в зал заседания.

КРЕСТА НА НЕМ НЕТ

Спустя неделю после известной драки в Госдуме (когда депутат-националист **Николай Лысенко** прямо во время заседания в зале сорвал крест с коллеги-депутата-демократа, правозащитника, священника отца **Глеба Якунина**, да еще и ударил несколько раз этим крестом пожилого парламентария) встречаю в думском буфете мрачного Глеба Павловича. В рясе, но без креста.

— Отец Глеб, — говорю, — креста на вас нет. Почему?

— Так он же, этот Николай Лысенко, стащил и до сих пор не отдает! Спер просто-таки.

— А на что он ему, как вы считаете?

— Как на что? Ведь крест-то СЕРЕБРЯНЫЙ! А теперь — ищи-svищи.

— А вы не пробовали отобрать?

— А какой смысл? Мне вон и заместитель спикера Думы Чилингаров предлагал себя в качестве посредника. Я отказался: пусть Лысенко сам явится с повинной. Он же примитивный *вор*!

— Но он же, кажется, обещал вернуть?

— Да мало ли что он обещал. Так, как он, поступают все воры.

— А я сам слышал, как другой ваш коллега по Госдуме — депутат и телерепортер **Александр Невзоров** — сказал, что, мол, «отец Глеб Якунин — тоже вор»: тарелки из парламентской столовой утащил. Дескать, у него и на видеопленке вы засняты в столовой в тот момент, когда берете эти тарелки...

— Да-да, Невзоров много чего говорит.

— Не было этого, что ли, Глеб Павлович? Не уносили тарелок из столовой?

— О-о! Это же были одноразовые тарелки! Я и справку потом в нашей депутатской столовой брал о том, что они одноразовые. Ну, взял я ее после обеда, чтоб дома дать внучке поиграть. А он, Невзоров, сразу клеветать! Я, между прочим, за эту клевету на него в суд подал.

— И что же суд?

— А ничего. Невзоров не явился.

— Почему он не явился, как вы думаете?

— Очень просто: чувствует поддержку властей. Они ж его с потрохами купили.

— В каком смысле «купили»?

— В самом прямом: предоставили карт-бланш в телеэфире, дали самое лучшее время для его передачи. И заметьте, если раньше он считался «непримиримым» оппонентом правительства, то теперь — ни одного слова критики! Ну что, разве не купили?

СПАСИБО, ЧТО ХОТЬ НЕ САЖАЮТ...

В одном из своих интервью правозащитник и депутат Госдумы **Сергей Ковалев** сказал довольно определенно, что «Россия сейчас на пути не к правовому, а к полицейскому государству».

Спрашиваю Сергея Адамовича:

— Ваш вывод основан на конкретных фактах?

— Конечно, и не на одном. Вот первый. В бывшем Верховном Совете, при Хасбулатове, некоторым членам его президиума, в том числе и мне, был однажды предъявлен документ, исходивший от спецслужб, в котором говорилось о, так сказать, неправильном поведении ряда депутатов в их общении с иностранцами: слишком много и откровенно разговаривают, выдают какие-то государственные секреты и прочее. Спрашивается, откуда же это стало известно спецслужбам? Ясно откуда: разговоры народных избранников ... прослушивали. Ну, президиум тогда поручил мне, Владимиру Лукину и Борису Золотухину расследовать этот факт: какими методами получены были сведения, содержащиеся в этом документе спецслужб? Мы проделали соответствующую работу, представили свои предложения и выводы, которые затем были благополучно положены под сунко!

Второй факт, более свежий: наши попытки улететь в Чечню во время начала там боевых действий российских войск в декабре 1994-го. Правительственная связь в наших кабинетах «случайно» отключалась почему-то как раз в тот момент, когда нам срочно надо было позвонить тем, кто тогда был уполномочен решать такие вопросы, — руководству Генштаба, первому вице-премьеру и другим. Как это можно себе объяснить, кроме как не прослушиванием наших телефонов?!

Поэтому я считаю, что мы идем, к сожалению, к полицейскому государству. Ведь где бы я об этих фактах ни говорил, — ничего не происходит, никто не реагирует, все спокойно! Значит, для нашего общества это явление — нормально?!

А в остальном... Спасибо, что хоть пока не сажают.

ЕСЛИ Б ВПРАВЛЯЛ МОЗГИ!

На очередном съезде народных депутатов по традиции выступил с высокой трибуны депутат-врач, народный целитель с Украины **Николай Касьян**:

— Я не политик, хотя и депутат. Я — врач, и только врач, — признался врач, хотя и депутат. — Я до перестройки принимал по 300-450 человек в день, и сейчас принимаю не меньше. Даже сегодня я принял здесь, на съезде, около 170 человек. Давайте работать, товарищи депутаты!

И сошел с трибуны устало: чувствовалось, что действительно сегодня депутат принял не менее 170... И, надо сказать, его работа на съезде была высоко оценена участниками форума. Я слышал эту оценку и в зале, и в фойе во время перерыва.

Вот к двум беседующим в середине фойе народным избранникам подходит третий коллега — тогдашний министр иностранных дел союзной еще республики Белоруссии:

— Слушайте, а Касьян-то молодец, а?!

— Да, отлично выступил с трибуны.

— При чем здесь трибуна? Я имею в виду то, что он мне только что, буквально минуты три назад, спинные позвонки элементарно вправил! Одной левой! У меня жутко болела脊椎, я ему пожаловался, так он прямо тут же ка-ак треснет меня по спине, и — все в порядке! Вот это депутат так депутат!

Действительно, отличная парламентская работа.

Правда, не все, оказывается, такого же мнения. Назавтра другой народный избранник, тоже с Украины, заявил следующее:

— Жаль, что уважаемый всеми нами врач Касьян умеет только кости вправлять. Было бы неплохо, если бы он еще кое-кому и мозги научился вправлять. Цены бы ему не было!

Интересно, кого он имел в виду?



Марина РОЗЕМАНН

Мюнхен

РАССКАЗЫ

СУЖЕНАЯ

Подошел, видно, и Петриков черед семейей-домом обзаводиться. Одиноко ему что-то стало, неприкаянно. Неинтересно как-то. Дружки-приятели, с которыми он еще, казалось бы, вчера до утра водку пил и по холостяцким делишкам хаживал, все как один сгинули. Как-то вдруг понабрали себе неприветливых строгих жен, детишек на свет произвели и остепенились. Ни в пивнушку их теперь не вытащишь, ни в кино, ни на футбол. Да и вечерком к ним так запросто не зайти теперь. Если и пустят иной раз Петрика к себе на порог, так для того только, чтоб за уютно обставленным ужином его как бы невзначай с жениной приятельницей свести. С какой-нибудь заждавшейся девой с призывным томлением в глазах и нагло утянутой грудью. Чтобы потом уже по-простойному, семьями дружить.

Жениться-то Петрик, пожалуй, и сам бы не отказался, да вот только где бы столь необходимую для этого дела жену найти? Без супруги ведь какой брак? Незадача..

Усатый, осанистый, еще вполне моложавый и при деньгах, Петрик умел женщинам нравиться. Блондинкам, брюнеткам, рыженьким. Артисткам, физичкам, физкультурницам. Флейтисткам, маникюристкам, журналисткам и просто служащим. Безработным и женским лицам без особого рода занятий. Карьеристкам и домохозяйкам. Львицам и кошечкам. Наивным бледнооким девчушкам и дамам с уже познавшими и пережившими всякое душой и телом.

Много их было, этих по-всякому привлекательных женщин. Только та, единственная и любимая суженая, с которой Петрик хоть немножечко был бы счастлив, все никак среди них не прослеживалась. У одной волос был как будто не того отлива, у другой слишком грудь на глаза напирала, у третьей голос больно звенел в ушах, у четвертой при улыбке вдруг хищниющие клычки в кроваво-красной помаде высакивали, от пятой лакрицей неслось, запахом гриппозного петрикова детства и нытья в зубах. Хоть плачь. Так и просидел бы, наверное, Петрик всю жизнь в неприкаянных бобылях, не купи он как-то тусклым осенним вечерком «Вечерку». В метро по дороге домой листать. Пробежал он глазами уже слегка приевшиеся брачные объявления, и вдруг в самом подвальчике споткнулся о заключенный в пунктирную рамку «петитик».

«Создам Вам жену на заказ. Оплата после». И подробный, незашифрованный адрес, по которому такой чудесный заказ примут.

«Чем только народ в наши дни не промышляет!» — усмехнулся Петрик, но объявленыице все же из газеты выковырял, да еще и в газетном ларьке на выходе из метро пять «Вечерок» прикупил. Чтоб возможных женихов-конкурентов хоть на пять штук, но все же поубавилось.

Ну, поломался Петрик над объявлением денек-другой, поприкидывал и, наконец, на третий день является после работы по указанному адресу.

«Какой, — думает, — в попытке риск, при оплате после? Риска нет, одно развлечение».

Звонит он, значит, эдаким тертым калачом в назначенную дверь, и открывает ему ведьма. То есть не просто какая-то вполне бытовая страхолюдная тетка, а самая настоящая, истинная ведьма. Та, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Дымчатые патлы торчком, на спине горой горбина, любому с детства так хорошо знакомый нос крюком в жиленьку грудь упирается. Ну и, конечно же, — на лице черт-те что. Бородавка из-под бородавки таращится, в бездонных морщинах тонет-давится, да к тому еще и глаз косой, с гноистой прозеленью. Красотка та еще, одним словом.

«Вот ведь влип!» — успел только ужаснуться Петрик, а ведьма уже цоп его за рукав, да тут же его к себе в офис и втащила. А сама уж и рот своей лягушачий от уха до уха раззявила. Зубом лиловым на клиента, не силком, по своей воле зашедшего, блещет. Улыбается, значит.

Усадила ведьма Петрика в упругое кресло на курьих ножках, перед началом делового разговора чаем с медовым пирожком, как полагается, угостила, а потом и сама у себя за письменным столом пристроилась, паркерово золотое перышко и блокнотик чистый-пречистый в руки взяла и спрашивает.

«Ну-с? И какие же именно качества Вы бы желали у Вашей будущей супруги видеть?»

Смутился Петрик. На первый же деловой вопрос не знает, как бы поскладнее ответить. Правду ей так сразу взять и сказать, — засмеет ведь, Бабка Ежка чертова. Помолчал, помычал, корявое деревцо за окном в задумчивости поизучал, сладким чайком нутрецо себе пропитал, ну и потихоньку осмелел немного.

«Не знаю я, — говорит, что я в моей будущей жене желал бы видеть... Знаю только, чего я видеть в ней ни за что не пожелал бы».

«Вот и прекрасно, — поняла его с лету ведьма. — Вот и расскажите мне, чего именно Вы в Вашей будущей спутнице жизни ни за что видеть не желали бы. Из одних негативных качеств ведь самый распрекрасный портрет получиться может. Ну что, приступим?»

И блокнотик свой на первой чистой страничке раскрыла, сама вся в слух обратившись.

«Ну, лакричный запах и стригущий взгляд мне у моей жены не нужен, — принялся загибать пальцы Петрик, — ну, заусеницы при накрашенных лаком ногтях, ну, впивающийся в спину лифчик и настороженность суждений по пустякам, ну...»

Пальцев на одной руке Петрику уже не хватило и он поднял на ведьму глаза. Та уже дописывала первый листок блокнота.

«...по пустякам, — повторила она и перевернула листок, — дальше».



«Эдак на все мои «нежелания» Вам никаких блокнотов, никаких золотых перьев, никаких писчих рук не хватит!» — заметил тут Петрик, как будто пошутил хотел.

«Давайте все же не будем отвлекаться, — по-деловому, уже без тени своей жутковатой улыбки оборвала его ведьма, — суженую себе найти, сами видите, непростое дело. Иначе бы Вас тут у меня не было. Тысячи мельчайших деталей нам с Вами предстоит учесть и перелопатить, ибо любовь, к которой Вы так стремитесь, состоит большей частью из пустяков. Так что, будьте добры, продолжайте, я Вас слушаю».

«Строгая, — не без уважения отметил про себя Петрик, — и как будто даже не халтурщица. Дело свое, по всему видно, любит».

«Пусть не требует от меня признаний в любви по семи раз на дню и колготки свои по всему дому не раскидывает, — продолжил он перечисление недостатков своей будущей жены. — Какой бы она ни была, блондинкой, брюнеткой или рыженькой, пусть волосы свои на моей расческе не оставляет».

Ведьма строчила за ним, боясь упустить слово, как будто от этого слова не только Петрикова, но и вся ее последующая жизнь зависела.

«Не терплю ног, от которых кружится голова, и голоса, с которым не сговориться! — все говорил и говорил уже не первый час Петрик. — Пусть не будет плоскостопой и меня не за что-то, а просто так, только за то, что я есть, любит!»

Ведьма понимающе кивнула и, перемахнув уже за середину блокнота, внятно, по слогам произнесла: «Лю-бит... так... Да-ль-ше...»

«Послушайте! — опомнился тут Петрик. — Это ведь, в самом деле, черт знает что получается! Вы же просто меня разыгрываете! Такой жены, какая мне нужна, ведь не бывает! Где, где, я спрашиваю вас, вы ее найдете?!»

«Нигде, — кротко ответила ведьма. — Я ее Вам наколдую». И, расправив притомившиеся от длительной писанины пальцы, добавила:

«Вот этими самыми руками, из костей, птичьего помета и старых тряпок я ее Вам сварю».

Петрик посмотрел на ведьминые руки и вдруг обнаружил, что они — ничего. Вполне красивые. Как раз такие руки он и у своей будущей жены видеть бы не отказался. Легкие, тоненькие, но с сильными энергичными пальцами.

«Безумие, безумие! — бормотал он, уже за полночь покидая ведьму. — Впрочем, если и безумие, то по крайней мере не мое. Оплата ведь, как-никак, после».

С той же мыслью он и улегся спать, только для того, чтобы утром, на свежую голову снова звонить в дверь ведьминого офиса. В новом костюме с искоркой для особых случаев и слегка приглажденных усах. И недельный отгул взял на всякий пожарный.

Снова напоила его ведьма перед началом делового разговора чаем с медовым пирожком.

Петрик пил, крошкой душистой сорил, на упругого кресла куриных ножках раскачивался и все нет-нет, да к ведьминому лицу приглядывался. Колдовала она что ли всю ночь над собой, или и впрямь как будто чуток из себя поприглядней стала? Дым в волосах немного развеялся, бородавки на лице аристократинными родинками обрастились. И в морщинах Петрик видел теперь не только досадную дряхлость кожи, а мудрость. Или все это Петрику только казалось и никакого ведьмовского колдовства тут нет и не было?

«Я знала, что Вы приедете, — просто, по-будничному сказала ему ведьма. — И подготовила Вам поэтому мягкие тапочки. Голова и сердце работают лучше, когда ноги в тепле и уюте. Приступим?»

И Петрик с ведьмой снова от души поработали. Без перерыва, весь день. Кто-то

тем временем в дверь без конца звонил, телефон обрывался, а Петрик все говорил и говорил, а ведьма все писала, писала.

«...Чтоб не верила в сглаз и нечистую силу и подмышки себе моей бритвой не брила... чтобы неверной мне не была».

День прошел, за ним второй, третий. После отгулов Петрик взял отпуск, сначала полагающийся ему по закону, а потом и за свой счет.

Так незаметно проплыла осень, за ней зима. Мягкие войлочные тапочки на Петриковых ногах истрепались и приобрели домашне-семейный вид. Дерево за окном ведьмного офиса расцвело и вдруг оказалось вишнею.

Сотый блокнот аккуратным почерком ведьма исписала, сто первый в руки берет.

«Неужели Вы не устали? — спрашивает ее тут Петрик. — От всей этой чудовищной моей болтовни?»

Ведьма качает головой и по-дружески, ненавязчиво Петрику улыбается. При свете весеннего дня одинокий зуб ее уже больше не лиловеет, а отдает легким фламинго-ым цветом.

«Красивая, — вдруг понимает Петрик, протягивается через стол и берет эту чудесную терпелившую, такую близкую ему женщину за руку. — Запиши, что у моей жены должны быть твои руки! — говорит он, перелетая на ты. — И вообще, милая, давай-ка, бросай ты это дело! Гулять пошли! День-то видишь какой настал! Весна!»

«Но как же так? — как будто не понимает ведьма, но прекрасной руки своей у Петрика все же не отнимает. — Мы же суженой тебе все еще не нашли».

«Кто сказал — не нашли? — улыбается всем телом Петрик. — Еще как нашли. Сколько я тебе должен?»

«Пустяки,» — отвечает ему его суженая и пустой блокнот ему дает.

ЛЮСИНО СЧАСТЬЕ

Вообще-то счастливой Люсю Золотову назвать — соврать, значит. Один за другим ускользали от нее и улетали в никуда неповторимые в жизни каждого человека шансы. В магазине любой мало-мальски дефицитный товар всегда у нее перед самым носом кончался. Это из-за нее, Люси Золотовой, застревали в шахтах лифты, отменялись и таинственно выпадали из расписаний поезда, трамваи, автобусы и самолеты. Даже лошадь, на которой Люся в детстве как-то попыталась прокатиться, рухнула под ней и сломала ногу. Так что пришлось ее пристрелить. Не Люсю, понятно, лошадь, но разве же это то счастье?

Чтоб злоредную свою судьбу лишний раз не испытывать, Люся не то, что замуж, даже в отпуск уйти не решалась. Заранее знала — на все три недели проливной дождь со снегом зарядит. Тут и не важно, какой на дворе сезон. Ну а что до замужества и прочих личных обстоятельств, — уивайся за Люсей хоть тысяча женихов, ей все равно достался самый пропащий. Уж такая у нее ветка. И сидит она на этой ветке крепко, без малого уж полста лет.

И вот представьте, именно к ней, к Люсе Золотовой, за всю жизнь и пятака-то стертого под ногами не нашедшей, в один прекрасный день ни с того, ни с сего вдруг берет и приваливает самое немыслимое, прямо-таки до неприличия огромное счастье.

Заскакивает она тут как-то после работы в гастроном, а там — что за диво! В рыбном отделе — очереди никакой, и в аквариуме карп плещется. Дородный такой, бока-

стый, чещуща на нем – лазурь с люрексом, плавнички штопором, ус тугой. И глаз, что алмаз искрится.

«Он как, живой? Карп-то, – спрашивает Люся у водянистой блондинки за прилавком. – Или чучело?»

«Сама ты чучело, – должна была бы она услышать в ответ, но ничего подобного. Свернув набок русалочий взгляд, продавщица с ленцой отвечает: «Да он еще поживей нас с вами. Будете брать?»

Вглядывается Люся в карпа и удаче своей не верит.

«Он что – дефективный?» – допытывается она, все еще в судьбе своей сомневаясь.

«Недеффективнее многих, – уклончиво отвечает продавщица, и на ее лице, как на волнах, уже слегка покачивается раздражение. – Завернуть?»

«Только умоляю Вас, – не убивайте!» – спохватывается тут Люся. – Можете оглушить, только, ради бога, – не очень больно!»

Показалось ей, или карп в самом деле при этом с благодарностью подмигнул и округлые губы в улыбку раздвинул? Чудо ведь, говорят, в одиночку не ходит. И еще. Когда Люсию в лифте со всех боков сдавили и ей пришлось прижать пятикилограммовый пакет к груди, она вдруг услышала, как гулко, с ее сердцем в такт, бьется и у карпа сердце.

«Тоже волнуется, – мельком подумала она. – Ой, что-то будет...»

И верно. Уже дома, полулежа в кухонной раковине, карп вдруг открыл глаза и заговорил человеческим голосом:

«Люсь, а Люсь, отпустила б ты меня, а? Я б тебе тогда любое заветное желание исполнил! Честное слово!»

Глох ахнула тут Люся Золотова. Неужто извечная ее невезучесть вдруг осечку дала?

«Ай да карпик! – кричит. – Ай да сукин сын! Тебя-то как раз мне всю жизнь и не хватало! Желаний-то у меня непочатая прорва, и все, как на подбор – заветные!.. Погоди, родной... У меня на этот случай даже списочек специальный имеется. На досуге, от делать нечего составила. Щас принесу...»

Ах, как Люся по квартире своей заметалась. Будто хмельная – спотыкается, на мебельные углы налетает. От радости-то все никак и не припомнит, куда списочек тот сунула. В комоде все ящики наизнанку вывернула, шкатулки-коробки с коммунальными и прочими платежами перетрясла. А у самой при этом сердце взлетело аж до ушей и там звенит-заливается.

Ну, отыскала она наконец список этот. Из книжки по домоводству выудила. С обеих сторон мелким бисером исписанный листок. Под пунктами – все сплошь самые-самые ее желания. Всю жизнь собирала, ничего за душой не утаивала. Глянула только – все ли на месте. Все. Итого – двадцать три штуки.

Бежит Люся на кухню. Карпу-чудотворцу бумажку под нос сует.

«Что-то многовато у тебя, милая, желаний, – хрюпит тот, а сам жабрами так и машет, словно мух от себя отгоняет. – Поскорее нельзя ли? Мне больше одного пунктика ведь не осилить. Так что выбирай себе, Люсь, желание, самое нужное, самое дорогое, самое-самое долгожданное... Да поскорее давай. Видишь – совсем занемог тут я у тебя, без рыбьего воздуха и водяного простора».



«Что ж, одно так одно, — не спорит Люся. — И то хорошо. Другим вон ведь и столько за всю долгую жизнь не перепадает».

Уселись она тут со своим списком за кухонный стол поудобнее, красный карандаш в руку взяла. Свои лишние заветные желания для ясности вычеркивать.

«Ну, положим, теперь-то уж я и без миллионного лотерейного выигрыша обойдусь, — думает, и притом улыбается, аж сопрела вся. — Мне ведь сейчас, не то что раньше, и без наличности любую самую дорогостоящую мечту осуществить — раз плюнуть. Или как?»

Так уж сразу свое самое первое желание зачеркнуть она все же пока не решилась. Поколебалась, карандашик погладила, дальше вниз по пунктам пошла.

«Второе: чтобы мир во всем мире был? — читает. — Неплохо как будто, ну а дальше что?»

«Туфли на наборном каблучке, — тоже ничего, но пока все же отложим».

«А что до любимого человека, — размышляет Люся дальше, — то теперь-то меня, такую счастливую, такую везучую, такую богатую и миролюбивую, на модных-то каблучках любой самый сказочный принц возьмет, не задумываясь. Дальше».

Так, к полуночи, добралась кое-как Люся до самого последнего двадцать третьего пункта. Все свои желания со всех сторон обсосала и взвесила, да так самого нужного и долгоожданного, самого заветного и дорогого из них не выбрала. Только душу себе радужными мечтами разбередила да радостью, что чистой водкой, обпилась. А час как-никак поздний. Как быть с заветным желаньем-то? Вот ведь незадача.

«Дай-ка, — думает Люся, — у карпа совета спрошу. Он, видать, мудрый. Пусть и подскажет, за каким пунктиком наибольшее человеческое счастье скрывается».

Поворачивается Люся к карпу, а у того уж и глаз остекленевший. Лирекс на чешуе поблек, налетом молочным покрылся. Плавник вялым капустным листом поникший. Не дышит чудотворец. Не дождался. Так и отбыл в никуда, невостребованный.

Ну, взвилась тут, конечно, Люся Золотова. Заголосила.

«Упусти-ила!»

Сердце камнем на кафельный пол упало и вроде бы даже разбилось. Опять неудача со счастьем вышла. И как обидно. А ведь, кажется, было оно, счастье-то, еще как было. Тут, за этим кухонном столом, в люсиновых этих самых руках целых два с половиной часа провалилось. И никуда б оно не уплыло, с ней, с Люсей Золотовой, бы навсегда осталось. Стоило ей только карпу сразу долгих-предолгих лет жизни пожелать...

ИНОСТРАНЕЦ

Сколько себя помнил, Константин Фторов всегда мечтал стать иностранцем. Так уж получилось, что в стране, в которой он родился и жил, с иностранцами обращались ласково. Все. Как общественные организации, так и просто люди. Продавщицы, бомжи, парикмахеры. Домохозяйки, министры, маги и вполне обычные служащие. Дети, получающие от иностранцев в подарок иностранного вкуса жвачки, а также постовые милиционеры и все, как на подбор, водители такси.

Иностранцев трудно было не уважать. Их возили по лучшим улицам города в симпатичных заграниценных автобусах. Их кормили с повышенным вкусом и только на экспорт предназначеными продуктами. Иностранцев водили на лучший в мире балет, в оперу и еще в тысячу нестыдных отечественных мест, куда нога простого отечественного человека никогда не ступала, да так никогда и не ступит. Обувка не та, да и рожа, как видно, тоже.

Так что первое, что Фторова в иностранцах привлекало, это была их обувь. Особенно мужская. Добротная, не понарошку кожаная, совершенно непромокаемая на вид. На рифленой, на хорошо пропеченный корж смахивающей каучуковой подметке. Под стать обуви была у иностранца и улыбка. Это и была как раз та самая улыбка, которой пристало располагаться на лице, никогда в жизни не сталкивавшемся с отечественными трудностями бытового порядка. Где б достать чего-нибудь сносного и съестного пожевать, к примеру, или как, после трех работ, с крохами получки в кармане, умудриться стать для любимой хоть чем-нибудь интересным. Хотя бы на час, на полчаса, на пятнадцать минут хотя бы... Пустые в общем хлопоты. Как ни крутись, любимая ведь все равно предпочтет элегантную улыбку иностранца. Потому что только за ней, за этой улыбкой, она угадает аромат полноской чужой жизни, протекающей где-то далеко-далеко, где нас нет. Там, где счастливые люди только и делают, что носят и всячески потребляют первоклассные заграничные вещи, а в свободное время — путешествуют. Себе на радость, другим назло.

Поэтому неудивительно, что когда однажды ранним утром к Фторову в огород приземлились инопланетяне и попросили у него немного воды для дозаправки, Фторов шанса этого упускать не стал, а тут же попросил их взять его с собой.

«Так хочется хоть немного побывать иностранцем! — объяснил он, наливая не по-зданнему улыбчивому пузырчатому существу полное ведро. — А то сами смотрите — даже воды у нас тут нет человеческой... Вечно козявки в ней какие-то плавают и пахнет чем-то очень и очень сомнительным. Обогащенным ураном, что ли, или еще какой-нибудь вредной грязью. Ну разве ж это достойная человеческого существа жизнь, я вас спрашиваю!?»

Иноземец окунул щупальц в воду и осторожно попробовал ее на вкус.

«Вода как вода, — сказал он, миролюбиво смакуя. — У нас, пузырян, и такой нету».

И помявшиесь, добавил: «Разрешите еще полведерка? Родню, детишек побаловать».

«Да я вам, раз такое дело, сейчас прямо из огородного шланга целую цистерну надую! — обрадовался Фторов возможности услужить иностранцу. — Только умоляю, возвращайтесь, возвращайтесь с собой!»

Пузырянин задумался, щупальцы свои в воде пополоскал, на солнечные блики в ведре полюбовался.

«Да что мне — жалко? — рассмеялся он наконец. — Телега все равно ведь казенная. Собирайся».

«А что мне собираться? — оживился Фторов. — Я собран!»

И как был, в замыганных красноземом сапогах и в пропотевшей майке, вскарабкался к пришельцам на тарелку.

«А не затоскуешь? — спросило розовое пузырчатое существо за пультом капитана. — Если не понравится — обратно ведь не повезем. За свой счет добираться придется».

«Если и затоскую, то уж не по этой глупи убогой! — бойко ответил на то Фторов и даже от иллюминатора отвернулся, только чтобы свой плохонький огород с его тощей редиской и драной скамейкой у колодца больше не видеть. — Что я, за мою жизнь на всю эту нищету не насмотрелся?»

Он ощупал вокруг себя стенки на плотность и кресло под собой на мягкость и остался проверкой доволен.

«Славная тачка! — ухмыльнулся он. — По сравнению с ней и «Мерседес» не ино-марка! По-е-ехали!!!»

Фторов откинулся на спинку кресла и в неиспытанном доселе блаженстве прикрыл глаза.

«Э-эх, жаль только, что Танька Васина меня теперь не видит!» — подумал было он, но мысль эту вредную тут же от себя отогнал. За несвоевременностью момента.

Спал Фторов относительно недолго. По его «Командирским» судя — несколько сотен лет, по часам же местным — всего лишь чуть более часа. Проснулся он от того, что вдруг стало тихо и в лицо ему брызнуло сизо-лиловое солнце. Люк тарелки был уже откинут и снаружи несло запахом искусственных цветов и слегка облагороженного сероводорода.

«Вставай, земляк, приехали! — возвестил капитан. — Вон, тебя тут уже девушки вовсю дожидаются! И-иши, как расфуфырились-то! Можно подумать, — иноземца не видали!»

Фторов выглянул наружу и там, на ярко-красной резиновой траве увидел толпу нарядных пузырянок. Девушки были на любой вкус, — сиреневые, голубые, зеленые и рыженькие. Сильно пузырчатые и не очень. Попадались среди них и совсем еще девочки, так что Фторов даже пожалел, что не прихватил с собой для них жвачек.

Только он спрыгнул с тарелки, как самая нестрашненькая из встречающих его пузырянок, нежносиреневая цыпка, стремительностью движений и цветом помады на полных щупальцевидных губах даже немного похожая на Таньку Васину, растолкав своих однопланетянок, бросилась к Фторову на грудь.

«Возьми! Возьми меня! — всхлипнула она. — Милый! Милый!»

Никогда еще Фторову девушки не бросались на грудь, никогда не просили его их взять. Сразу и навсегда, со всеми потрохами.

«Вот оно — иностранное счастье!» — понял тут Фторов и изо всех сил прижал неzemную душеньку к себе.

И вот потекли, поплыли для Фторова сладкие дни и недели. Никогда еще с ним не обращались так ласково. Все. Как общественные организации, так и простые пузыряне. Продавщицы, бомжи, парикмахеры. Домохозяйки, министры, маги и вполне обычные служащие. Дети, конечно же, тоже, а также постовые милиционеры и все, как на подбор, водители такси.

Нежносиреневая девушка по имени Цика день-деньской выбивалась из сил, чтобы сделать пребывание Фторова на ее родине приятным. Она возила его только по ее самым лучшим улицам и кормила его только такой пищей, к которой он, по ее представлению, еще с детства должен был привыкнуть. На местные изыски ради него тратилась: на резиновую редиску и лакмусовый чай на искусственной воде. Она водила его на балет и в оперу и услаждала его с такой беспримерной нежностью, на какую Танька Васина, влюбясь она в него хоть тысячу раз, никогда бы не была способна.

Цика каждый вечер стирала и крахмалила Фторову его майку и ради него одного перекрасилась в презираемый ею рыжий цвет. Она подсовывала ему местных железобетонных денег в карман на неподотчетные мужские расходы и уже потихоньку заговаривала о детях. И все равно, нет-нет, да возникало у Фторова слегка знобящее и не слишком приятное чувство, что Цика вовсе не его так преданно любит, а ... а его сапоги. Те старые, не одним поколением пяток пропотевшие резиновые шканделябры, что он при своем бегстве с Земли в попыхах скинуть с ног не успел.

Каждое утро сапожищи эти стояли на вязаном коврике у постели, начищенные до зеркальной чистоты. И пахло от них не протертой резиной, а самым дорогим пузырянским кремом от морщин и мужским дезодорантом с мускусовой ноткой.

«Скажи, Костик, только честно, — спросила его как-то Цика за завтраком, — у вас там как — все носят такую удивительную обувь, или только богачи и люди с положением?»

«Только богачи, дергающие у себя в огороде редиску, — попробовал отшутиться Фторов. — А также люди с положением «далше некуда».

Цика помешала ложечкой чай на искусственной воде и задумалась.

«Скажи, Костик, — снова спросила она, отсосав глоточек, — говорят, у вас там, на Земле, столько воды, что вы ею даже землю поливаете. Неужели это правда?»

«Правда», — подтвердил Фторов, даваясь вязким, в глотку не лезущим лакмусовым чаем.

«Еще говорят, будто у вас там так много дерева, что его кидают на скамейки, — все изумлялась Цика. — И скамейки эти, якобы, хранят вовсе не в музеях, а прямо так, под открытым небом. Неужели и это правда?»

«И это», — кивнул Фторов.

«Так чего же ты из такой чудесной страны уехал? Неужели у нас тут лучше?»

Цика смотрела на Фторова с такой напористостью и интересом, что он растерялся.

«Если признаться ей, что я просто иностранцем стать захотел, то придется ей и про Таньку Васину рассказывать, — подумал он. — Про то, как я с детства за ней хвостом ходил, тогда еще, когда волосы ее еще были лютикова цвета, а на руках пышным цветом цвели бородавки и цыпки. Рассказать мне придется и о том, как мы с Танькой Васиной еще детьми бегали за наезжавшими на наш город иностранцами и клянчили у них жвачки, которых ни я, ни она жевать не любили. Свою добычу я почти всегда отдавал ей, но она все равно бегала за развозящими иностранцев автобусами, и чем взрослее мы становились, тем реже она звала меня с собой. Когда мы из жвачек выросли, Танька прекрасилась в желтый цвет и вместо жвачек стала приносить домой чулки и нижнее белье, состоящее сплошь из одних кружевных разрезов. Как это нижнее белье смотрится на ее теле она мне так никогда и не показала. Сказала, что для этого я ей слишком близок, так бесконечно близок, что уж ближе никак нельзя».

Фторов снова посмотрел на неземную женщину за его столом. Она сидела поджавшись и быстро-быстро размешивала сахар в давно уже опустевшей чашке.

«Говорить ей, не говорить?» — все гадал Фторов.

«Так скажи ж, наконец, — уже чуть раздраженно спросила Цика. — Почему ж ты все-таки оттуда уехал?»

«Как почему? — улыбнулся как можно мягче Фторов. — Ясно ведь почему: чтобы тебя, родная моя, встретить».

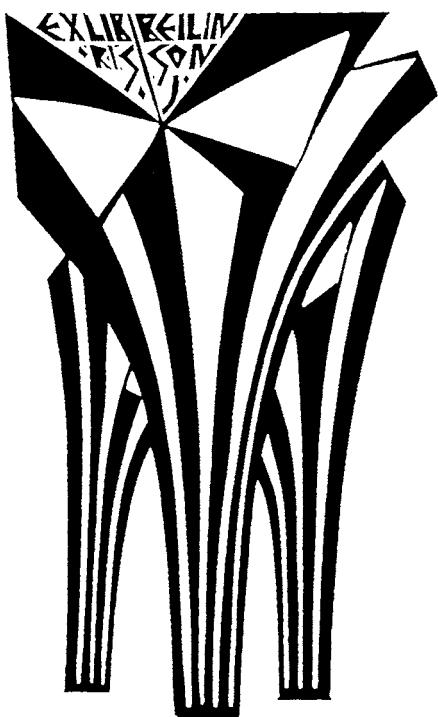


Графика



Книжные знаки художника Германа РАТНЕРА
Москва







Ольга КОЧЕТКОВА

Северск

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАКАНЧИК

«...воспримем тайну всех вещей!»

Шекспир. «Король Лир».

Моя подруга уезжала из Томска на местожительство в Германию; она, ее сын с женой и маленькой дочкой, ее 90-летняя мама, с библейской невозмутимостью много пережившего человека, готовая представать перед миром, а в свой час перед Всеевышним в ипостаси достопочтенной Frau Knogg... Подруга переживала предстоящий отъезд драматически: ей было что терять по нынешним российским меркам. В нашем сибирском городе она была хорошо устроена, любила его как свою вторую родину. А тот факт, что родилась она в достославных Черновцах, порой оказывался поводом для шуток. «Наш!» – восклицала она, глядя на экран телевизора и по физиognомическим особенностям определяя своих земляков.

Что ждало ее в краях иных, в обретаемой третьей родине? Тем не менее, когда сын ее, начинающий кинорежиссер, поймал удачу – возможность осуществить свои творческие замыслы в Германии, нитка последовала за иголкой...

Под занавес пребывания семейства в Сибири, на сцене вдруг возникла фигура бывшего мужа моей подруги – в роли своеобразного наследника части имущества, которое спешно распродавалось. Когда дело дошло до письменного стола, моя подруга приняла свойственное ей нестандартное решение – одарить им своего бывшего спутника жизни. Тот был русским, но добрый тому десяток лет назад оставил жену с сыном нетипичным для наших соотечественников образом – без посягательств на совместно нажитое. Это было безмолвное исчезновение по-английски – к другой женщине, что ввергло всех знакомых в шок, так как предпосылок тому не наблюдалось.

Все годы подруга издали наблюдала развитие нового семейного сюжета отца своего ребенка, в их собственном сюжете считала последнюю точку не поставленной.

Расчет был точным – она позвонила, и он пришел за письменным столом, так как на текущий момент имел в нем насущную необходимость – их, с новой женой, дочка доросла до школьного возраста. Стол был выставлен на лестничную площадку, таким образом мужу предоставлялась свобода выбора, в какой форме выразить признательность. Тот унес стол, даже не нажав дверного звонка, мол «*danke schon!*». А за что, собственно, благодарить – стол был ему вроде как родной, за ним он некогда начинал вымучивать кандидатскую диссертацию.

Последующая мизансцена разыгрывалась с употреблением огромного, в полстены, ковра. Ему-то бывший муж был и вовсе прямой наследник; то был свадебный подарок его родителей.

— Ковер тоже забери! — позвонила подруга, полагая, что в акте передачи ковра прозвучат-таки слова, которые облегчат его душу покаянием, ее — прощением.

Он явился, своими руками снял ковер со стены, свернул его сопротивляющееся габаритное тело в рулон. Потом присел на него в жалкой позе старика Хоттабыча, которому прокололи право на вождение ковра-самолета. Произнес несколько банальных фраз. Безбожно курящая моя подруга разжигала одну сигарету от другой... ждала. В клубах дыма по квартире, радуясь ее гулкой пустоте, носилась их раскурдяявая внучка и не обращала на деда никакого внимания — они не были знакомы.

— Zu ende! — изрекла моя подруга и добавила несколько сугубо русских слов, когда вовсе смолкший наследник с ковром наперевес покинул, теперь уже навсегда, свою бывшую квартиру, свою бывшую жену, свою, так и не ставшую своей, внучку.

В доме другой моей приятельницы среди завалов всевозможных предметов неясного происхождения и назначения порой обнаруживались вещи просто поразительные. На выраженное вслух изумление она обыкновенно взмахивала меланхолически над своей красивой головой не менее красивой рукой с ладонью в мозолях и вьевшейся под ногтями краской — она художница прикладного направления, а далее следовала очередная, дух захватывающая история.

Так было, когда среди экзотических кореньев, каменьев, позвонков доисторических животных вкупе с целехоньким желтым человеческим черепом, фамильярно называемым Федей, всплыла эта вещица. То был серебряный стаканчик, слегка помятый, легкий, почти невесомый. В виньетке из листьев и цветов, приглядевшись, можно было разобрать изящные буквы немецкой вязи, слагаемые в текст.

*Meinem lieben Wilhelm
zur freundlichen Erinnerung
Herman Borndt
d. 18. Oktober 1862.*

Немецких корней в этой «Familie», как мне было известно, не наблюдалось. Муж моей русской приятельницы, ныне покойный, был евреем. Откуда «Deutsch»??!

История серебряного стаканчика была мне рассказана со слов покойного мужа, тому ее поведал его друг. Друг знал ее как семейное предание — в аспекте того исторического отрезка, что непосредственно был семьи касаем. Неведомым осталось, что там было со стаканчиком в веке XIX и почти до середины XX.

Можно предположить, что юный Вильгельм получил его от друга или родственника по случаю, что пришла пора становиться мужчиной — бриться, поскольку вещица именно такого назначения. Сентиментальность и практицизм в натуре у немцев (известно по литературе). С этой точки зрения подарок безупречен. Он передается из поколения в поколение, правнук Вильгельма прихватывает его с собою, идя в военный поход на Россию, который закончился для него на Орловско-Курской дуге. Здесь и появляется в этой истории русский солдат-пехотинец, вместе с другими бойцами получивший задание погасить огневую точку противника, взять неприступный блиндаж. Обойдя блиндаж сзади, бойцы гранатами уложили всех, кто в нем находился. Среди убитых был один офицер, а среди рядом с ним находившихся предметов — серебряный стаканчик. Так он оказывается у отца друга мужа моей приятельницы, одним из первых ворвавшегося в блиндаж.

Что годилось для немца, сошло и русскому. С ним стаканчик вернулся на время в Германию, а затем в качестве трофея привезен в небольшой приволжский городок, где ждала солдата жена да сыновья. Началась для солдата другая служба — милицейская. Прервалась она в 70-е годы, когда при ликвидации банды преступников отца настигла смерть. Старший сын заступает на его место — и погибает при схожих обстоятельствах. Младший в ту пору работал слесарем-инструментальщиком на секретном заводе «почтового ящика», что образовался под боком у города Томска. На похоронах старшего брата младший принимает решение в свою очередь заменить погибшего.

Возвратившись в Сибирь, чтобы уволиться, он дарит другу на память серебряный стаканчик и в старинном окладе Евангелие — старший брат изъял его у какого-то не дружившего с законом субъекта, собиравшегося пустить священную книгу на растопку подвальной печки.

То и другое — Евангелие и стаканчик — почиталось дарителем духовной ценностью, с соответствующим писетом принято. Более о судьбе этого человека ничего не известно. А муж художницы спустя некоторое время претерпел две дорожные автокатастрофы, они стали причиной его долгой и мучительной болезни и преждевременной смерти.

Впоследствии вдова передала Евангелие в дар местному храму, а что касается стаканчика, она всегда, по ее словам, имела какое-то неясное, но стойкое желание вернуть его туда, откуда он изначально появился: в Германию. Свою собственностью она его никогда не считала, и даже в самые трудные времена вдовьей жизни, имея на руках четверых ребятишек, относительная ценность стаканчика не соблазнила ее превратить серебро в сребренники.

А что есть истинная ценность вещей? Мой дальний родственник, муж родной тетки, тоже воевал на той войне и тоже вернулся с фронта не без трофея. Его военная добыча состояла из увесистого мешочка пуговиц — самых разнообразных по цвету, конфигурации, размеру. Своего рода коллекция — чего? Пуговицы были не новые. А еще они были: каждая — в единственном экземпляре. Вскоре дядя (к слову сказать, поляк) без всяких очевидных причин застрелился в собственной квартире из охотниччьего ружья. Напрашивается догадка: не исчислялась ли цена дядюшкиной коллекции — пуговиц, собираемых им на пути к Берлину, человеческими жизнями и его — в конечном счете? Не о том ли стихи Арсения Тарковского:

Тот жил и умер, та жила,
И умерла; и эти жили
И умерли; к одной могиле
Другая плотно прилегла.
Земля прозрачнее стекла,
И видно в ней, кого убили
И кто убил: на мертвый пыли
Горит печать добра и зла.
Поверх земли мятутся тени
Сошедших в землю поколений;
Им не уйти бы никуда
Из наших рук от самосуда,
Когда б такого же суда
Не ждали мы невесть откуда...

...Меипе liebe подруга, уехавшая в Германию, была не только моя любимая подруга; имелось несколько кругов общения, центром каждого из них и всех вместе взятых была она. Каждому из нас, ее подруг и друзей, на память она вручила что-нибудь из своих вещей.

С трепетом я ждала: догадается ли она, что именно я бы хотела получить. Я получила желаемое. Сказать, что это пепельница, – ничего не сказать. За все годы наших совместных бдений и словопрений до полуночи и – непременно в центре – этот необходимый предмет, и я пару-тройку раз грешила куревом и складывала свои малотраченные сигареты в...

В том-то и дело, что окурки вжимались в подол изображенной в металлическом овале юной прелестницы и пепельница была для нас как бы одушевленной. Ей имя – Гретхен, поскольку вся вещица, девичий наряд и юмор, присутствующий в изображении, выказывают ее западное происхождение. А юмор в том, что перевернув пепельницу, видишь симпатичную голую попку юности. С фасада она вполне невинно собирает яблоки с дерева, забравшись на лестницу, с тыла же перекладина лестницы приподнимает зацепившийся подол легкомысленной юбки, обнаруживая отсутствие исподнего...

Озорной этот предмет нашел на свалке сын моей подруги – кто-то, знать, выкинул от греха подальше. На изделии нет ничего, указующего на происхождение. Одно несомненно: в ту пору ни одно советское ОТК не узаконило бы право на изготовление такой фривольной вещицы.

Будущий кинорежиссер не мог не оценить неожиданного ракурса сюжета, благодаря чему этот сувенир соединяет теперь мои одинокие бдения за письменным столом с теми нашими заполнощными «разборками полетов», когда жизнь была прекрасна отсутствием сознания ее конечности, казалось, летать нам вечно! И вечно быть вместе. Увы...

На моем письменном столе рядом с Гретхен с недавних пор поселился серебряный стаканчик. Моя приятельница – художница препоручила мне его и его дальнейшую судьбу. Она отбыла в «иные палестины» – к детям, один за другим причислившихся к детям Израилевым; она держалась за Россию до последнего, вернее, первого первенца сына своего. И сдалась: материнское чувство, любовь к детям и детям детей своих не кладут на весы.

Обо всем этом размышляю я подолгу, глядя на волею случая оказавшиеся у меня вещицы. Я думаю: у вещей такая долгая жизнь, но как они молчаливы и как значительны в своем молчании! Как загадочны знаки, подаваемые ими людям! Вот этот серебряный стаканчик – зачем он у меня? Почему?

Не потому ли, что на той далекой войне в один день, а быть может, и час, когда один человек убил другого, близко еще один, другой, убил еще одного, кто был и есть для меня единственным – моего отца? Он погиб под Орлом 17 июля 1943 года. «К одной могиле другая плотно прилегла...» Если этот знак судьбы, этот сигнал – оттуда, как постичь его тайный умысел?

Северск, декабрь 1998

P.S. Прошел ровно год. Сейчас я могу добавить к своему рассказу, что нашла-таки возможность отправить тот серебряный стаканчик в Германию. Своих прежних владельцев он, скорее всего, не найдет, но я все же утешаюсь мыслью, что там ему будет гораздо уютнее – родина все же...

O.K., декабрь 1999



Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

Аугсбург

ПАРОДИИ

С пифосом о пифосах

*Увечно́сти всегда сухой закон.
Но каплет, каплет жизни самогон,
Переполняя пифосы и фляги.*

Григорий Кружков

Наш человек — он ко всему привык:
Указ издали — ладит змеевик,
Чтоб наполнять бутыли и бутылки.
Получится слеза — не самогон!
Милиция придет — смущаясь, он
С улыбкою почешет лишь в затылке.

Но коль его в тиски зажал закон,
Не позволяя гнать свой самогон,
Наш человек, животворящей влаги
Так жаждущий, чтоб с ней забыть грехи, —
Он вынужден хотя б читать стихи,
Где наливают в пифосы и фляги.

ДЛЯ БУДУЩЕГО

*Настанет срок — увы, сотрется след
Всех наших дел — и славных, и позорных;*

*Сотрется след побед и прочих бед...
...И надписи в общественных уборных.*

Борис Заходер

Что мучает тебя сейчас, поэт?
То, что средь славных дел и дел позорных
Потерян будет в будущем и след
Всех надписей в общественных уборных?

Действительно. «Какой был колорит!
Какой был сленг!» — в тридцатом, может,
веке

Восклікнуть должен, видно, эрудит,
Познавший все о нашем человеке.

Поэтому, поэт, без суэты
Успей списать их — нет альтернативы!
Ходи по туалетам чаще ты,
Пока они не кооперативы.

СОБАКИ

*Люблю собак. В глаза им посмотрю —
 Любовь и верность в золотом сосуде.
 ...Кого-нибудь собакой назовут.
 На это разве нужно обижаться?!*

Николай Новиков

Я друга окликал: — Эрдельтерьер!
 Жену болонкой звал и лайкой — тещу.
 Собак я ставил всем всегда в пример —
 Чья может быть любовь верней и проще?!

Редактор мой — чудесный волкодав,
 Что не пропустит никакого брака.

Любя, назвал его так... Он, привстав,
 Ощерившись, сказал: — Пшел вон, собака!
 С улыбкой разъяснил ему тогда,
 Что это званье — честь и для поэта.
 ...С тех пор меня собакой иногда
 Зовут. Не обижаюсь я на это.

ЛУКОШКО СТИХОВ

*Я на тихую вышел охоту
 И в лесу собираю грибы.
 Шарю взглядом по высохшей хвои,
 Обхожу обомшевые пни,
 Из занятие это простое
 В чем-то делу поэтов сродни.*

Анатолий Коршунов

Стихотворство — занятие простое:
 Будто гриб, как настанет пора,
 Лезет вдруг из-под высохшей хвои,
 Выдаются стихи на-гора.
 Набралось их большое лукошко
 У читателя, но с давних пор
 Угнетает одно лишь немножко:
 Что ни стих, то опять мухомор.

ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ

*...здесь по объявлению ищет мужа
 женщина, которой тридцать лет.
 ...Я сижу, отважен и случаен,
 глупо улыбаюсь ей в ответ,
 и меня цветочным поит чаем
 женщина, которой тридцать лет.*

Владимир Пучков

Никогда не ожидал, не чаял,
 хоть и повидал я белый свет,
 что меня поить возьмется чаем
 женщина, которой тридцать лет.
 Оттого я, жизнью не обласкан,
 и боюсь — другого слова нет —

этой вот цветущей и прекрасной
женщины, которой тридцать лет.
Я, быть может, ей взаправду нужен,
как случайно выигрышный билет,
но не всякой стать согласен мужем
женщины, которой тридцать лет.
... Чай откушав, улыбаюсь глупо,
так рассчитывавший на обед.
Вот когда бы накормила супом
женщина, которой тридцать лет!..
Надо, чтобы в объявлениях, кроме
разных привлекательных примет,
были пояснения, чем кормят
женщины, которым тридцать лет.

ПОТОМОК СААДУ

*Какой насмешливый намаз!
Ты кто? Хаям? Или Саадик?*

Фазиль Исхандер

Пришлось насмешливый намаз
Вершить, чтоб избежать истерик,
Саади — он услышал раз
Потомка. Кто он? Искандерик!

Рукописи для журнала «Родная речь»
просьба присыпать по адресу:

An Frau Olga Beschenkovskaja
Rotweg 43
70437 Stuttgart
Tel.: 0711/874304

По вопросам подписки и доставки журнала
обращаться в издательство «Контакт»
по телефону: 0511/9906877

Редакция не вступает в переписку по поводу материалов,
не принятых к печати.
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Журнал «Родная речь» выходит 4 раза в год. Годовая подписка на журнал с доставкой на дом стоит 44,- DM + 6,- DM почтовые услуги. Если Вы хотите получать наш журнал, заполните, пожалуйста, этот купон печатными буквами на немецком языке и пришлите по адресу:

KONTAKT, Postfach 3406, 30034 Hannover

АВО-КУПОН • РОДНАЯ РЕЧЬ

Vorname/Name _____

Strasse/
Hausnr. _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____ Datum/Unterschrift _____

Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich Abo innerhalb von 10 Tagen schriftlich
widerrufen kann: _____
подпись / Unterschrift _____

Я оплачиваю: переводом в течение 10 дней после получения Вашего счёта
Ich zahle: gegen Rechnung innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung

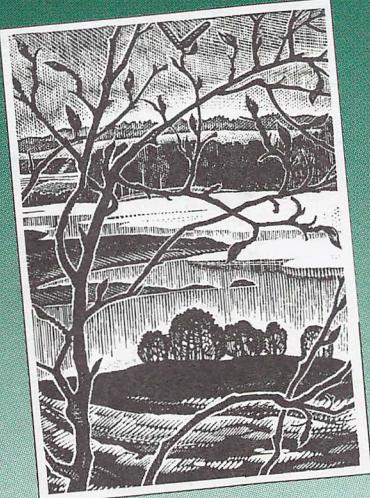
Das Abo verlängert sich jeweils um ein Jahr falls es nicht 6 Wochen vor Ablauf gekündigt wird
Подписка продлевается ещё на 1 год, если Вы письменно не откажетесь от неё
за 6 недель до истечения срока

Родная Речь

LITERARISCHE
ZEITSCHRIFT
«RODNAJA RETSCH»

ISSN 1435-7712

Preis 11,- DM 2(9)2000



Литературно-художественному журналу русских писателей Германии «Родная речь» исполнилось 2 года. За это время на его страницах увидели свет произведения более 100 авторов, проживающих в разных уголках нашей новой родины. В журнале представлены всевозможные жанры литературы: от философских эссе и высокой поэзии до остросюжетных детективов и захватывающих романов.

Сегодня в планах редакции — XXI век. Дальнейшие творческие контакты с «толстыми» журналами «Октябрь», «Нева» и «Звезда». Гости «Родной речи» в 2000-м — известные писатели России.

И, наконец, особый подарок читателям: в нескольких номерах года — новые стихи и автобиографическая проза Евгения Евтушенко.